

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ — ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1987

СО Д Е Р Ж А Н И Е

А р у т ю н о в а Н. Д. (Москва). Аномалии и язык (К проблеме языковой «картины мира»)	3
--	---

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

[К а ц н е л ь с о н С. Д.] К понятию типов валентности	20
М и л л е р Е. Н. (Ульяновск). К определению языка	33
Ж у р а в л е в А. П. (Москва). Содержательность синтаксической формы	46
К и я к Т. Р. (Черновцы). О «внутренней форме» лексических единиц	58
В е й х м а н Г. А. (Москва). Дериваты вопросно-ответных единств	69

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

К и б р и к А. А. (Москва). Фокусирование внимания и местоименно-анафорическая номинация	79
С о к о л о в а Г. Г. (Москва). К проблеме фразообразования во французском языке	91
К о р м а н о в с к а я Т. И. (Пермь). О коммуникативной организации сложноподчиненного предложения (На материале английского языка)	102
И с а ч е н к о - Л и с о в а я Т. А. (Москва). Номоканон с толкованиями Вальсамова в переводе Евфимия Чудовского (конец XVII в.). Особенности языка и стиля	111
Ю д а к и н А. П. (Москва). Цикличность языковых процессов: роль генитива и наречия в становлении имени прилагательного.	122

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Р е ц е н з и и

П и о т р о в с к и й Р. Г. (Ленинград). <i>Будагов Р. А.</i> Сходства и несходства между родственными языками. Романский лингвистический материал	135
К р ы с и н Л. П. (Москва). Функциональная стратификация языка	138
Ш м а л ь ш т и г У. Р. (Пенсильвания, США). <i>Топоров В. Н.</i> Прусский язык	142
К о п ы л е н к о М. М., С а и н а С. Т. (Алма-Ата). <i>Михальченко В. Ю.</i> Проблемы функционирования и взаимодействия литовского и русского языков	146
Г е й г е р Р. М. (Омск), У л у х а н о в И. С. (Москва). Памятники деловой письменности XVII века. Владимирский край	150

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	154
--------------------------------	-----

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев,
 Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь), [А. Н. Кононов],
 В. З. Панфилов (зам. главного редактора), Б. А. Серебренников, Н. А. Слюсарева,
 В. М. Солнцев (зам. главного редактора), [Г. В. Степанов] (главный редактор),
 О. Н. Трубочев, Д. Н. Шмелев

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волховка, 18/2. Институт русского языка,
 редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78

Зав. редакцией И. В. Соболева

АРУТЮНОВА Н. Д.

АНОМАЛИИ И ЯЗЫК

(К проблеме языковой «картины мира»)

Памяти Георгия Владимировича Степанова — друга и коллеги

И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленном светил

(Пушкин)

Сама себе закон — летишь, летишь ты
мимо,

К созвездиям иным, не ведая орбит

(Блок)

I.

Нельзя, конечно, утверждать, что норма, правило и порядок хороши тем, что порождают отклонения, нарушения и беспорядок. Достаточно очевидно, однако, что эта последняя категория явлений играет заметную роль как в действии механизмов жизни и языка, так и в их познании. Сент-Экзюпери заметил, что «жизнь творит порядок, но порядок не творит жизни».

В известном споре между аналогистами александрийской школы, требовавшими унификации морфологических парадигм, и стойками пергамской школы, отстаивавшими языковые аномалии, и те и другие по-своему правы. Этот спор поучителен тем, что в нем сторонники неупорядоченности выступали как хранители традиции, а поборники стандартных форм — как ее противники [1]. Нормализация языка может как запретить, так и санкционировать отход от парадигмы. В последнем случае исключение становится правилом, а борьба против исключений — борьбой против правил.

Норма и аномалия не разделены глухой стеной. Покажем это на следующем примере. Жизнь в обществе предполагает специализацию. Каждая специальность способствует не только гипертрофии определенных знаний и навыков, но иногда и физическим модификациям. В большинстве случаев ни сама специализированность, ни вызванные ею физические изменения (например, гипертрофия мышц у тяжелоатлетов) не рассматриваются как явление аномальное. Это видно уже из того, что в данной области, как ни в какой другой, действуют нормы и стандарты. Предполагается, что специализация есть развитие природных данных человека, а не нарушение пропорций. Вместе с тем искажающий эффект профессиональной деятельности (например, искривление ног у кавалериста) воспринимается как нарушение природных форм. Судить о том, что соответ-

ствует замыслу Природы, а что его искажает, не просто, а в применении к «специализированным» животным (например, мопсам и таксам) и сельскохозяйственным культурам, в особенности гибридным, и вовсе невозможно. Впрочем, в этом нет нужды, поскольку понятие нормы приложимо ко всему, что служит интересам человека.

Полезьа порядка очевидна, полезьа отклонений от нормы нуждается в обосновании. Некоторый свет на роль аномальных явлений в развитии мысли проливают данные языка. В еще большей степени ее освещают многочисленные факты из истории науки.

Человек воспринимает мир избирательно, и прежде другого он замечает аномальные явления, поскольку они всегда отделены от среды обитания¹. Непорядок информативен уже тем, что не сливается с фоном. «Расчисленный круг светил» воспринимается как повседневность; «беззаконная комета» пугает: «Кометы грозной и хвостатой Ужасный призрак в вышине» (Блок). Аномалия часто загадочна или опасна. Она, поэтому, заставляет думать (творит мысль) и действовать (творит жизнь). И то и другое требует усилий. Было бы неэкономно доводить до сведения других все то, что соответствует норме. Сообщают о девиациях и изменениях в порядке вещей. Более того, умолчание о чрезвычайных событиях может расцениваться как сокрытие. Социальные правила и нормы избавляют человека от принятия решений (выбора) и ненужной информации.

Понятие причины и причинных отношений, фундаментальное для развития систем знаний, сформировалось под давлением аномальных фактов. Человек ищет причины болезней и не задумывается над тем, почему он здоров. На поиск причин наводят расстройства в микро- и макрокосмосе. Обнаружение причин подает надежду на предотвращение девиаций. Причины стремятся выяснить и устранить. Если же речь идет об обеспечении того, что необходимо для достижения положительных целей, то говорят не о причинах, а об условиях: условия с о з д а ю т, причины у с т р а н я ю т. Глагол *причинять* сочетается с обозначением отрицательных аномальных явлений: вред (зло) п р и ч и н я ю т, пользу (добро) п р и н о с я т.

Греческое слово *aitia* «причина» означало также вину, ответственность за вред или зло. Это значение, давнее серию производных (*anaitiós* «невиновный», *aitiama* «вина», преступление» и др.), преобладало в языке юриспруденции. В языке философии на первый план выдвинулось значение причины (ср. такие производные, как *aitiōdēs* «каузальный», *aitiologikos* «этиологический»). В языке же медицины *aitia* означало «болезнь». Раздел медицины о причинах болезней называется этиологией. В этом слове пересеклись философское и медицинское семантические поля. По модели греческого *aitia* отчасти развивалось значение лат. *causa* «причина», корень которого вошел в такие производные, как *accusatio* «обвинение» [5]. Финское *suu* также совмещает значения причины и вины [6].

В сообщениях о девиациях ощутима позиция обстоятельства причины. Ее нередко замещает неопределенное местоимение (наблюдение Е. М. Вольф): *Поезд п о ч е м у - т о опоздал; П о ч е м у - т о мне хочется есть, хотя еще не время обеда.* Т. М. Николаева отметила употребление

¹ В гештальтпсихологии принято говорить о контрасте «фигуры» и фона (*figure and ground*), введенном в начале века датским психологом Э. Рубином в изучение процессов восприятия (главным образом, зрительного). Эти понятия нашли себе применение в современной лингвистике при анализе грамматических категорий (различение фигуры и фона аналогично различению маркированных и немаркированных членов оппозиции: ср. [2, 3]). Они используются также в исследованиях структуры текста для различения планов повествования [4]. Здесь существенно подчеркнуть, что подход с позиций фона/фигуры связывает явления языка с восприятием.

неопределенных местоимений *что-то* и *какой-то* в высказываниях, обозначающих ненормативные ситуации: *Какой-то хлеб сегодня несвежий! Что-то сон одолевает*. По ее мнению, в этих условиях местоимение относится ко всему высказыванию в целом [7]. И это, конечно, верно, поскольку за неопределенным местоимением скрыто указание на необъяснимость, немотивированность состояния (содержания пропозиции): *Какой-то он сегодня расстроенный. Что-то сосед рано вернулся с работы. Не случилось ли чего?* В диалоге за таким сообщением может последовать разъяснение причины: — *Что-то я устала, хотя и ничего особенного не делала.* — *Да как же ничего: ты ведь грядки вылолала, вот и устала.*

Ненормативное явление озадачивает. В ответной реплике причина выясняется, и это снимает удивление. Объяснить причину часто значит свести ненормативное явление к норме или открыть нечто дотоле неизвестное (новую норму).

Предложения с сентенциональными местоимениями обычно не включают эксплицитного указания на причину. Не кажутся естественными предложения **Что-то я устала, оттого что грядки полола*; **Сосед какой-то расстроенный, потому что жена от него ушла*. Это подтверждает, что оба неопределенные местоимения (*что-то* и *какой-то*) соотносятся с идеей причины. Местоимение *почему-то* также нельзя включить в сообщение о нормативном и регулярном; ср.: **Уже сентябрь; почему-то поспели яблоки* и *Уже сентябрь, но яблоки почему-то еще не созрели*.

Никого не спрашивают, почему он пришел вовремя, но могут спросить о причине опоздания. Опоздавший и сам спешит сослаться на чрезвычайные обстоятельства. Беспричинность работает на обвинителя. Причина создает смягчающее обстоятельство.

Итак, связь ненормативных явлений с концептом причины зафиксирована и в семантике и в синтаксисе.

Неукоснительные законы природы труднее обнаружить, чем законы, знающие отклонения. В 40-е гг. прошлого века был открыт Нептун. Открытию способствовали кажущиеся нерегулярности в орбитальном движении Урана (Уран был обнаружен в 1781 г.), объяснявшиеся воздействием со стороны еще неизвестного небесного тела, масса и местоположение которого были рассчитаны, и невидимая до тех пор планета не замедлила появиться в расчетном месте.

«Открытие начинается с осознания аномалии, то есть с установления того факта, что природа каким-то образом нарушила навеянные парадигмой ожидания, направляющие развитие нормальной науки» [8]. Если бы, хоть изредка, отрываясь от ветки, яблоко летело вверх, закон всемирного тяготения, возможно, был бы сформулирован раньше (правда, он не был бы всеобщим). Грандиозность открытия Ньютона состоит в том, что он вывел формулу универсального закона. Его мысль победила всеобщий порядок. Ей помогла в этом математика. По выражению Д. Дидро, природа удостоила Ньютона своим доверием [9].

В работе под вызывающим названием «Против методологического принуждения. Очерк анархистской теории познания» П. Фейерабевд в полемически заостренной форме пишет: «Как можно проверить нечто такое, что используется постоянно? Как можно проанализировать термины, в которых мы привыкли выражать свои наиболее простые и непосредственные наблюдения, как обнаружить их предпосылки? Как можно открыть тот мир, который предполагается в наших действиях? Ответ ясен: мы не можем открыть его изнутри. Нам нужен внешний стандарт критики, мно-

жество альтернативных допущений, или — поскольку эти допущения будут наиболее общими и фундаментальными — нам нужен совершенно иной мир — мир сновидений» [10].

В литературоведении этот прием хорошо известен. Он называется острашением. Именно с острашением связаны многоразличные языковые эксперименты, проливающие свет не только на устройство языка и регулирующие его употребление правила, но и на некоторые стороны мира и общества.

Манипулирование с семантикой и правилами коммуникации создало текст «Алисы», основная часть которого построена на не дающих новых смыслов аномалиях, тогда как риторические фигуры, эксплуатирующие языковые девиации, предполагают возможность их частичной редукции к стандартной семантике. Л. Кэрролл сталкивает разные системы правил, создавая этим эффект острашения. Столкновение высекает искру — прозрение в такие вопросы, как единство личности, тождество смысла, пределы власти человека над значением слова, внесубстанциональность признаков (улыбка чеширского кота), в вопрос о том, что есть правило вообще и правило коммуникации в частности и т. п.

Таким образом, опыты Кэрролла с семантическими аномалиями не следуют рецептам, предлагаемым риторикой, но они имеют точки соприкосновения с концептуальным анализом, особенно в версии позднего Л. Витгенштейна [11]. И там и тут игра в нарушение семантических и прагматических канонов имеет своей целью проникнуть в природу самого канона, а через него и в природу вещей². Раскрыть специфику текста «Алисы» значит указать на те правила, которые в нем нарушены, и на сам способ их нарушения [12], а также сформулировать те парадоксы, вопросы и сомнения, на которые наталкивают aberrации в пользовании речью [11]. Основное из этих сомнений касается осмысления правил.

Экспериментами над языком занимаются все: поэты, писатели, остряки и лингвисты. Удачный эксперимент указывает на скрытые резервы языка, неудачный — на их пределы. Известно, сколь неопределимую услугу оказывают лингвистам отрицательные факты [15, 16].

2.

Рассмотрим в общих чертах строение концептуальных полей нормы и «антинормы». Термин «норма» используется нами как родовый: им мы обозначаем все виды и формы порядка, имея в виду и естественные нормы природы, и созданные человеком правила и законы. Первые отрабатываются в стремлении природы к равновесию — необходимому условию ее существования; вторые создаются в ходе целенаправленной деятельности человека. И природа, и общество постоянно нарушают свои правила и нормативы.

Под родовый концепт нормы подводится следующая серия частных, нечетко разграниченных групп понятий: 1) космос, порядок, упорядочен-

² Известна сосредоточенность Л. Витгенштейна на концепте правила. Этот его интерес был связан с общей философской проблемой существования микропорядка. В записной книжке Витгенштейна есть на это прямое указание: «Основная проблема, вокруг которой вертится все, что я пишу, сводится к вопросу: есть ли в мире порядок а priori, и, если есть, в чем он состоит» [13]. Эксперименты над языковыми, коммуникативными, игровыми и др. правилами были для Витгенштейна своего рода лабораторной работой, ведущей к прояснению более общей проблемы. Природе правил в настоящее время посвящена большая литература [14].

ность, сформированность, система, структурированность; 2) строй, гармония, лад, пропорциональность (соразмерность), ритм, регулярность, уравновешенность, слаженность, инертность; 3) кодекс, закон, заповедь, запрет, норма, правило (учредительное, регулятивное), конституция, предписание (прескрипция), инструкция, установление, указ, статут, договор; 4) режим, регламент, расписание, распорядок, последовательность, связность, непрерывность (континуальность), цикл; 5) канон, парадигма, модель, образец, трафарет, форма, стереотип, стандарт, тип; 6) направление, курс, план, программа, алгоритм; 7) организм, организация, механизм, целостность, кругооборот. Нормативные концепты объединены некоторым «фамильным сходством», не предполагающим наличия у всех групп единого понятийного ядра. Концепт нормы соотносится с модальностями должностования (нормы в человеческом обществе), необходимости (неукоснительные законы мироздания), вероятности (среднестатистические нормы).

Соответствовать норме и соблюдать порядок значит быть «как все» и «как всегда», но это также значит быть и *comme il faut*, и порядочным. Поле нормативности граничит с концептами обыденности, ординарности, предсказуемости, привычности (обычное, обыденное, повседневное, монотонное, рядовое, заурядное, посредственное, неувидительное, закономерное, ожидавшееся, привычное, машинальное, автоматическое, заведенное и пр.). Привычка — это слабо мотивированная норма индивидуального поведения.

Если рассматривать концепт нормы безотносительно к характеру отклонений, то он варьируется по следующим основным признакам³: 1) возможность/невозможность отклонений (абсолютность/относительность), 2) социальность/естественность («рукотворные»/«нерукотворные» нормы), 3) позитивность/негативность (рекомендательные/запрещающие правила), 4) растяжимость (вариативность)/стандартность (среднестатистические/точные нормы), 5) диахронность/синхронность (закономерности развития/правила функционирования). 6) престижность/непрестижность (для социальных норм).

Большой интерес представляет собой концептуальное поле ненормативности («антинормы», антипорядка). В него входят имена действия и результата действия. Эти значения обычно объединены. Если по возможности придерживаться схемы концептов поля нормы, то получим следующее распределение понятий в соотносительном с ним поле «антинормы»: 1) хаос, аморфность (бесформенность), смешанность, недискретность, нерасчлененность (диффузность); 2) дисгармония, несоразмерность (непропорциональность), неслаженность, аритмия (неритмичность), прерывистость, нерегулярность, бессвязность, перебой, сбой, разнობой; 3) беззаконие, анархия, беспорядок, безалаберность, непорядок, путаница; 4) аномальность, неправильность, искажение, ошибка, нарушение, преступление, погрешность, брак; 5) нетипичность (атипичность), несообразность, неканоничность, апокрифичность, нестандартность, оригинальность; 6) отклонение, отход (от курса), девиация, невыполнение программы, плана), заблуждение; 7) а) расстройство, дисфункция, ненормаль-

³ Классификация нормативных суждений разрабатывалась многими логиками, в частности фон-Вриггом [17] и А. А. Ивным [18]. В работах А. А. Ивина содержится обзор и критика разных таксономических систем и приводится обширная библиография по теме.

ность, патология; б) неполадка, поломка, авария, кризис, катастрофа, катаклизм⁴.

Для отклонений от нормы характерны следующие противопоставления: 1) возможность/невозможность превращения отклонения в норму, 2) градуированность/неградуированность отклонений, 3) позитивность/негативность отклонений, 4) престижность/непрестижность отклонений, 5) сознательность/нечаянность отклонений (в сфере человеческих действий), 6) наказуемость/ненаказуемость отклонений (в сфере поступков), 7) опасность/безопасность нарушений нормы.

Это поле граничит, с одной стороны, с такими концептами, как новшество, изобретение, преобразование и т. п., а с другой — с такими, как: а) редкое, необычное, из ряда вон выходящее, выдающееся, уникальное, индивидуальное, поразительное, обращающее на себя внимание, вызывающее и т. п.; б) спорадическое, случайное, непредсказуемое и др. К полю «антинормы» примыкает концепт устранения (ликвидация, исправление, налаживание, приведение в порядок, упорядочивание, восстановление и пр.).

Оппозиция нормы и отклонения от нормы функционально близка к оппозиции симметрии и асимметрии.

Концепт нормы применим практически ко всем сферам жизни — явлениям природы, естественным родам, выведенным культурам, артефактам, организмам и механизмам, погоде, социальным явлениям, поведению людей и их действиям (деонтические нормы), экономике, искусству, науке, языку и мышлению, профессиональным действиям, играм, спорту и т. п. В сущности основные механизмы жизни сводятся к борьбе хаоса и космоса, закона и беззакония, отвечающим деструктивному и конструктивному началам, причем творчество связано как с тем, так и с другим.

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы обозначить последовательность действия отклонений от нормы, которая берет свое начало в области восприятия мира, поставляющего данные для коммуникации, проходит через сферу общения, отлагается в лексической, словообразовательной и синтаксической семантике и завершается в словесном творчестве. Речь идет о едином цикле взаимосвязанных явлений, относящихся к разным сферам жизнедеятельности человека.

3.

Начнем с «пункта отправления». Восприятие мира, как уже говорилось, прежде всего фиксирует аномальные явления. Последние отделяются от любого фона. Известный персонаж Честертона пастор Браун рекомендовал прятать сухой лист в куче сухих листьев. Чтобы надежно укрыть жемчужину, пужна куча жемчуга. То, что не отделено от фона или среды погружения, трудно заметить, а о том, что осталось незамеченным, нельзя сообщить. Но даже регулирующее обыденную жизнь восприятие мелких фактов и привычных предметов не дает пищи для коммуникации. Мы имеем в виду, прежде всего, свободное общение (беседу, разговор), задача которого состоит не в передаче адресату нужных для определенных целей сведений, а в реализации фатической функции речи. В ходе свободного общения собеседники поддерживают друг друга в курсе своих дел и настроений, ставят в известность о событиях, меняющих курс жизни (сооб-

⁴ Большинство слов анализируемых полей входит в статьи «Порядок» и «Правила» «Русского семантического словаря» [19].

щают новости), делятся впечатлениями, переживаниями и планами, передают свои мнения, отзывы и оценки, советуются, спорят о вкусах, обнаруживают свои склонности (иногда фиктивные), забавляют и развлекают друг друга, откликаются на текущие события, сочувствуют и т. п. Структура и тематика свободного общения в каждом социальном кругу не настолько разнообразна, чтобы нельзя было с долей вероятности ее прогнозировать. Очевидны и основные ее принципы. Даже скучные собеседники выбирают для сообщений «отклоняющийся» жизненный материал. Повседневность не возбуждает коммуникативных центров. Еще меньше она привлекает интерес собеседника. Сообщения о том, как человек двигается, ест и пьет, если он это делает как все люди, может представить интерес для жителей Марса, но не Земли. Об этих акциях сообщают с позиций остранения. Смещение речевого содержания в сторону нестандартных ситуаций явно в таких жанрах, как рассказы о виденном в дальних странах, о приключениях и похождениях. Даже дети рассказывают друг другу «страшилки» о привидениях, похищениях и зловещих пятнах на стене [20]. Субститутом новостей служат остроты и анекдоты. Заключенный в них неожиданный поворот мысли эквивалентен неожиданному повороту событий.

Когда спрашивают «Случилось что-нибудь? Что произошло?», имеют в виду что-то выходящее за пределы заведенного порядка. Если порядок ничем не был нарушен, то считается, что ровно ничего не случилось, хотя жизнь не ведает пустоты. «Ничего» значит «ничего особенного». Если на вопрос «Как дела?» отвечают «Нормально», то такой ответ не требует конкретизации: норма жизни образует фоновое знание собеседников.

Для того, чтобы на законных правах войти в фатическую коммуникацию, огурец должен вырасти с гору, а гора родить мышь. Именно требование отхода от стереотипа жизни (а не от частного факта) порождает вымысел. Изменение размеров, количеств и параметрических пропорций составляет наиболее простой и наглядный вид девиаций, воспринимаемый даже ленивым воображением. Отклонение в сторону увеличения параметров обычно берет верх над «редукционизмом», великаны и великанши — над мальчиками-с-пальчик и дюймовочками. Лилипуты льстят детям, гиганты воодушевляют взрослых.

Особенности восприятия мира, выделяющие отклонения от среднестатистического стандарта, и правила свободной коммуникации предъявляют свои требования к семантике параметрических слов. Структура восприятия и концептуальные системы основываются на сходных принципах. Более того, восприятие неотделимо от концептуального содержания сознания. Это одно из основных положений когнитивной психологии [21]. Концептуальные системы в значительной своей части реализуются лексической семантикой, которая должна в то же время отвечать и запросам коммуникации. В данном случае оба вида требований сходятся. Параметрическая лексика прежде всего фиксирует отклонения от нормы. В статье о параметрических прилагательных М. Бирвиш подчеркнул, что их значение определяется отношением к норме, но саму норму не специфицирует. Параметрические прилагательные выражают только факт наличия нормы, нормативность, составляющую общее свойство восприятия действительности человеком [22].

Самая норма, соответствующая срединной части градационной шкалы, имеет слабый выход в семантику. Ей соответствуют такие прилагательные, как *обычный, средний, нормальный, стандартный*, употребляющиеся безотносительно к параметру и позиции наблюдателя: прилагательное *средний* приложимо и к размеру, и к высоте, и к ширине, и к толщине

не, и к объему, и к весу. Уже Аристотель обращал внимание на то, что промежуточные концепты не всегда имеют названия [23]. Сфокусированность сообщений на отклонениях от нормы и стереотипа жизни ведет к тому, что значения, соответствующие флангам градационной шкалы, богато представлены в языке, а срединная часть — бедно. Концы шкал в области параметрических значений лексически разветвлены и изменчивы. Отклонения от нормы возбуждают не только внимание и коммуникативные центры, но и эмоции. Соответствующие концам шкалы прилагательные окружены экспрессивными синонимами. Примером могут послужить такие группы синонимов, как *маленький, малюсенький, крохотный, крошечный, миниатюрный, ничтожно малый, крошечка, капелька, чуточка, крупица*, — с одной стороны, и такие, как *большой, большущий, громадный, огромный, гигантский, грандиозный, колоссальный, неимоверный, чудовищный, великий, величайший; громадина, гигант, колосс, гора, глыба* и пр., — с другой.

Отрицание одного экстремального признака, если оно поначалу и обозначает норму, постепенно сдвигается к противоположному концу шкалы. Происходит семантическая рокировка: *большой — малый* → *немалый* (= большой) → *небольшой* (= малый). Закон концов шкалы побеждает.

Тенденция к обозначению отклонений от нормы характерна и для словообразовательных средств. Так, во многих языках распространены аффиксы привативного значения, создающие имена (прилагательные и существительные) «некомплектных» объектов: *безногий, безволосый, безрассудный* и пр. Антонимы привативных прилагательных обычно получают значение не наличия признака (если он входит в «комплект»), а его гипертрофии, т. е. обозначают также ненормативную ситуацию: *лобастый, носатый, глазастый, волосатый*. Можно говорить о «волосатой груди», но голову не называют волосатой; точно так же не назовут безволосой грудь, к голове же это прилагательное приложимо. Оба прилагательных — *безволосый* и *волосатый* — используются в тех случаях, когда имеет место отклонение от нормы.

Сложные прилагательные типа *длинноносый, вислоухий, косоглазый* также используются преимущественно для обозначения аномального или броского отличительного признака. Ряд словообразовательных моделей имеет тенденцию функционировать в сфере обозначений лиц по ненормативному, нежелательному, чрезмерному или регулярно практикуемому действию: *болтун, молчун, драчун, крикун; лентяй, слонтяй, скупердяй, разгильдяй; ломака, кривляка, забияка; халтурщик, комплиментщик, спорщик, жалобщик, выдумщик; бродяга, трудяга, работага, бедняга; хитрюга, жадюга, ворюга*. На этой семантической основе развивается обозначение лиц по склонности и профессиональной деятельности. Став профессиональным, чрезмерно практикуемое действие вводится в норму жизни. Префиксы используются для обозначения «промахнувшихся» действий: *перебросить, пережарить, передержать, недобросить, недожарить, недодержать*. В языках чрезвычайно распространены увеличительные и уменьшительные суффиксы (*добрейший, длиннуций, злоций-презлюций, широченный* и пр.).

Собственно нормативные качества родов входят в значения таксономической лексики (имен классов). Они из нее не выделены: поэтому, если норма меняется, нет надобности менять имя класса. Ненормативные признаки требуют специального обозначения. Они должны быть выделены и названы.

Нормальному состоянию мира соответствует чертеж, соединяющий

точки отсчета параметрических значений, но не сами эти значения⁵. Развитие семантики стимулировано аберрациями. Всем ненормативным, редким и необычным явлениям обеспечен прямой выход в лексику.

Фиксация отклоняющихся явлений и патологических свойств весьма эффективно служит целям идентификации объектов, их выделению из классов им подобных. Обозначая человека, делают выбор не из бесконечного множества его нормативных свойств, а из малого числа индивидуальных признаков; при этом выбирается наиболее различительный — то, чем человека отметила природа. Определенные дескрипции и собственные имена (фамилии), не говоря уже о прозвищах и кличках, часто выводятся из названий ненормативных свойств: *Беспалов* и *Безухов*, *Долгоруков* и *Колченогов*, *Погорельский* и *Скалозуб*, *Безобразов* и *Безбородько*, *Косолапов* и *Кривошеин*, *Ломоко* и *Плевако* и т. п. И если бы это не обижало человека, тенденция к «аномальным» фамилиям была бы выражена ярче. Дело, впрочем, не только в обидах на судьбу и людей, а в том, что имена собственные, наряду со способностью к различению, выполняют еще и объединяющую функцию. Это «собственность» не только индивида, но также семьи и рода. Клички животных также не только идентифицируют особь, но в идеале включают ее в класс: *Мурка*, *Барсик* и *Тигрик* — это коты, *Лайка*, *Тарзан* и *Ужатай* — собаки. Обменяться именами они не могут.

Из сказанного следует, что аномалии и раритеты маркированы, а маркированные явления настоятельно требуют себе имя. Их обозначают прямыми номинациями. Внутреннее отрицание, если оно есть, подавляется номинативной функцией. Оно лексикализовано. Связь аномалий и раритетов с утверждениями прочнее, чем с отрицательными высказываниями. Напрасно было бы думать, что лексическое значение фиксирует норму, а его отрицание указывает на отклонение. Напротив, при построении отрицательных предложений «в уме» остается девиация, а в ассертивную часть «записывается» нормативное положение дел. Их главная задача — восстановить истину и порядок.

Нужда в прямой фиксации аномальных явлений и девиаций, как было показано, одинакова для выполнения как идентифицирующей, так и предикатной функции. Это один из немногочисленных пунктов, в котором интересы субъекта, призванного указать на предмет речи, и предиката, выражающего сообщаемое, сходятся.

Сообщения об аномалиях в ходе свободного общения очень естественно соединяются с характерными для этого жанра коммуникации целями: нежелательные девиации служат материалом для жалоб и раскаяний, упреков и обвинений, осуждений и сплетен, запрета и возмущений, предупреждений и угроз; позитивные выходы за пределы нормы дают повод для хвастовства и поощрения, для восторгов и радостных восклицаний.

Ненормативные явления не только имеют преимущественное право на обозначение, они регулируют также количество сообщаемой информации, ее обязательность или устранимость. Если делается краткое сообщение о некотором событии, то его ненормативность должна быть указана, но сведения о вариантах того, что входит в пределы естественного или социального порядка вещей, не обязательны и обычно устраняются. Так, например, в кратких биографиях людей, умерших своей смертью, непосредственная причина ухода из жизни, как правило, не фигурирует. Однако

⁵ Есть известная аналогия между этой ситуацией и рекомендацией аналитической философии искать истины в presupпозициях языка, а не в эксплицитных утверждениях.

в энциклопедических справках о Пушкине и Лермонтове указывается, что они были убиты на дуэли, в справке о Гарсии Лорке говорится, что он погиб от рук фашистов, о Маяковском сообщается, что он покончил с собой, и т. п. Названный принцип определяет истолкование предикатов широкой семантики. Они обычно не интерпретируются как относящиеся к патологическим событиям. Так, например, сочетание *взять деньги* не будет отнесено к краже, хотя, воруя, именно берут. Такая интерпретация может соответствовать только эфемистическому или ироническому употреблению. Вместе с тем под предикат *взять* могут быть подведены действия, соответствующие таким более частным значениям, как *вытащить, вынуть, извлечь, снять* (со шкафа), *схватить*, даже *купить*. Предложение *Я ушел* не может быть в общем случае интерпретировано как «*Меня выгнали*».

Ненормативные явления, таким образом, не только имеют право на прямую номинацию, но они не могут быть обойдены речевыми сообщениями. Чичиков имел право петь Селифану за то, что тот не сообщил ему о несладках с бричкой, и Селифан эту правоту признал: «Вишь ты, как оно мудрено случилось: и знал ведь, да не сказал».

Требование правдивости, предъявляемое к речи, предполагает, что в ней должна быть отражена ненормативная сторона события.

4.

В отличие от параметрической лексики в области аксиологических понятий норма не лежит в середине шкалы, а совпадает с ее позитивной частью: *хороший* означает «соответствующий норме», *плохой* сигнализирует об отклонении от нормы [22, с. 12]. Понятие нормы, таким образом, отождествляется с флагвым участком шкалы, а употребление прилагательных общей оценки организовано отношением «норма — не-норма». Именно эти значения воспринимаются как поляризованные. Соответствие аксиологической норме представляет собой, скорее, должное, чем действительное. Достижение нормы есть цель, а не отправная точка: хорошее бывает «уже» и «наконец», о плохом предпочитают думать в терминах «еще» и «все еще». Однако, сколь бы оптимистично не смотрел на мир человек, он принимает хорошее не как повседневное, а как явление, заслуживающее внимания и поощрения. О хорошем сообщается, к нему привлекают внимание адресата. Идентификация хорошего с нормой производится не относительно действительного, а относительно идеального состояния мира. Поэтому хорошее, хотя и принимается за норматив, ведет себя по законам отклонения от нормы. Сообщения о том, что объект удовлетворяет предъявляемым к нему требованиям, столь же информативны, как сообщения об отклонении от нормы. Вследствие этого ситуация соответствия стандарту и особенно превышения нормы имеет такой же широкий выход в лексику, как и ситуация несоответствия. В этом случае фактор нормы подводится под закон концов шкалы.

Более того, во многих обществах, а, возможно, и повсеместно, правила коммуникации и ориентированность на положительные явления активизируют развитие и употребление лексики, относящейся к позитивному флагу шкалы. Психолингвистические опыты показали, что положительные оценки усваиваются детьми раньше, употребляются ими чаще (по крайней мере, в возрасте до 10 лет), что «приятные слова» легче запоминаются и стимулируют больше ассоциаций [24, 25]. Отрицательные смыслы образуются от положительных, а не наоборот. Это свидетельствует о ба-

зисном положении в словаре позитивных оценок. Если присоединение негативизирующего суффикса к слову положительной оценки ведет к изменению оценки (*красивый* — *некрасивый*), то обратное явление зарегистрировано гораздо реже: так, *невеселый*, *нерадостный*, *непривлекательный*, *несчастливый* — употребительны, а **неуродливый*, **непечальный*, **небезобразный*, **неотвратительный*, **недрянный* и т. п. — нет. Синтаксическое отрицание чаще сочетается с позитивными предикатами, чем с негативными. Это показывает, что исходной предпосылкой сообщения служит положительная норма. Крен в сторону положительного конца аксиологической шкалы в психолингвистических исследованиях принято называть «принципом Поллианы». Этот принцип требует устранения или смягчения неприятных тем и сообщений. Он обозначен по имени героини одного из романов Э. Портер [24].

Лексическое развитие концов шкалы, направляющее язык в сторону ненормативных явлений и признаков, и «принцип Поллианы», обогащающий лексику позитивными оценками, демонстрируют, что под влиянием прагматических факторов лексическая семантика заметно сдвинута по сравнению с картиной мира, во-первых, — в сторону ненормативных явлений и, во-вторых, — в сторону идеализированной (позитивной) нормы. Развитие концов шкалы ведет к поляризации значений и возникновению антонимии, «принцип Поллианы» укрепляет связи языка с идеализированными представлениями.

Отрицательные явления воспринимаются обычно как отклонение от нормы, но сами эти явления не нормируются. Понятие норматива не относят к циклонам и бурям, к болезням и неприятностям, к ссорам и скандалам. Хотя врачи говорят, что болезнь протекает нормально, они избегают использовать это выражение по отношению к неизлечимым недугам. «Нормально» (так отвечают на вопрос *Как дела?*) — это почти хорошо. Закономерностями протекания отрицательных процессов занимаются специалисты. Из нормативной картины мира (т. е. из системы норм) среднего человека эти процессы как бы удалены. Из нее вообще изъято зло. Норма применяется к позитивным явлениям, мера — к злу и к наказанию за зло.

Нежелание видеть правила и правильность в протекании неправильного и несправедливого отражается в употреблении оценочных наречий, критерии функционирования которых в большой мере определяются отношением к норме [26]. Следующий пример покажет роль в их употреблении норматива. О ребенке, выходящем из грудного возраста, говорят, что он еще плохо (или уже хорошо) стоит. Можно сказать о начинающем йоге или гимнасте, что он уже хорошо стоит на голове (или на руках). Обучение входит в позитивные представления. Оно ориентировано на норму, отношение к которой служит критерием оценки. Обычное же «стояние» (даже в очереди) никак не оценивается, поскольку оно лишено норматива. Можно оценить лишь глобальное состояние и действие: *Плохо стоять в очереди*, *Хорошо стоять на берегу моря*. Оценка глобальных состояний и «стояний» выражается не наречием, а предикативом.

Однако к строю, в котором стоят по правилам строевой службы, адвербиальная оценка применима: «Через четверть часа выстроились. Как плохо стоят. Головы понурены, глаза замутнены, многие по-стариковски оперлись на винтовки» (А. Бек). Между тем о нетрезвом человеке не скажут, что он плохо (или еще хорошо) стоит. О нем можно сказать, что он еще держится или уже не держится (не стоит, не тверд) на ногах. Хотя алкоголь отрицательно влияет на «чувство вертикали», и это воздействие закономерно, оно не ассоциируется с нормой. Это исключает употребле-

ние оценочных наречий. Поведение нетрезвых людей может прогнозироваться, но оно не имеет нормативов и правил.

То же относится и к оценке тех процессов, протекание которых имеет некоторую оптимальную фазу (кульминацию, «звездный час»), достигая которую объект удовлетворяет предъявляемым к нему требованиям. Этой фазой завершается положительная часть траектории процесса. Минув оптимальную точку, процесс может продолжаться и достигнуть своего естественного конца, руинировав объект. Отношение к оптимальной точке выражается оценочными наречиями, отношение к естественному концу — наречием *совсем*. Вот характерный пример: «Ефим! Блюди особенно ты за растением сим; Пусть *хорошенько прозябает*». Зима настала между тем. Помещик о своем растении вспоминает. И так Ефима вопрошает: «Что? *Хорошо ль растение прозябает?*» — «Изрядно — тот в ответ, — *прозябло уж совсем!*» (К. Прутков). Можно употребить *совсем* для выражения отношения к оптимуму, но нельзя использовать ни *хорошо*, ни *плохо* для обозначения отношения к конечному пределу процесса, если его достижение нежелательно.

Обе оценки — *хорошо* и *плохо* — распространяются только на позитивные процессы или на их позитивную часть: *хорошо* означает, что процесс протекает нормально (при несовершенном виде глагола) или что он достиг оптимальной точки (при совершенном виде глагола), *плохо* означает, что движение (развитие) отклоняется от нормы (для несовершенного вида глагола) или что оно еще не достигло оптимума: *Картофель плохо (хорошо) растет. Картофель хорошо (еще плохо) поджарился*.

Поскольку негативные процессы не нормируются, оценка не применяется для характеристики их протекания. Нельзя сказать *Цветок хорошо (плохо) вянет*. Можно сказать о выстиранном белье *Белье плохо сохнет*, но оценка не применима к сухостю: нельзя сказать *Дерево плохо сохнет*. Однако краснодеревщик может отнести оценку к своему материалу и посетовать: *Дерево (древесина) плохо высыхает*. Хотя к худощавому пожилому человеку применимо сочетание *сухой старик*, никто не скажет о нем, что он хорошо (плохо) высох. Вне особых обстоятельств не употребительны сочетания * *плохо горбиться*, * *хорошо прохудиться (залосниться, запялиться, обветшать)*.

Итак, оценка, сигнализирующая об отношении к норме, накладывается на предварительную оценку самого процесса. Ей предшествует выяснение того, благоприятен ли он или нет с точки зрения человека и человечества. *Хорошо льет!* можно сказать только о дожде, проливающимся на благо человека. Угроза потопа или ущерба урожаю выводит из предложения оценочное наречие.

Изучение сочетаемости оценочных наречий помогает определить границы нормирующей деятельности человека, а следовательно, и границы «нормального мира», устремленного к идеалу.

5.

Аномалии во взаимодействии событий и признаков оказывают большое влияние на формирование синтаксических отношений. Они определяют употребление уступительных союзов, частиц (это хорошо показано в [7]), функционирование конъюнкции и дизъюнкции [27, 28] и ряд других аспектов синтаксиса предложения. Здесь нет возможности на этом останавливаться. Рассмотрим коротко только вопрос об отношении между аномальными явлениями и отрицательными высказываниями.

Поскольку отклоняющиеся явления располагают прямыми наименованиями, для сообщения о них нет нужды в отрицании. Чаще говорят *Он опоздал*, чем *Он не пришел во-время*, *Я проспал*, чем *Я не проснулся во-время*. Конечно, можно прибегнуть и к отрицанию, но оно либо используется с целью смягчения высказывания, либо обусловлено предтекстом (*Он обещал прийти во-время, да не пришел*). Между прочим, отрицание не позволяет сообщить о мере девиации: *Он опоздал на час*, но не * *Он не пришел во-время на час*. «Не-действие» не может иметь ни измерений, ни способа осуществления.

Следует также помнить, что отклоняющиеся для одного класса предметов свойства нормативны для других классов. Они поэтому также имеют прямые наименования. Если бы вдруг вырос не желтый лютик, то, сообщая об этом феномене, сказали бы, что лютик оранжевый (красноватый, совсем белесый). Отрицание в этих условиях (особенно, если выбор не двоичен) менее информативно, чем утвердительное высказывание.

Однако в определенных конструкциях отрицание может использоваться для обозначения отступлений от нормы. Таково контрастивное отрицание в предложениях таксономической предикации: *Это не человек, а тысяча несчастий*; *Это не кот, а бандит*.

Отступление от нормы может маркироваться отрицанием в предложениях, вводимых показателем ирреальности как *будто*, как *если бы*: «Это было сказано так, как будто она не учительница, а мы не ученики» (В. Каверин). В обоих случаях для выявления аномалии отрицается истинная или общепринятая категоризация объекта. Смысл отрицания сводится к указанию на то, что принадлежность к данному классу по общепринятым представлениям должна соответствовать иным следствиям (иной модели поведения) сравнительно с тем, что имеет место в действительности: если это кот, то он должен вести себя как кот, а не как бандит; если это учительница, то она не должна разговаривать с учениками на равных.

Приведенные примеры показывают, что отрицание используется в сообщениях об аномалиях в условиях неиндикативных видов модальности и контраста. Эти факторы действительны и для других случаев, ср. запреты на девиации (*Не укради*), осуждение за отступление от правил (*Ты не должен был вмешиваться*), предостережения (*Не зная броду, не суйся в воду*) и пр.

Основные же функции отрицательных высказываний в аномальных ситуациях состоят в том, что они выражают реакцию на непорядок в мыслях, мнениях и представлениях (1) и сигнализируют о несоответствии ожидаемого действительному (2). Эти функции не разграничены четко. Т. Гивон в статье о прагматике отрицания справедливо отметил, что «негация уместна только тогда, когда соответствующее позитивное событие — или изменение в инертном состоянии мира — оказалось включенным в фон, тогда как в норме оно составляет фигуру» [2].

В п е р в о м из двух названных выше случаев отрицательное высказывание стимулируется ошибочным суждением, ложью, искаженным представлением о положении дел. Задача отрицательного предложения — восстановить порядок и истину в мире мыслей. Для них характерен контекст диалога, спора, дебатов.

Непосредственный предтекст может отсутствовать. Отрицание в этом случае направлено против ходячих истин, общих мест или нормативных для данного общества представлений. Такое употребление характерно для романтической прозы, повествующей об исключительных личностях и событиях: «Няньки не ухаживали за моим младенчеством, не убаюки-

вали моей колыбели, и мать моя не приходила в ужас, когда я бегал по грязи босыми ногами» (Н. Ф. Павлов).

Во втором из указанных выше случаев речь идет об отклонениях от программ, планов и замыслов, об обманутых ожиданиях и несбывшихся мечтах. Ожидания нередко бывают продиктованы естественным ходом событий, правилом, привычной диспозицией предметов. Нарушение порядка обозначается отрицательным высказыванием. Вот как описывает этот механизм Б. Рассел: «Допустим, вы берете сахар, думая, что это соль; когда вы попробуете его, вы, по всей вероятности, скажете: „Это не соль“. Когда вы ищете что-либо потерянное, вы говорите: „Нет, этого здесь нет“, после вспышки молнии вы можете сказать: „Я не слышал грома“. Если бы вы увидели аллею из букв с одним вязом среди них, вы могли бы сказать о нем: „Это не бук“» [29].

Следующий пример иллюстрирует употребление отрицательных предложений в ситуации отклонения от намеченной программы: «Он ... призвал к себе Селифана и велел ему быть готовым на заре, с тем, чтобы завтра же в шесть часов выехать из города непременно... Н и ч е г о, о д н а к о ж е, н е с л у ч и л о с ь т а к, к а к п р е д п о л а г а л Ч и ч и к о в» (Гоголь).

Итак, отрицательные высказывания реагируют либо на содержащиеся в явном или неявном предтексте аномалии (прежде всего, на нарушение правила истинности), либо на неосуществленность замысла.

6.

Мы подошли к конечному пункту «сквозного действия» аномалии — ее роли в словесном творчестве. Эта проблема в одно и то же время и сложна и тривиальна. Ограничимся указанием на те области словесного искусства, в которых идет постоянная борьба между нормой и девиацией, и коротким комментарием к теме.

Проблема девиаций встает в применении к следующим сторонам словесного творчества: 1) к отбору материала (эпох, персонажей, ситуаций, хода событий и пр.), 2) к его обработке (художественному методу), 3) к правилам поэтики, сложившимся в определенной школе, 4) к языку (семантике, словообразованию и синтаксису), 5) к структуре текста (композиции, степени связности и последовательности, принципам монтажа, эксплицитности и т. п.). Тема художественных вольностей дает возможность высказать следующие соображения.

1. Некоторые литературные жанры (повесть, рассказ, сказка) сложились непосредственно на базе фатической коммуникации. Неудивительно поэтому, что они переняли ряд характерных для нее черт. Они, в частности, отдают предпочтение необычному, аномальному, завлекательному. В интродукциях к повествованию рассказчик часто прямо предупреждает, что, мол, вот какое необычное или необъяснимое событие произошло, «хотите — верьте, хотите — нет». Автор подчас и сам как бы удивляется своему рассказу. Нимало не заботясь о его правдоподобии, он в то же время настаивает на его правдивости. Он хочет обратить небыль в быль, небывалое в бывшее. В концовке «Носа» Гоголь пишет: «Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты... Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых, ... но и во-вторых тоже нет пользы... И все однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете; редко, но бывают». Жизненная «неправда» становится художественной правдой.

2. Ряд литературных жанров сложился как результат выбора определенной области отступлений от жизненного стандарта. Таковы героические поэмы, рыцарский роман, приключенческая литература, детектив, плутовской роман, фантастика, готический роман, жанр ИЭЛ, исторический роман.

3. Поскольку язык охотнее фиксирует в своей семантике аномалию, чем норму, он предоставляет больше выразительных средств романтику, чем реалисту. Он как бы подталкивает автора к отбору того жизненного материала, который может быть легче и естественней вербализован. В этом же направлении ведет автора и ориентация на индивидуальное.

4. Если прозаик сосредоточен на «прозе жизни», то он прибегает к такому методу ее художественной обработки, который выводит ее за пределы нормы. Этим целям служит гротеск, глобальная гипербола (раблезианство), сатира, комедийность, фарс, шарж, остранение, обманутое ожидание. В повествование вводятся видения и сновидения, бред и абсурд, полеты во сне и наяву, потусторонние явления и мифические персонажи, необъяснимые каузальные связи между событиями и многое другое. Методика обращения обыденного в необычное, нормы — в аномалию хорошо разработана и легко усваивается. Ею часто злоупотребляют. Более сложный случай представлен денормализацией обыденной жизни путем придания ей символической значимости.

5. Новые направления и школы складываются в борьбе с традицией. Известно, как строго обошлись с классицизмом романтики, с романтиками — реалистическое направление XIX в. и натурализм, как страдал реализм от символистов начала века, как не пощадили символистов их различные преемники и как их ущемляют в наше время постмодернисты. Чем более классические формы принимает поэтика враждебной школы, тем более агрессивна борьба с ней. Это хорошо видно в манифестах и декларациях разных авангардистских направлений [30]. Ломка правил приобретает эпатирующий характер. Постмодернизм, сменивший разные формы «поэтики девиаций», вынужден распатывать наиболее глубинные и стабильные конвенции литературы (например, условие непротиворечивости фактов). Другим его ресурсом является стилизация — условное возвращение к «чужой» поэтике, делающее из нее игру и объект иронии. Постмодернизм живет в контексте культуры.

6. Специфика художественной речи определяется многочисленными видами девиаций от семантического стандарта. Девиации можно огрубленно разделить на две категории: 1) сводимые (с потерей образности и силы) к семантическому стандарту (риторические тропы и фигуры), т. е. интерпретируемые аномалии, 2) несводимые к стандартной семантике (прагматические аномалии, абсурд, нонсенс), т. е. непосредственно не интерпретируемые аномалии.

7. Нарушения семантических правил обычно складываются в некоторую новую поэтическую систему. Новая поэтика необходимо порождает новые правила интерпретации. Чем больше используется «поэтика девиаций», тем больше правил возникает на другом конце литературной коммуникации.

8. Формы традиционного искусства, предназначенные для многократного «потребления» (они привязаны к ситуациям «вечного» кругооборота жизни и функционально близки ритуалу), в меньшей степени эксплуатируют «поэтику девиаций». Они рассчитаны на восприятие узнавания, основанное на схемах перцептивного предвосхищения (если

воспользоваться термином когнитивной психологии), обеспечивающих идентификацию объекта.

9. Суть творчества, разумеется, не состоит в поисках аномалий. Величайшие вершины словесности находятся в согласии и с нормами жанра, и с языковыми правилами. Русская словесность «удостоила своим доверием» Пушкина, Толстого и Чехова. Классическая форма неотделима от содержания. Она единственна. Если метафора — это победа над языком, то классический стиль — это победа языка.

10. Богатый материал для наблюдений над отбором и интерпретацией жизненных фактов с точки зрения их нормативности дает мемуарная литература. Когда речь идет о великих людях, на первый план выдвигаются их общечеловеческие свойства (доброта, простота, застенчивость, отзывчивость, скромность и т. п.). Это «человечивает» поднявшихся в нечеловеческий рост. Коль скоро в фокус воспоминаний вовлекается средний человек, акцент переносится на его незаурядность, подтверждаемую чудачествами и странными привычками. А. И. Панченко в воспоминаниях о В. И. Малышеве отметил эту тенденцию мемуарной литературы: «Одна из опасностей беллетризации состоит в том, что персонаж выглядит как бы гримированным, причем в гриме используются лишь немногие, но непременно броские, анекдотического свойства черты прототипа» [31].

*

В заключение мы хотим подчеркнуть, что в наше время членение наук на частные отрасли компенсируется их взаимовлиянием и созданием промежуточных дисциплин, позволяющих изучать не изолированные феномены, а комплексы (циклы) каузально связанных явлений, относящихся к разным сферам жизни. Познание не может пренебречь фактором целостности. Прагматика, если не ограничивать ее задачу изучением механизмов коммуникации и обусловленных ими смыслов, направлена на исследование языка в контексте смежных с ним феноменов.

Мы позволим себе закончить «антиэпиграфом», ставящим «светило» («святыню красоты») выше «беззаконной кометы»:

Все в ней гармония, все диво,
Все выше мира и страстей;
Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей
(Пушкин)

ЛИТЕРАТУРА

1. *Перельмутер И. А.* Философские школы эллинизма // История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980.
2. *Givón T.* Negation in language: pragmatics, function, ontology // Syntax and semantics. V. 9. New York — San Francisco — London, 1978. P. 104.
3. *Hopper P., Thomason S.* Transitivity in grammar and discourse // Language. 1980. V. 56.
4. *Chvátě C. V.* Background perfectives and plot line imperfectives: toward a theory of grounding in text // The scope of Slavic aspect. Columbus, 1985.
5. *Chantraine P.* Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. P., 1983. P. 41.
6. *Wright G. H. von.* The varieties of goodness. L., 1963. P. 56.
7. *Николаева Т. М.* Функция частиц в славянских языках. М., 1985. С. 54—55.
8. *Кун Т.* Структура научных революций. М., 1977. С. 80.
9. *Кляйн М.* Математика. Потеря определенности. М., 1984. С. 66.
10. *Фейерабенд П.* Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 163.

11. *Shibles W.* Wittgenstein language and philosophy. Dubuque (Iowa), 1969. P. 14.
12. *Падучева Е. В.* Тема языковой коммуникации в сказках Льюиса Кэрролла // Семантика и информатика. 1982. Вып. 18.
13. *Engel S. M.* Wittgenstein's doctrine of the tyranny of language. An historical and critical examination of his Blue Book. The Hague, 1971. P. 124.
14. Wittgenstein: to follow a rule. L., 1981.
15. *Салигерстова О. Н.* Компонентный анализ многозначных слов. М., 1975. С. 19.
16. *Апресян Ю. Д.* Языковая аномалия и логическое противоречие // Text. Język, Poetyka. Wrocław, 1978.
17. *Wright G. H. von.* Norm and action. N. Y., 1963.
18. *Ивин А. А.* Логика норм. М., 1973.
19. *Караулов Ю. Н., Молчанов В. И., Афанасьев В. А., Михалев Н. В.* Русский семантический словарь. Опыт автоматического построения тезауруса от понятия к слову / Отв. ред. Бархударов С. Г. М., 1982.
20. *Осорина М.* «Черная простыня летит по городу», или Зачем дети рассказывают страшные истории // Знание — сила. 1986. № 10.
21. *Нэйссер У.* Познание и реальность (смысл и принципы когнитивной психологии). М., 1981.
22. *Bierwisch M.* Some semantic universals of German adjectivals // Foundations of language. 1967. V. 3. № 1. P. 10—11.
23. *Аристотель.* Соч.: В 4-х т. Т. 4. М., 1984. С. 89.
24. *Boucher J., Osgood C.* «The Pollyana Hypothesis» // Journal of verbal learning and verbal behavior. 1969. V. 8. № 1.
25. *Николаева Т. М.* Качественные прилагательные и отражение «картины мира» // Славянское и балканское языковедение. М., 1983. С. 237.
26. *Вольф Е. М.* Функциональная семантика оценки. М., 1985. С. 134.
27. *Ляпон М. В.* Смысловая структура сложного предложения и текст. М., 1986.
28. *Санников В. З.* Значение союза «но»: нарушение «нормального» положения вещей // ИАН СЛЯ. 1986. № 5.
29. *Рассел Б.* Человеческое познание. М., 1957. С. 156.
30. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западно-европейской литературы XX века. М., 1986.
31. *Панченко А.* О Владимире Ивановиче Малышеве // Знание — сила. 1986. № 7. С. 40.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

КАЦНЕЛЬСОН С. Д.

К ПОНЯТИЮ ТИПОВ ВАЛЕНТНОСТИ *

Для более глубокого проникновения в сущность грамматического строя важнейшим формальным ориентиром являются формы соединимости или сочетаемости. Соединимость в принципе бывает двоякого рода: соединимость положительная и отрицательная (т. е. соединимость и несоединимость), а также соединимость с разного рода формальными элементами и соединимость слов данного разряда со словами других разрядов. Соединимость полнозначных слов с формальными элементами (например, с предлогами или послелогами) создает своеобразные «словосочетания», сопоставимые с формами слов, в результате чего синтаксическая морфология такого типа сближается с лексической морфологией. Соединимость другого рода, в которой участвуют различные полнозначные слова, остается в рамках синтаксической морфологии. Соединимость или сочетаемость этого рода мы выделим под именем валентности. Именно валентности мы придаем исключительное значение в плане выделения «скрытых категорий» в разноструктурных языках.

В языках синтетических валентность предполагает соединимость словоформ знаменательных слов, поскольку, как правило, в таких языках каждое слово, входящее в состав атрибутивного словосочетания или предложения, синтетически оформлено. Синтетическая морфология накладывает печать своеобразия на валентность, в силу чего в синтетических языках приходится различать валентность формальную и содержательную. В языках аналитических структура валентности более прозрачна и формальных накладок на содержательную валентность гораздо меньше, в силу чего она выступает здесь в незатемненном виде.

Валентность можно определить как заключающуюся в лексическом значении слова синтаксическую потенцию т. е. способность присоединить к себе другое категориально вполне определенное полнозначное слово. В принципе каждое полнозначное слово способно сочетаться с какими-либо другими полнозначными словами. Но валентность — это нечто большее, чем способность вступать в синтаксические отношения. Каждое слово обладает способностью сочетаться с другими словами, и эта способность фактически реализуется в беспредельном числе высказываний. Под валентностью мы имеем в виду подразумеваемое значением слова

* 30 декабря 1985 г. скончался крупный лингвист-теоретик Соломон Давидович Кацнельсон, ставший еще при жизни одним из классиков советского языкознания. Комиссия по творческому наследию ученого готовит к печати ряд его трудов. Предлагаемая вниманию читателей статья посвящена понятию валентности, введенному С. Д. Кацнельсоном в обиход лингвистической теории в 1948 г. (см. его работу «О грамматической категории» — Вестник ЛГУ. 1948. № 2). Текст данной статьи подготовлен к печати С. М. Кибардиной.

или имплицитно содержащееся в нем указание на необходимость восполнения его словами определенных типов в предложении. Валентностью с этой точки зрения обладают не все полнзначные слова, а только те из них, которые сами по себе дают ощущение неполноты высказывания и требуют восполнения в высказывании. Уже традиционная грамматика подошла к понятию валентности во многих случаях, хотя и не обобщила это понятие. А. А. Потебня, раскрывая понятие глагольной транзитивности, указывал на необходимо содержащееся в глаголе требование объекта. Оспаривая мнение Ф. И. Буслаева, согласно которому глагол *читать* в предложении *Он уже читает* употреблен в непереходном значении, Потебня писал: «Не договаривая дополнения при объективном глаголе, мы не делаем этого глагола субъективным, потому что нисколько не изменяя этим самого глагола, мы, так сказать, оставляем при нем пустое место для объекта: *он уже читает* — что бы то ни было, но нечто такое, что, выраженное именем, стояло бы непременно в винительном падеже» [1]. Мы находим здесь применительно к переходному глаголу то понятие «пустого места», которое позднее в более общей форме сформулировано рядом исследователей не только в языкознании, но и в логике [2].

Валентность — это свойство значения, в котором как бы содержатся «пустые места» или «рубрики», нуждающиеся в восполнении, как рубрики в анкете. Слово, обладающее валентностью, предполагает возможность его «дополнения». «Дополнение» в этом смысле не следует смешивать с другим грамматическим термином «дополнение» (объект), так как в роли заполнителя «пустой клетки» при глаголе выступает и субъект, а в ряде случаев и так называемое обстоятельство. Но в самом термине «дополнение» (франц. *complément*, нем. *Ergänzung*) как обозначении объекта — во внутренней форме этого термина — скрывается намек на идею дополнительности и, следовательно, предчувствие идеи валентности.

Необходимо различать валентность формальную и содержательную. В первом случае валентность связана с определенной словоформой и обусловлена элементами синтетической морфологии в данном языке. Во втором случае валентность зависит исключительно от значения слова и, следовательно, ни в каком подчинении морфологии языка не находится. Формальная валентность не всегда совпадает с содержательной, поэтому в ряде случаев переход от формальной валентности к содержательной требует специальных процедур редуccionного плана.

Примером формальной валентности может служить определяемое слово в изафетной конструкции ряда языков. Так, в курдском диалекте мукри определяемое в изафетной конструкции оформляется изафетным показателем *-i*, ср.: *malî gewre* «большой дом», *babî min* «мой отец», *banî matê* «крыша дома» [3]. Поскольку определяемое имеет здесь определенное оформление, постольку форма его предполагает, что данному слову необходимо должно сопутствовать определение. Таким образом, при такой форме имеется «пустое место», заполняемое в речи определением. В языках, где наличествуют соответствующие формы для выражения определительных слов, формальной валентностью будут обладать не только определяемые слова, но и определения. Поскольку в русском, например, существуют морфологически вычлняемые прилагательные, то последние в тех случаях, когда они не подвергаются субстантивации, предсказывают появление рядом с собой определяемого имени в тексте. На деле, однако, в русском обстоятельство несколько сложнее. Прилагательное как атрибутивная форма требует определяемого в предложении, но в части согласования (в роде, числе и падеже) господствующим словом, т. е. облада-

телем валентности, остается здесь существительное. Если же рассматривать соотношение определительных и определяемых слов в содержательном (т. е. семасиологическом) плане, то господствующим в плане валентности словом будет определительное слово (т. е. слово, выражающее признак, качество, а не предметность); что же касается предметных слов, то они валентностью не обладают, так как необязательно требуют сами по себе (т. е. в силу лишь одного своего значения) восполнения их определительным словом.

Поскольку содержательная валентность остается во всех языках одинаковой, а формальная, будучи функцией морфологического строя данного языка, в разных языках различна, то формальная (т. е. морфологическая) валентность может, в случае определительной конструкции, либо совпадать по своему направлению с содержательной валентностью, либо вступить в противоречие с ней, либо совпадать с ней только в некотором отношении.

Приведем еще пример. Падежные формы существительных, там где они существуют, обнаруживают определенную валентность. Так, форма именительного падежа заключает в себе предсказание о финитной форме глагола, форма винительного падежа — предсказание о переходном глаголе и т. д. Предсказания этого рода, впрочем, не очень устойчивы, так как формы падежей употребляются в разных функциях и их соединимость с другими словами не всегда одинакова. Форма именительного падежа может выступать и в безглагольном предложении (типа *Вечер. Тишина.* и т. п.), форма винительного падежа может стоять и при непереходном глаголе (как *Он спал всю ночь спокойно* и т. д.). Но элемент предсказуемости здесь все же есть. В содержательном плане, однако, господствующим в валентностном отношении, носителем функции валентности (или функции «правления» в самом широком смысле) является для предикативных конструкций глагол. В семантическом плане имя существительное не обладает никакой способностью предсказывать синтаксическую конструкцию. Чтобы убедиться в этом, достаточно в русском языке взять любое несклоняемое существительное, например, *бюро* или *эму*. Какую синтаксическую функцию они допускают? Любую, а следовательно, сами по себе не предсказывают никакой определенной конструкции. Другое дело глагол, который своим значением всегда предполагает одну вполне определенную конструкцию, если исключить полисемию¹.

Формальная валентность очень важна для описания характерологических особенностей данного языка. Она может колебаться даже в пределах валентности одного глагола в зависимости от существительного, с которым данный глагол сочетается. Ср.: *поступить в университет, но на факультет, на такой-то курс, поступить в школу, но на курсы* и т. д.; *поехать в Крым, но на Камчатку; в Исландию* (даже если имеется в виду не страна, а остров), *но на Сахалин; в Альпы, но на Кавказ; пойти в концерт, но на представление* и т. д. Идентичность каждой пары в плане содержательной валентности доказывается единством стержневого (управляющего) слова, в данном случае глагола, и коммутабельностью его дополнений, но идиоматика языка нарушает это единство в формальном отношении. Что же касается содержательной валентности, то она, будучи сформулирована в функционально-грамматических терминах, сохраняет силу для всех языков (по крайней мере, приблизительно одинакового уровня развития).

¹ Требования исключения полисемии и омонимизации значений управляющего слова впервые выдвинул А. А. Холодович [4].

Так, например, глаголы давания, такие, как *давать*, *продавать*, *посылать* и др., предполагают субъект давания (того, кто дает), адресат действия (того, кто получает) и объект давания (то, что один субъект отдает, а другой получает, или, другими словами, то, что переходит из рук, или, шире, из сферы обладания одного лица в руки или сферу обладания, принадлежности другого лица). Такое определение допускаемых глаголами этого типа «восполнений» не зависит от морфологии того или иного языка и носит поэтому универсальные черты. В таких языках, как русский, в предложениях с глаголами давания оформляется едва ли не каждое слово; ср.: *Он дал ему книгу*, где субъект давания выделен формой именительного падежа и первым местом в предложении, субъект получения выделен формой дательного падежа и вторым местом в предложении, а объект давания выделен винительным падежом и последним местом в предложении. Порядок слов в русском языке не имеет, как известно, грамматического значения, как в языках с твердым порядком слов; тем не менее так называемый прямой порядок слов не лишен полностью грамматической нагрузки, и, следовательно, различие названных функций выражается по-русски не только падежами, но и порядком слов, что делает один из способов выражения избыточным. Неудивительно поэтому, что многие языки обходятся вовсе без падежных форм.

Глаголы получения отличаются от глаголов давания только конверсией; иначе говоря, глаголы получения отличаются от глаголов давания не качеством именных «дополнений», или «актантов», глагола, — они здесь те же, что и в глаголах давания. Но отсчет «дополнений» производится теперь в другом порядке: на первое место, т. е. на место подлежащего в предложении, выдвигается теперь не даватель, а получатель, которые, таким образом, обмениваются теперь местами. В русском языке эта перемена может быть выражена не только местом подлежащего в прямом порядке слов, но еще и изменением падежной формы дателя; ср.: *Я одолжил ему деньги* и *Я одолжил у него деньги*; в сущности, лишь различие падежных форм («у кого», в отличие от «кому») препятствует смешению смыслов конструкций. Там, где конверсия выражается дополнительно значением глагола, к различию падежных форм добавляется еще различие значений. Ср.: *Я получила / взял у него деньги (книгу...)*. В случаях этого типа одно из средств выражения оказывается излишним, и можно представить себе язык, который различает оба типа — прямой и обратный (конверсивный) — только значением глагольного слова. Ср. кит. *гэй та цянъ* «дал ему деньги» и *чжай та цянъ* «занял у него деньги» [5], где различие синтаксических конструкций держится исключительно на лексических значениях глаголов. Перед нами здесь яркий пример того, как грамматическое значение «обращенной конструкции» (конверсии) скрыто содержится в значении слова [6].

Различие значений глагола *leihen* в немецком языке можно толковать двойко: можно считать, что различное управление (*leihen j-m* и *leihen von/bei j-m*) является здесь средством уточнения значений слова и устраниения полисемии. Но можно с тем же правом считать, что различное управление выступает здесь как средство конверсии и имеет не лексическое значение, а грамматическую функцию (такую же, как, скажем, в различии конструкций *он одарил их подарками* и *они были одарены им*, где эта функция выражается страдательным оборотом). Но если правомерны оба истолкования, то это значит, что в составе лексического значения могут скрываться грамматические элементы, которые выступают явно в одном случае и как бы запрятаны в значении в другом. Это значит еще,

что скрытые в значении грамматические функции могут быть выявлены синтаксически с помощью конструкций и их преобразований. Ср. еще русск. *жалеть*, в котором словарь (МАС) различает три значения: «чувствовать жалость, сострадание к кому-либо», «печалиться, сокрушаться, сожалеть» и «беречь, оберегать, щадить». И в этом случае различие значений опирается на различие конструкций. Ср.: *жалеть кого-либо*, *жалеть о ком-* или *о чем-либо* и *жалеть что-либо* или *чего-либо*, например: *Лубенцов до боли жалел ее; Я не жалею о нем; Он все денег жалел* (или: *деньги жалел*). Все эти различия могут быть выражены и в других языках, например, отдельными лексемами, ср.: нем. *bemitleiden* или *Mitleid haben mit* в одном значении; *bedauern* или *beklagen, traurig sein über* в другом и *schonen, sparen* — в третьем. Совмещение трех разных значений в русском *жалеть* не случайно; все три значения действительно связаны одно с другим, все они выражают в какой-то мере чувство душевной боли. Но в одном случае к этому основному значению присоединяется оттенок совместности действия (в нем. *Mitleid haben*), дважды выраженный с помощью глагольного префикса *mit-* и предлога *mit*; во втором случае этот дополнительный оттенок отсутствует и глагол выражает чувство боли, переживаемое субъектом состояние, а дополнение (о чем или о ком) выражает причину, вызывающую это состояние. Наконец, в третьем случае (*жалеть денег* или *деньги*, *не жалеть сил* и т. д.) — к основному значению присоединяется оттенок потенциальности и волеия, желания (*жалеть* в этом смысле значит «не хотеть, не желать отдавать», «до боли не хотеть», «испытывать чувство боли от одной мысли об утрате» и т. д.). Значения русского *жалеть* более далеки друг от друга, чем значения нем. *leihen* или значения глаголов *дать* и *взять* в русском, где разница чисто конверсивная. Тем не менее и в этом случае при попытке эксплицировать полисемически совмещенные значения мы наталкиваемся на ряд грамматических оттенков, таких как совместность действия (как в русском *со-страдание*, где этот оттенок выражен эксплицитно) или значение отрицательного желания, нежелания, боязни.

Конструктивные особенности употребления глагола в предложении и связанная с этим валентность глагола помогают раскрыть и некоторые другие «скрытые» грамматические особенности глагольного значения. Так, глаголы типа *переплести*, *покрасить*, *подковать* и т. п. с первого взгляда кажутся нам двухместными глаголами, при которых возможны два «актанта» или два «дополнения», а именно, указание на действующее лицо и на подвергающийся воздействию предмет. В действительности, однако, действия, выраженные такими глаголами, трехместные, и если мы этого сразу не замечаем, то только потому, что одно из глагольных мест запрятано в значении глагола и непосредственного выражения, как правило, не находит. Ср., с одной стороны, *переплести книгу*, *покрасить крышу*, *подковать лошадь* и т. п., и с другой стороны, *вклеить в книгу рисунки*, *покрыть дом шифером*, *набить на туфли подковки* и т. п. И в одном и в другом случае речь идет о фактивных глаголах оснащения, т. е. присоединения к предмету каких-то дополнительных средств. Глаголы оснащения или оборудования являются в принципе трехместными глаголами с местом для действующего лица, оснащаемого предмета и средства оснащения. В двухместных глаголах типа *переплести книгу* или *подковать лошадь* и т. д. на поверхности мы сталкиваемся с нехваткой одного места, обусловленной тем, что данное место поглощено глагольным значением и неявно содержится в нем. *Подковать* значит «подбить подкову», *переплести* — «сшить и снабдить переплетом»; *покрасить* — «нанести слой

краски на поверхность» и т. д. Эксплицировать недостающее место в таких глаголах можно не только путем словарного толкования отмеченных значений или перевода на другой язык, но и указанием на обратные действия «разоснащения», ср.: *сорвать переплет с книги, сбить подкову с лошади, сорвать краску с поверхности* и т. д. Мы видим, таким образом, что значение глагола может содержать в себе не только грамматические элементы, определяющие количество мест при глаголах данного типа, но фактически вмещать целые словосочетания с указанием на грамматическую связь между членами словосочетания. Так, в указанных глаголах снабжения с недостающим элементом скрывается глагол материального присоединения с заполненным местом для обозначения средства или орудия. Заметим еще, что морфологические способы выражения мест при глаголах данной группы не столь важны: в одних случаях при наличии всех трех мест мы имеем конструкцию типа *покрыть крышу шифером*, в других — типа *вдеть нитку в иголку*, в третьих — типа *набить подковки на каблуки*, в четвертых — *прицепить прицеп к трамваю* и т. д. При этом, однако, значение мест остается постоянным. (Ср. еще факитивные глаголы придания формы: *свернуть бумагу в трубку, сложить доски в штабеля*, но ср. *согнуть*, которое само по себе означает «придать чему-либо форму дуги или угла»; ср. глагол с дефективной или компрессивной валентностью *смять что-либо в ком* и т. д.).

Валентность предиката измеряется количеством открываемых им «мест», число которых в принципе невелико, их обычно не более трех-четырех. Все предикаты делятся на событийные, т. е. сводящиеся к выделению целостного события как такового, не вдаваясь в вычленение отдельных объектов, и предикаты, выделяющие объекты. Предикаты второго рода делятся на свойства и отношения. Предикаты-свойства одновалентны, они выражают такие события, которые совершаются в объекте, не выходя за его пределы, не требуют для своего проявления наличия других объектов. Это, выражаясь грамматически, предикаты непереходные, ср.: *падать, лежать, прыгать* и т. п. Предикаты относительные выражают события, которые разыгрываются между двумя или несколькими объектами, каждый из которых осуществляет в событии свою особую роль. Число участников события в таких случаях превалентно, важно число «ролей», в сумме составляющих событие. Так, событие «затопить» предполагает жидкость, как правило, воду, и район затопления. Ср.: *Вышедшая из берегов река затопила все прибрежные села*. Предикаты этого рода называются переходными. Они предполагают воздействие одного объекта на другие (ср. еще: *Буря повалила много деревьев* или *Бурей повалило много деревьев*). Количество участвующих в событии разнорольных объектов может быть больше двух. Ср.: *Плотник заколотил окно досками*, где каждый аргумент играет свою специфическую роль.

Из сказанного вытекает, что в принципе валентность не превышает двух-трех мест и что эти места определяются фундаментальным различием событийных предикатов, непереходных и переходных. Количество элементарных валентностей может увеличиваться за счет типов объектов, которые могут различаться. Глаголы обладания, например, предполагают наличие объекта владения (принадлежности), по типу отличающегося от объекта воздействия; глаголы воздействия обладают двумя объектами (воздействия и инструмента) и т. п. Если некоторые глаголы *дать, продать, снять (квартиру)* и т. п. обладают большей валентностью, то это потому, что они представляют собой модифицированное усложнение обычного глагола. Модификация таких глаголов означает обогащение их валент-

ности путем присоединения к ним дополнительной семы — по существу вопросительной. Так, *подарить* присоединяет к глаголу *дать* семы «даром» и «по какому-то случаю» или «в виде награды за услуги», «в знак благоволения». Такие семы представляют собой своего рода имплицитные предикаты, подразумевающие расшифровку с помощью дополнительного предложения, как бы отвечающие на скрытый в предложении вопрос (*с чего ради, по какому случаю, за какую услугу* и т. п.). Наслаиваясь на основной или стержневой предикат, такие моменты являются основой для усложненного предиката, включающего в себя, помимо стержневого предиката со свойственными ему валентностями, новые валентности. Ср. еще: *Вчера я получил письмо от брата из Тулы*, где четыре аргумента: *я, письмо, от кого, откуда*. Но уже здесь могут возникнуть сомнения относительно единства события. Является ли *из Тулы* аргументом предиката *получать*? Скорее это аргумент предиката *приходить*, нежели *получать*, ответ на вопрос: *откуда пришло письмо?*, чем на вопрос: *откуда получил?* *Получать* предполагает получателя, отправителя и объект отправления-получения; что же касается места отправления, то это скорее дополнительная роль, подразумеваемая не глаголом *получать*, по своей природе глаголом опосредованного взятия, а его каузативным коррелятом *отправить, посылать*, т. е. «сделать так, чтобы некто доставил мне письмо из Тулы».

«Место» при глаголе следует четко отграничить от обстоятельственной характеристики глагольного действия. Последняя отличается от места в принципе тем, что возможна при любом глаголе. Поскольку каждое действие совершается при известных обстоятельствах места и времени и т. д., то указание на эти обстоятельства может сопутствовать каждому глаголу и шире — предикативному слову. От обстоятельства времени, места и т. д. нужно поэтому строго отличать случаи, когда указание на время, место и т. д. являются необходимыми «дополнениями» к предикативному слову. Ср., например, глаголы *времяпрепровождения*, которые необходимо требуют временного дополнения. Ср.: *Он провел там два часа; Он прождал его целый час* и т. д. Соответственно могут быть предикаты пространственного дополнения, ср.: *Он прошел полем; Он находился тогда на Урале* и т. д. Ср. также предикаты, требующие орудийного дополнения (*воспользоваться, пустить в ход, использовать* и т. п.); предикаты цели [*пойти за (грибами, ягодами, водой, продуктами, покупками)* или *собрать грибы, отправить письмо* и т. д.]; предикаты причины (*умирать от, заболеть от, присутствовать по* и т. д.). Короче говоря, речь идет о предикатах, в значении которых уже содержится указание на то или иное обстоятельство, что открывает при таких глаголах вакансию для обстоятельственного «дополнения». Могут возразить, что выделение в качестве особых предикатов таких сочетаний, как *заболеть чем, заболеть от*, неоправданно, так как предлог будто бы не уточняет в данном случае значения глагола, а синтаксически относится к существительному, которым он управляет. Нам думается, однако, что предлог, так же как и падеж, может содействовать уточнению значения глагола. Если же морфология языка отделяет предлог от глагола в отличие от глагольных приставок или в иных языках послелогов, то, как мы думаем, только потому, что в синтагматическом плане вносимые предложениями добавочные грамматические признаки не исключают друг друга и могут совмещаться в одной фразе; ср.: *пойти в лес за грибами, отсутствовал в школе по болезни* и т. д. Ср. особенно совмещаемость многих предложных уточнителей при глаголах движения: *Прошел по набережной мимо университета до 1-й линии*

(где совмещаются значения *идти вдоль*, *идти мимо* и *идти до*). Прикрепление таких предложных уточнителей к глаголу привело бы к необходимости построить вместо только что приведенного предложения целых три предложения.

Доказательством того, что выделенные в особые типы подклассы предикативных слов несут грамматический, а не лексико-семантический характер, может служить то обстоятельство, что основанием для такой группировки явились признаки, отчасти уже выделенные в качестве грамматических традиционной грамматикой и грамматичность которых не вызывает поэтому сомнений. Таким признаком для глаголов давания и отнимания является принадлежность. Категория принадлежности давно выделена грамматикой в связи с атрибутивными сочетаниями принадлежности (*дом отца*, *мой карандаш* и т. п.), а также в связи с глаголами обладания (*иметь*, *владеть* и т. п.). Глаголы давания означают изменения в отношениях принадлежности при переходе объекта владения от одного обладателя к другому. В традиционное понимание принадлежности входит и отношение части к целому, а также родственные отношения. Что касается отношений части к целому, то здесь выделяется тип глаголов, выражающих либо присоединение части к целому, либо отнимание части от целого (ср.: *у него отняли руку*, *отрезали часть яблока* и т. д.); обратное отношение не всегда возможно в силу материальных причин, но ср.: *заменить лампочку в телевизоре*, *приделать ручку к двери* и т. д. Что касается родственных отношений, то здесь глаголы, выражающие переход принадлежности от одного субъекта к другому, невозможны по естественным основаниям.

Категория орудия и средства также выделена давно традиционной грамматикой в связи с падежами орудия и средства. В предикативных словах эта категория отражается в разных типах. Она обнаруживается, например, в словах, обозначающих общее использование орудий и средств (другие слова здесь невозможны, так как при любом глаголе воздействия возможно в принципе указание на орудие или средство, с помощью которого достигнут эффект).

От синтаксической валентности, определяющей характер и количество мест при предикативном слове и тем самым предопределяющей возможности развертывания предложения и, соответственно, атрибутивной группы, следует отличать соединимость иного типа, указывающую на парадигматические свойства предикативного слова. Свойства, приписываемые предикативному слову, в этом случае носят не совмещенный в линейном ряду, а альтернативный характер. Так, например, предикат движения или перемещения в пространстве может обладать свойством направленности или ненаправленности движения. В первом случае движение заранее ограничено определенным пунктом и имеет внутреннюю цель в виде достижения данного пункта, во втором случае — движение не упорядочено в смысле направления, а если и следует некоторому направлению, то лишено внутренней цели. В русском языке на этом моменте базируется различие «определенных» и «неопределенных» глаголов перемещения типа *идти* — *ходить*, которые указывают на направленность и ненаправленность движения. Ср.: *Он идет в школу* и *Он ходит по лесу*.

В ряде языков такие формы отсутствуют, но это не значит, что в этих языках отсутствуют всякие способы выражения этих различий. Это значит лишь то, что в таких языках уточнение относительно целенаправленности действия имеет место только в случае необходимости. В немецком, например, такое уточнение совершается по следующим правилам: если указана цель движения, то направленность не обозначается; если

цель не указана, то направленность обозначается либо с помощью эгоцентрических частиц *hin* или *her*, либо с помощью абсолютного показателя направленного движения (неситуативного или независимого от наглядной ситуации: *dahin*). Для обозначения ненаправленности движения используются уточнители [*auf und ab, hin und her, für sich hin (?) umher* и т. д.]. Такие уточнения, присущие определенной лексико-грамматической группе, выявленной на основании валентности (т. е. синтагматической сочетаемости предикативных слов), но свойственные предикатам такой группы только альтернативно, мы будем называть актуализирующими уточнениями, а выражаемые ими отношения — отношениями актуализации. В отличие от материально-семантических уточнителей типа *Он шел, слегка прихрамывая* или *Он шагал устало, понуро, медленно, с трудом* (ср. *брести* в отличие от *бродить*) такие формально-семантические уточнители покрывают всю группу глаголов перемещения. Кроме того, они характеризуют глагольное действие по линии валентности (направленный глагол допускает указание на пространственную цель действия и тем самым превращает глагол, сам по себе нейтральный в плане предельности, в глагол предельный, глагол с внутренним пределом).

Формальность, т. е. потенциально внешняя грамматичность такой характеристики связана, таким образом, с условиями лексикализации глаголов движения. Мы относим такие глаголы к числу предикативных слов с факультативными местами. Факультативность мест таких глаголов проистекает из совместимости целевых характеристик с пространственными и временными, с совместимостью разных пространственных «мест» одного с другими и т. д. Эта совместимость существенно влияет на правила лексикализации таких значений. Указание на «место» в этих случаях лучше отнести к имени, нежели к предикату, что создает впечатление независимости мест от предиката. Значения *идти* в *идти мимо* или *идти по, идти через, идти сквозь* обладают разнокачественными, но в принципе совместимыми местами, и это обстоятельство позволяет «оттянуть» указание на такие места к имени и сделать глагол в плане выражения нейтральным по отношению к его дополнителям. Трудно объяснить, почему в ряде случаев предлоги все же превращаются в приставки, хотя имеются и бесприставочные языки. Почему, например, рядом с *идти в* есть в русском *во-йти в*, рядом с *тянуть с* есть *стянуть с*, рядом с *нести под* есть *поднести под* и т. д. Объясняется это, по крайней мере в определенной части (т. е. поскольку речь идет о грамматическом, а не лексическом словообразовании), тем, что предлог в таких случаях превращает общее неопределенное значение глагола в предельное. Но предельный глагол в отличие от неопределенного имеет три измерения в маркированных временах, т. е. в прошедшем и будущем, а именно действие достижения предела, момент достижения предела, завершение действия в целом. Для предельных глаголов достижения в силу этого возникает необходимость выражения момента достижения предела. Такое выражение может быть достигнуто различными путями. Либо путем отнесения предлога (resp. послелога) к глаголу, превращения его в приставку или суффикс, либо же путем грамматикализации особых глаголов в функции выразителей достижения предела в глаголах перемещения. Последнее мы находим в китайском и семитских языках. Ср. в нем. *kommen* (но нет общего глагола удаления, *gehen* недостаточно обобщено, нельзя сказать *Er ging geflogen* аналогично тому, как говорят *Er kam geflogen*).

Предельные глаголы движения — это, собственно говоря, глаголы с внешним пределом. Предел обусловлен здесь не качеством глагольного

предиката как такового, не наличием в семантике самого действия непрерывного накопления элементов нового качества, а степенью приближения к определенной точке, являющейся не результатом действия, а целью действия. Это сближает глаголы направленности с длительными глаголами действия, которое может продолжаться в принципе сколько угодно долго, как повторение одних и тех же операций, и которое может иметь предел во времени (ср.: *копать 3 часа, за три часа накопили столько-то картофеля*), в количестве полученного продукта (*напили столько-то центнеров картошки*), в количестве обработанного материала (*вскопали весь участок*) и т. п. Сходство с глаголами движения обусловило, видимо, то, что и в этом случае приставка стала служить обозначением достижения предела. Что процесс использования приставок для этой цели начался в русском с глаголов движения, видно из того, что в предельных глаголах движения еще наглядно видна связь глагольной приставки с предлогом, ср.: *вложить в, поднести под, нанести на, отойти от, извлечь из* и др.

Другим примером соединимости, основанной на парадигматических свойствах предикативного слова, являются глаголы совместной деятельности (комитативные). Выражение простого сотрудничества, когда все деятели выполняют одинаковую или в принципе равную роль в выполнении действия, конструктивно не выделяются, так как такие случаи приравниваются к действию одного коллектива и могут выражаться собирательным именем субъекта действия или множественным числом. В рамках интересующего нас вопроса должны быть рассмотрены только случаи неравного партнерства, когда один из участников действия играет подчиненную роль.

Основанные на парадигматической или селективной (альтернативной) соединимости, семантико-грамматические разряды слов позволяют выделить ряд категорий и выражающие эти категории строевые слова. К числу таких слов относятся: 1) слово или слова, обозначающие предикативный разряд в самом общем виде; для нашего примера глаголов направленного действия это глагол, означающий «двигаться» или «ходить куда-либо», ср. англ. *go*. Такой глагол, выражая в самом общем виде идею движения, способен заменить собой любой из конкретных глаголов движения, входящих в данный разряд, и, следовательно, выполнять функцию слова-заместителя. Кроме того, поскольку в таком глаголе заключена схема валентности любого глагола из данного разряда, постольку он служит образчиком синтаксического поведения таких глаголов. Неслучайно во многих языках глагол типа *ходить* превращается в служебное слово и, наконец, в аффикс (индоевропейское *î* от *îre, -m îama* в аранта и т. д.); 2) идея направленности, лежащая в основе таких глаголов, также является базой для строевых слов и аффиксов. Да и существительное *направление* может служить средством экспликации значения морфологического элемента типа направительного аффикса или предлога и т. д. и их «тяжеловесной», рассматривающей отношение под увеличительной линзой заменой, ср. *к = в направлении на*.

То же относится и к другим семантико-грамматическим разрядам слов. Например, для курсивных глаголов наиболее обобщенным предикатом и, следовательно, заместительным словом будет глагол *длиться*, выражающий идею континуативности как таковую. Поскольку такой глагол не имеет внутренних градаций во времени и его мерой является лишь внешнее время, то к нему приложима лишь мера длительности (как долго?).

Для глаголов с внутренним пределом самым обобщенным предикатом-заместителем будет что-либо вроде *расти, зреть* и т. п. или кауза-

тивные глаголы с этим значением: *дать расти* и т. д. Глаголы этого типа допускают, кроме дополнителя внешней меры, еще и дополнители в значении стадии или меры достижения процесса.

Глаголы с внешним пределом обозначают, как правило, действия. Их обобщенный вариант — это глагол *делать (что-либо)*. Такие глаголы допускают измерение результатов проделанной работы по готовым частям, и, следовательно, при них возможно указание на часть проделанной работы (сколько сделано). Они принимают дополнение части, меры.

Глаголы созидания обозначают действие по созданию какого-либо предмета из какого-либо материала. Самым общим словом здесь будет *созидать* или какое-либо конкретное слово, обобщенное в этом значении (в египетском «гончарить» > «созидать»). Такие глаголы предполагают соединимость с «внутренним объектом», т. е. объектом, который возникает в процессе деятельности, и с вещественным словом, обозначающим материал (ср. лексико-семантические группы фабрикатов, с одной стороны, и обозначений материалов, с другой; ср. также обозначения субъектов-созидателей).

Глаголы придания формы предполагают фактитивное действие, имеющее целью деформировать предмет, ср.: *свернуть бумагу в трубку, пустить дым кольцами, расположить спички в ряд, сложить бумагу в стопку* и т. д. Самое общее слово — [пропуск в рукописи. — *Ред.*]. Дополнения — деформируемый предмет и результат деформации. (Такой глагол тоже фактитивен, но цель действия здесь только видоизменение формы.)

Глаголы материального соединения (типа *склеить, соединить, связать, скрепить, склоть, привязать* и т. д.). Общий глагол — *соединить, сплотить*. Дополнители: соединяемые предметы. Результат — один предмет из нескольких. Следовательно, возможен еще дополнитель — соединенный предмет (*слить все в один стакан* и т. д.). Глаголы материального разъединения — их отрицание.

В заключение отметим, что, говоря о соединяемости слов, необходимо различать вещественную и грамматическую сторону этого вопроса. Нельзя, например, на вопрос «где лежит книга?» ответить *в наперстке, в ушке иголки*, но нельзя по причине вещественного, а не формального порядка. Бессмысленность такого ответа касается не существа вопроса (постановка вопроса вполне правомерна), но самого ответа. Но имеются случаи, когда сама постановка вопроса оказывается неправомерной. Нельзя, например, на высказывание *Книга лежит на столе* реагировать вопросом «кем?», в то время как такой вопрос окажется уместным после высказывания *Книга оставлена на столе*. Синтаксической мы называем сочетаемость только тогда, когда она связана с возможностью постановки вопроса. Синтаксическая сочетаемость обусловлена вещественными, материальными условиями. Если мы не можем спросить «куда?» после высказывания *Книга лежит*, то это объясняется тем, что разные предметы могут сочетаться с предикатами, которые могут быть объединены под названием предикатов покоя и имеют между собой нечто общее, позволяющее отличить их от предикатов движения и пространственного перемещения. Именно эта общая особенность всех предикатов покоя и не позволяет нам ставить вопросы «куда?» и «откуда?», характеризующие валентность глаголов движения. Но сочетаемость слов обусловлена не только логическим классом значений, не только их общими свойствами, но и теми конкретными отдельными значениями, которые входят в состав этого класса. Так, например, на вопрос *Каково это пятнышко?* нельзя ответить *Это пятнышко громкое* или *Этот шум красный*, если не придать прилагательным пере-

носное значение. Здесь сочетаемость зависит не от синтаксических классов, а от классов вещественных, от деления предметов и явлений на оптические, акустические и т. д. Нельзя сказать *Это пятнышко высокое*, поскольку это не соответствует природе плоскостных явлений. Нужно, следовательно, различать классы логические и вещественные. Деление предметов на минералы, растения и животных не есть грамматическое деление, но и оно играет роль при учете сочетаемости слов. И, наконец, еще более существенный момент. Высказывание *Это растение — хвойное* вполне удовлетворяет общим правилам синтаксической и вещественной суппозиции, и тем не менее оно может быть неверным, например, в приложении к дубу, ко всякому дубу. Высказывание *Это столетний дуб* может оказаться неверным в приложении к данному дубу. Именно все эти моменты в их совокупности определяют сочетаемость слов. Предложения воспроизводят не логику, не «чистые формы», а реальную жизнь в ее живом многообразии и диалектике отдельного, частного, общего и всеобщего. Ложность и истинность, осмысленность и бессмысленность предложения зависят не только от синтаксической или логической (всеобщей) валентности, но и от всех других. Синтаксическая валентность самая общая, но именно поэтому она не обеспечивает истинности высказывания сама по себе и нуждается в дальнейшей проверке.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. IV. М.— Л., 1941. С. 200.
2. *Bühler K.* Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Jena, 1934. S. 173.
3. *Эйлови Р. Р., Смирнова И. А.* Курдский диалект мукри. Л., 1968. С. 133.
4. *Холодович А. А.* Опыт теории подклассов слов // *Холодович А. А.* Проблемы грамматической теории. Л., 1979. С. 228—229.
5. *Драгунов А. А.* Исследования по грамматике современного китайского языка. I. Части речи. М.— Л., 1952. С. 123.
6. *Яхонтов С. Е.* Категория глагола в китайском языке. Л., 1957. С. 43.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВАЛЕНТНОСТЬ **

1. Валентность — это свойство определенных разрядов слов присоединять к себе другие слова. Это свойство было открыто сравнительно недавно. Понятие валентности было открыто в логике в прошлом веке. Термин «валентность» распространился в языкознании с конца 40-х годов. Аналогия с химией.

** Публикуемые в качестве приложения к статье «К понятию типов валентности» заметки содержат в тезисной форме существенные положения теории валентности. Некоторые из них были развиты С. Д. Кацнельсоном в его книге «Типология языка и речевое мышление», в частности, определение и разграничение содержательной и формальной валентности, выделение некоторых типов валентности; другие — уточняются в данной статье (валентность глаголов движения, роль предлогов при определении валентности). В то же время мы находим здесь положения, которые не получили достаточно подробного развития, и, возможно, автор предполагал обратиться к ним позднее. Это замечания о способности слов различных частей речи обладать валентностью (валентность союзов и предлогов), о соотношении содержательной валентности и залогов и др. Все они намечают путь дальнейшего исследования автора, которое должно было синтезировать различные аспекты валентности. Как публикуемая здесь статья, так и эти краткие тезисы содержат в себе ряд глубоких заключений и позволяют по-новому взглянуть на некоторые положения теории валентности.

2. Примеры: глагол *дать, делить, отнимать, снимать (квартиру), разбивать, удивлять, удивляться, писать, искать, разбить (на мелкие кусочки)* и т. д.

3. Валентностью обладают прежде всего глаголы. Но не только глаголы. Ср. имена: *победа советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, снабжение современных городов водой, награда за заслуги в области здравоохранения* (на ниве народного просвещения и т. д.). Связь таких имен с глаголами. Валентность прилагательного: *красный, ср. враждебный* и т. п.

4. Но не только имена. Валентностью обладают союзы, например, *и* (ср.: *Саша и Коля, писать и читать, но, однако* и т. д.), предлоги (ср.: *под, над, в, из* и т. д.).

5. Количество мест при глаголе [ср. одноместные глаголы: *смеяться, плакать, прыгать, лежать* и т. д.; двухместные: *убивать, находить, ловить, догонять* и т. п.; трехместные: *дать, дарить*: ср. еще *продать, купить, снять (дачу)* и т. д.]. Обычно 2—3 валентности. Никто не говорит: *Я снял дачу на лето в Тразовке по весьма сходной цене у одного мало-семейного хозяина.*

6. Валентность формальная. Расхождения по языкам. Русск. *лечить* управляет вин. падежом, лат. *mederi* — дат., русск. *встретить (кого)*, нем. *begegnen* — дат., но *treffen* — вин.; русск. *завидовать (кому)*, но нем. *beneiden* — вин., ср. в одном языке: русск. *поддерживать (кого)*, но *помогать, содействовать (кому), слушаться и подчиняться; любить (кого), но восхищаться, увлекаться (кем); жалеть (кого), но сочувствовать, соболезновать (кому).*

7. Валентность содержательная: *дать* предполагает агенса, объект давания, адресат давания; *помогать* предполагает агенса (т. е. лицо, оказывающее помощь, лицо, которому оказывается помощь, дело, в котором оказывается помощь), ср.: *Он помогает своим родным* (в прегнантном значении) — глагол двухвалентный. Содержательная валентность = универсальная, формальная валентность = варьирует по языкам, имеет идиоэтнический характер. Предсказать ее трудно.

8. Изменение содержательной валентности глагола свидетельствует об изменении значения, ср.: *Он читает* [= *Он умеет читать* или *Он читает (чем занимается отец)*], ср. выше: *Он помогает родителям* (в специальном значении «оказывать материальную помощь»).

9. Содержательная (универсальная) валентность нечувствительна к залоговым изменениям (она семантична в глубинном смысле), ср.: *убивать и быть убитым* = в равной мере предполагают агенса, орудие, жертву. Субъект (подлежащее) и валентность. Говоря словами Филлмора, валентность определяется не падежом; а аргументы, функции их «роли». Иногда расхождения могут зайти очень далеко. Ср.: *Ключ открыл дверь.*

10. Глаголы с нулевой валентностью (*зрежит, светает, сквозит* и т. д.). Примеры типа: *У меня машина* = *Я имею машину (есть — глагол быть — иметь).*

11. Семантические типы валентности (глаголы давания и отнимания, глаголы воздействия и т. п.). Но глаголы речи, глаголы знания, глаголы аффекта — иная плоскость. Факультативная валентность глаголов движения. *Идти над обрывом, по асфальту, вниз по улице* и т. п. Связь с предлогами.

МИЛЛЕР Е. Н.

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЯЗЫКА

Лингвистика выработала много определений естественного языка. Однако ни одно из них не получило общего признания. Задача автора настоящей статьи — высказать и обосновать некоторые суждения по этой проблеме.

Уже в учении Платона четко выражен результат длительной систематизации знаний о языке (речи): «Поток... звуков, идущий из души через уста, назван речью» [1]. Обобщенное суждение о слове находим у Аристотеля: «Слова, выраженные звуками, суть символы представлений в душе, а письмена — символы слов» [2]. В сочинениях античных ученых ставятся вопросы происхождения языка, в частности, говорится о стихийном характере его возникновения: «В древнее время... под воздействием ежедневного навыка (производить дыханием различные голоса.— М. Е.) люди установили слова, как ие пришлось, и затем, обозначая часто употребляемые вещи, начали, как это получилось самопроизвольно (разрядка наша.— М. Е.), говорить, и так создали между собой речь» [3]. Некоторые современные представления явно восходят к тем, которые были сформулированы еще во втором веке до нашей эры: «Речь есть соединение слов, выражающих законченную мысль» [4].

Почти два с половиной века назад М. В. Ломоносов писал: «Блаженство рода человеческого коль много от слова зависит, всяк довольно усмотреть может. Собраться рассеянными народами в общежития, созидать грады, строить храмы и корабли... и другие нужные, союзных дел сил требующие дела производить как бы возможно было, если бы они способа не имели сообщать свои мысли друг другу» [5, с. 91]. Здесь не только отмечается огромная роль языка в жизни людей, но и определяется функция передачи мыслей в процессе совместной деятельности. Еще более колоритно и веско функция общения выражена в другом высказывании: «Слово дано для того человеку, чтобы свои понятия сообщать другому. И так понимает он на свете и сообщает другому идеи вещей и их деяний» [5, с. 406].

Детализированное определение языка находим в работе В. фон Гумбольдта: «...Язык есть нечто постоянное и вместе с тем в каждый данный момент преходящее... Язык есть не продукт деятельности (Ergon), а деятельность (Energeia)... Язык представляет собой постоянно возобновляющуюся работу духа, направленную на то, чтобы сделать артикулируемый звук пригодным для выражения мысли... В подлинном и действительном смысле под языком можно понимать только всю совокупность актов речевой деятельности... Каждый язык заключается в акте его реального порождения» [6]. В. Даль писал: «Но с языком, с человеческим словом, с речью, безнаказанно шутить нельзя; словесная речь человека, это видимая осязаемая связь, союзное звено между телом и духом: без слов нет сознательной мысли...» [7]. В этих высказываниях ученых, разных по времени жиз-

ни, мировоззрению, прослеживаются тождественные тенденции: стремление кратко сформулировать определение языка и указать на основную его функцию.

И далее вновь обнаруживаем настойчивые попытки дать общее определение языка в сжатой форме: «Язык состоит из сл о в, находящихся в различных отношениях между собой. Словами являются звуки речи, имеющие значения, т. е. звуки речи, как знаки познаваемых вещей, познаваемых фактов» [8]. Особенно обращается внимание на субстанцию языка и отношения языковых единиц, на семантику звуков речи, на знаковую функцию языка, связь языковых знаков с предметами, познаваемость вещей, фактов. Интересно определение языка, данное И. А. Бодуэном де Куртене: «Язык есть комплекс членораздельных и знаменательных звуков и созвучий, соединенных в одно целое чутьем известного народа [как комплекса (собрания) чувствующих и бессознательно обобщающих единиц] и подходящих под ту же категорию, под то же видовое понятие на основании общего им всем языка» [9].

Перечисленные определения так или иначе раскрывают наиболее общие и наиболее существенные свойства языка, которые подлежат всестороннему и глубокому исследованию. В то же время неодинаковые основания, на которые опираются разные авторы, свидетельствуют о том, что трудности адекватного определения языка возникают из-за его разноплановости. На эту особенность языка весьма рельефно указал Ф. де Соссюр [10, с. 46—47], по мнению которого *«надо с самого начала встать на почву языка и считать его основанием (погте) для всех прочих проявлений речевой деятельности»* [10, с. 47]. Тем не менее это не позволило ему сформулировать краткое определение языка, и он перечисляет характеристики разных его сторон: язык и «нечто вполне определенное в разнородном множестве фактов речевой деятельности», и «отличный от речи, составляет предмет, доступный самостоятельному изучению», и «система знаков, в которой единственно существенным является соединение смысла и акустического образа», и «ассоциации, скрепленные коллективным согласием и в своей совокупности составляющие язык, суть реальности, локализующиеся в мозгу», и «сокровищница акустических образов» [10, с. 52—53]. В совокупности этих характеристик язык получил в интерпретации Соссюра разностороннее определение, которое было для того времени, как представляется, одним из наиболее адекватных объекту исследования.

Над определением языка продолжается упорная работа и в настоящее время. В. М. Солнцев, посвятивший фактически целую монографию определению языка, отмечает: «Определение языка имеет существенное значение для построения теории языка. В нем фиксируется то или иное онтологическое представление о языке, которое во многом определяет понимание объекта или предмета науки и методы изучения этого объекта» [11, с. 11]. По мнению автора, *«язык как исключительно сложное образование может быть определен с разных точек зрения в зависимости от того, какая сторона или стороны языка выделяются. Определения возможны: а) с точки зрения функции языка (или функций языка): язык — средство общения людей и как таковое есть средство формирования, выражения и сообщения мысли; б) с точки зрения устройства (механизма) языка: язык есть набор некоторых единиц и правил использования этих единиц, т. е. комбинирования единиц; эти единицы „делаются“ говорящими в данный момент; в) с точки зрения существования языка: язык есть результат социального, коллективного навыка „делания“ единиц из звуковой материи»*

путем сопряжения некоторых звуков с некоторым смыслом... Поскольку в едином определении вряд ли возможно дать достаточно полную характеристику языка, мы считаем целесообразным опираться на максимально общее определение, конкретизируя его по мере надобности теми или иными специальными характеристиками» [11, с. 11—12]. Эти характеристики проходят через всю книгу автора, например: «Язык — это совокупность правил, по которым делаются предложения, и множество наделенных смыслом, или значением, единиц, которые используются в соответствии с правилами. Язык есть система, но это система иного рода и иного порядка, чем те системы, которые в речи делаются из элементов языка. Система языка — это своего рода „кладовая“, где сложены (не в прямом смысле, конечно) правила и элементы (или единицы)» [11, с. 66]. Каждая из таких характеристик конкретизирует какую-либо одну сторону языка, но совокупность их может представить адекватную картину языкового феномена; в то же время такое описание разных сторон языка есть процесс познания его сущности.

Приведенные нами определения были выработаны разными учеными за длительный период истории и дают в совокупности наиболее существенные характеристики языка, которые наука о языке оказалась в состоянии обнаружить за пройденный этап ее развития. Поэтому задача в настоящее время состоит в первую очередь в том, чтобы из всего этого ценнейшего теоретического багажа отобрать те компоненты, которые представляют собой наиболее объективное толкование основных категорий языка («вещей», свойств и отношений) и совокупно позволяют выработать определение, адекватное объекту науки. Разумеется, сказанное отнюдь не исключает возможности обнаруживать новые стороны языка или видеть какую-либо сторону языка под новым углом зрения.

Основой наших суждений об объекте лингвистики являются высказывания К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина о языке: «На „духе“ с самого начала лежит проклятие — быть „отягощенным“ материей, которая выступает здесь в виде движущихся слоев воздуха, звуков — словом, в виде языка. Язык так же древен, как и сознание; язык *есть* практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание, и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми» [12, с. 29]; «Язык есть непосредственная действительность мысли» [12, с. 448]; «Язык есть важнейшее средство человеческого общения» [13]; «Всякое слово (речь) уже *обобщает*» [14, с. 246].

Мы понимаем эти высказывания следующим образом: язык — это звуковая речь («выступает здесь в виде движущихся слоев воздуха, звуков»); язык представляет собой форму материально-идеальной репрезентации сознания («язык есть практическое... действительное сознание»); язык возникает в силу общественной необходимости («язык возникает лишь из потребности... общения с другими людьми»); язык и сознание исторически и социально взаимосвязаны («язык так же древен, как и сознание»), и подобно сознанию («сознание [das Bewußtsein] никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием [das bewußte Sein], а бытие людей есть реальный процесс их жизни» [12, с. 25]) язык является отражательной категорией; «важнейшее средство человеческого общения» — главное конститутивное качество языка; речи свойственно выражение обобщенного знания, т. е. глубокого отражения действительности, проникновения в ее сущность [14, с. 252].

Рассмотрим эти положения, так или иначе связанные с темой опреде-

ления языка. Со времени появления «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра в языковедении утвердилось разделение объекта исследования на язык и речь, хотя «противопоставление языка и речи является одной из самых спорных проблем соссюровского наследия» [15]. В русле признания корреляции «язык — речь» одни и те же «рече-языковые» единицы описываются и на уровне языка, и на уровне речи (например, предложение [16], слово [17]).

Большинство лингвистов рассматривает корреляцию «язык — речь» как противопоставление разных явлений. Ср.: «В каких бы формах мы ни представляли двойственность объекта лингвистики, совершенно очевидно, что мы имеем дело с двумя разными явлениями — как бы они ни были связаны и в каких бы отношениях они ни находились» [18].

К иному выводу приходит Т. П. Ломтев: «...Язык и речь — не разные явления, а разные стороны одного явления. Все лингвистические единицы являются единицами языка и речи: одной стороной они обращены к языку, другой — к речи» [19, с. 60]. В этом высказывании, как мы понимаем, наличие корреляции «язык — речь» не оспаривается, но автор полагает, что речь и язык сосуществуют в о д н о м я в л е н и и и, следовательно, все «рече-языковые» единицы есть единицы и речи, и языка.

Возникает, однако, вопрос: где локализуется «искомое» явление — «речь-язык»? Для ответа на него вспомним о материи, которая «выступает здесь в виде движущихся слоев воздуха, звуков — словом, в виде языка», т. е. — «духа» (идеального), «отягощенного» звуками (материальным) и потому находящегося вне мозга. Логично сделать допущение, что это единство идеального и материального и составляет объект лингвистики — «речь-язык», реально существующее (регулярно продуцируемое) явление, которое фактически и исследуется лингвистами всех времен и поколений (вопреки мнению, что исследуется язык, локализованный в головах людей). Иными словами, объективной реальностью являются речевые акты, т. е. «рече-языковая» действительность, которая фактически и используется людьми как важнейшее средство общения. Совокупность речевых актов (за исключением специфических особенностей речи тех или иных индивидуумов (см. [20]) следовало бы при указанном допущении считать языком: естественный язык нельзя обнаружить в качестве средства общения в каком-то определенном месте, в какой-то определенный момент как реально существующий объект — его особенность заключается в том, что он существует в совокупности непрерывно продуцируемых актов речи. Отсюда и сложность его описания и объяснения как в смысле охвата всей этой совокупности, представляющей неисчислимое количество единиц и фигур, так и в смысле установления границ между синхронией и диахронией. Но сложность создания адекватной науки о языке никоим образом не должна, на наш взгляд, влиять на результаты осмысления объективной реальности языка: язык и речь — это, в нашем понимании, р а з н ы е с о с т о я н и я о д н о г о и т о г о ж е я в л е н и я.

Но как в таком случае быть с «языком», который как принято считать, интериоризован в головах его носителей? Вот что, например, пишет В. З. Панфилов: «Языковая единица (типа слова) вне акта коммуникации или внутренней речи локализуется в мозгу как следы в памяти человека в нейронах и нейронных связях головного мозга, в которых кодируется ее идеальная сторона (образ в гносеологическом смысле) и ее материальная сторона (кинестезические раздражения от артикулирующих органов речи), а также слуховой образ звучащего слова» [21, с. 91]. Если это вы-

сказывание истинно, то возникает все-таки сомнение, что «следы» в памяти человека, содержащие «коды» идеальной стороны речи и слухового образа звучащего слова, есть язык — средство общения. Если мы обсуждаем один и тот же объект (т. е. язык как явление, которое в первую очередь призвано служить важнейшим средством человеческого общения), то «следы» в мозгу неправомерно считать т а к и м языком, ибо непосредственно при помощи этих «следов» общаться невозможно. По нашему мнению, «отпечатки» слов, а также «отпечатки» всех других единиц и фигур речи, локализующиеся в мозгу, пребывают там, по-видимому, в каком-то редуцированном, компрессированном виде и служат не средством общения, а базой для систематического (вос)производства речи. Соответственно их следует, видимо, рассматривать именно таковыми и не более: это не язык, а каким-то образом упорядоченное множество усвоенных мыслью редуцированных и компрессированных единиц и фигур речи.

Для экспликации нашего понимания определителей «редуцированный», «компрессированный» отметим, что единичные фигуры речи современных языков способны отображать чрезвычайно большое количество самых разнообразных экстралингвистических отношений. Например, кто-либо может купить книгу, построить дом, посадить дерево и т. д., но все эти сотни и тысячи самых разнообразных действий по отношению к тысячам и сотням тысяч всевозможных предметов могут быть выражены одним языковым способом — грамматическим отношением подлежащего со сказуемым к прямому дополнению: *Мальчик купил книгу, Бригада построила дом, Старик посадил дерево* и т. д. и т. п. [22, с. 261]. Соответственно в мозгу, возможно, интериоризован «след» типа «некто совершил нечто», причем этот «след» как бы извлекается из памяти, «заполняется» также «извлеченными» из памяти «следами» единиц речи и передается в «рекомпрессированном» виде партнеру по общению в звуковой «упаковке». Предвидим возражения: как же сохраняется связь языка с мышлением, если он существует вне сознания его носителей? Может ли язык в такой форме существования выполнять отражательную функцию? Конечно, язык, находясь вне мозга его носителей, «неуловим» во времени и пространстве. Такое его состояние весьма трудно представить и тем более признать объективной реальностью. Значительно проще (и удобнее, и привычнее) придерживаться тезиса, что язык компактно локализован именно в мозгу людей, хотя это представляется весьма произвольным. Ср.: «Формирование мысли — сложная психическая деятельность, за которой ученые еще не научились наблюдать» [23]. Мы полагаем, что «язык» в том виде, каким его принято считать, т. е. состоящим из слов, словосочетаний и предложений, вряд ли существует в мозгу: нет в головах людей слов, например, *стол, писать* со всеми их грамматическими парадигмами типа *стола, столе, столу* и т. д., *писать, пишу, пишешь* и т. д., со всеми их особенностями произношения в той или иной дистрибуции, в той или иной фразовой позиции, со всеми их значениями, атрибутивными, номинативными, пейоративными, экстенциональными и другими признаками, выявленными наукой, а есть редуцированные, компрессированные «следы» этих единиц и «следы» типизированных схем возможных в речи грамматических, фонетических, лексических и других парадигм плюс способность мозга «вызывать» из памяти эти «следы» и образовывать с помощью органов речевого аппарата соответствующие единицы и фигуры речи. Ср.: «Отсутствие у языкового знака свойства непрерывного пространственно-временного существования создает большие удобства для его „хранения“. Мы храним не сам чувственно осязаемый материальный знак, а хра-

ним в своей памяти обобщенный идеальный образ знака, а также умение и навык в нужный момент „сделать“ этот знак. Иначе говоря, мы храним не сами реальные знаки, а их абстрактную форму, знание о них» [24, с. 17].

В то же время огромное количество единиц и фигур речи зафиксировано вообще «в стороне» от мозга носителей языка — в виде «мертвых слепков» письменности [25] или акустических способов звукозаписи. Но именно эти мертвые «слепки», находящиеся вне мозга людей и имеющие иную физическую субстанцию, нежели звуки живой речи, могут служить (и служат) одним из главных предметов изучения лингвистов, исследующих природу языка. Постоянно обогащаясь в условиях интенсивного развития общественной жизни, науки и техники, особенно в течение последнего тысячелетия, естественные языки разрослись до необъятных размеров и имеют такое огромное число единиц и фигур речи, что даже все носители языка в совокупности уже не в состоянии хранить в памяти все «следы». Нередко многие единицы и фигуры речи люди могут «извлечь» из памяти лишь с помощью этих мертвых «слепков», «рисунков» речи, хранящихся в виде письменных памятников (словарей, справочников, научной, деловой, художественной и др. литературы), записей звучащей речи на магнитных лентах, звуковидеозаписей на кинолентах и т. п. Из этих же источников в большом объеме черпает языковой материал даже теоретическое языкознание, лексикография и т. д. [26]. Ср.: «Социальная память — это... процесс фиксации..., систематизации и хранения (вне индивидуальных человеческих голов) теоретически обобщенного коллективного опыта человечества... Хранящиеся в книгах и других средствах социальной памяти сведения тем или иным путем выдаются для „переписывания“ в память индивидов и, следовательно, для использования людьми в их разнообразной деятельности» [27, с. 44—45].

Изложенное снимает, как представляется, вопрос о том, сохраняется ли связь мышления с языком, существующим вне мозга его носителей. Во взаимосвязи с мышлением находится каждый отдельный фрагмент языка — однократные речевые акты, в процессе создания которых взаимодействуют «следы» памяти и работа мысли, ср.: «...язык, мышление и действие развиваются в сложной взаимосвязи... Как указывает Выготский, отношение мысли к слову не вещь, а процесс, непрекращающееся движение от мысли к слову и от слова к мысли» [28]. В итоге это взаимодействие порождает и язык в целом. Анализируя выборку актов речи той или иной длины, лингвисты строят научную абстракцию, более или менее тождественную объекту изучения, описывают в этой абстракции все его субстанции, свойства, отношения и опосредования, в том числе характер взаимодействия мысли с единицами и фигурами речи, и это также подтверждает, что никакого отрыва языка от мышления не происходит: «Нельзя забывать того, что занимаясь „языком“, мы лишь обобщаем частные случаи „речи“, которые только и даны нам в опыте» [29, с. 58]. Соответственно снимается, на наш взгляд, и положение о том, что, не имея связи с мышлением, язык не мог бы выполнять отражательную функцию. Правда, здесь мы имеем дело с энтимемой — наличие отражательной функции языка и его связи с объективным миром тоже требует доказательства. В этом отношении одной из наиболее убедительных является, на наш взгляд, точка зрения, согласно которой «...язык представляет собой не процесс отражения, а процесс формирования и выражения отражательного процесса, каким является мышление» [30].

Надо сказать, что разрабатываемое нами направление уже имело аналог в науке, но не получило должного признания и подверглось критике.

Ср.: «...в последний период в советском языкознании язык и речь начинают трактовать как проявление диалектических категорий соответственно общего и отдельного, так как язык якобы существует лишь в речи и через речь, подобно тому, как „общее существует лишь в отдельном через отдельное“. Однако подобная трактовка не кажется достаточно убедительной. В самом деле, ведь язык как система закодирован в мозгу человека и, следовательно, в этой форме существует вне речи, вне речевых произведений. По-видимому, по той же причине было бы неправильно определять соотношение языка и речи как сущности и явления (эта точка зрения в последнее время также высказывается). Сущность не имеет особого от явления бытия, а язык, как уже говорилось, существует и вне речи. К тому же речь, в отличие от языка, имеет свои особые сущностные характеристики. Достаточно сказать, что конкретное содержание речевых произведений (словосочетания, предложения и др.) не есть механическая сумма значений языковых единиц, используемых для их построения, и это содержание речевых произведений не является принадлежностью языка» (разрядка везде наша.— М. Е.) [31].

Можно согласиться с автором, что язык закодирован в мозгу человека и что в этой форме он существует вне речи, вне речевых произведений. Но является ли закодированная форма языка тем языком, который служит средством общения? В предыдущем изложении мы пытались показать, что такая форма языка — не средство общения, а языковая память, средство, которое совокупно с работой мысли и органов речи создает язык. Иными словами, языковая память по отношению к языку общения — это, так сказать, «средство средства».

Может ли язык, не обладающий речевыми произведениями с немеханической суммой значений своих единиц, быть средством общения? Вряд ли, ибо он должен быть вначале подвергнут трансформации, которая позволила бы сформировать единицы общения, содержащие связное, логически последовательное содержание, которое может быть понятным адресату. В результате мы возвращаемся к мысли, что закодированный в мозгу язык — это языковая память, т. е. способность нервной системы человека к восприятию и длительному хранению компрессированных, типизированных «следов» речевых единиц и фигур и многократному воспроизведению и вводу их в сферу сознания и поведения.

Конечно, в мозгу человека содержится самое главное из того, что необходимо для возникновения и функционирования языка, для его продуцирования и восприятия, то главное, без чего язык вообще не может существовать. Но это главное, все-таки, не сам язык, а те компоненты, из которых язык образуется, компоненты, располагающиеся даже в пределах мозга, возможно, в разных позициях. Так, правое полушарие обладает способностью «...целостно, в комплексе воспринимать предметы и явления, с одновременной и даже мгновенной обработкой многих, если не всех их параметров... Левополушарное мышление... из всех бесчисленных связей между предметами и явлениями... активно выбирает только некоторые, наиболее существенные для данной конкретной задачи» [32]. Эти сведения дают основания полагать, что компоненты речевой потенции, локализованные дискретно в разных участках головного мозга, не могут представлять собой готовой языковой системы: «...система языка с его категориями (т. е. язык), создаваемая на основе бесконечного числа актов речи членов человеческого общества» [33], воспроизводится, изменяется, существует в самом процессе продуцирования этого неисчислимого

множества актов речи; в самом функционировании этих актов заключается непрерывное/прерывное бытие языка.

С вопросом о локализации языка тесно связан вопрос — «где же область значения слова — внутри слова или вне его?» [34, с. 82]. По этому поводу некоторые авторы отмечают: «Идеальная сторона языковых единиц также не может существовать вне мозга человека, продуктом которого она является. . . Проблема понимания в процессе общения возникает именно потому, что слушающий воспринимает не мысль своего собеседника как таковую, а лишь материальную, знаковую сторону языковых единиц, которая вызывает у него мысль, приближающуюся по своему содержанию к мысли говорящего в той степени, в какой у обоих собеседников оказываются общими те языковые значения, которые закреплены у каждого из них за материальной стороной языковых единиц, посредством которых выражается соответствующая мысль» [21, с. 97]. Ср. также: «То, на что указывает знак (в данном случае — значение), должно находиться вне знака. Именно так и обстоит дело в действительности: значение как факт сознания, как функция мозга может „находиться“ только в головах людей. Знак же как материальный предмет всегда находится вне человека. . . Если же включить понимаемое таким образом значение в знак, то следует признать, что знак указывает на самого себя или что одна часть знака указывает на другую, а это абсурдно» [24, с. 19].

Обращается также внимание на то, что «новое понятие получает звуковой комплекс, который в обществе конвенционально закрепляется за этим понятием и приобретает способность возбуждать данное понятие в голове слушающего. Значение здесь выполняет указательную функцию. Оно только соотносит звуковой комплекс с понятием» [22, с. 63]. И далее: «При произношении звукового комплекса в голове слушателя возбуждается понятие, т. е. идеальное» [22, с. 63—64]. «Как бы мы ни анализировали комплекс словесных звуков, мы не обнаружим в нем чего-либо, что можно назвать значением. Значение приобретает предметом или явлением, выступающим в роли знака в связи с его отношением к чему-то, что не является знаком» [22, с. 72].

Нам представляется, что попытки доказать чисто физическую сущность единиц речи или, напротив, абсолютную включенность значения в их состав являются неоправданными крайностями. В момент первичного образования языковой единицы «закрепленность» значения за звуковым комплексом весьма неустойчива, вследствие чего человек вынужден некоторое время мысленно соотносить звуковой комплекс с тем предметом (явлением, событием и т. д.), который этим звуковым комплексом репрезентируется; в этот период звуковой комплекс еще не несет (не содержит) в себе значения и является физическим «предметом», при помощи которого адресант пытается вызвать в мозгу адресата значение, аналогичное значению, возникшему у него самого в голове, ср.: «Устная речь на первоначальном этапе своего формирования, вероятно, выполняла лишь функцию побуждения к действию» [35]. С течением времени звуковой комплекс после сотен и тысяч повторений с целью передачи одного и того же значения становится «носителем» этого значения, ср.: «. . . на последующих этапах в речи дифференцировалось обозначение действия и обозначение предметов» [35], и адресат начинает воспринимать это значение как непосредственно присущее физической единице речи, не обязательно соотнося его с тем предметом (явлением и т. д.), который этим «носителем» (звуковым комплексом) репрезентируется. В этот период звуковой комплекс у ж е н е с е т (содержит) в себе значение, т. е. единицы и фигуры

речи и заключенное в них содержание получают относительно самостоятельное существование. Процесс «закрепления» значения за звуковым комплексом не прекращается и впоследствии, протекает постоянно, хотя и в разной степени интенсивности: в период становления или изменения слова — в большей степени, а в период относительной стабильности — в меньшей.

С целью подтверждения нашей гипотезы обратимся к аналогии. В. И. Ленин отмечает: «Практическая деятельность человека миллиарды раз должна была приводить сознание человека к повторению разных логических фигур, дабы эти фигуры могли получить значение аксиом» [14, с. 172]. Соответственно можно предположить, что и языковые фигуры, повторенные миллиарды раз, могли «слиться» с теми значениями, которые они должны были миллиарды раз передавать в процессе общения. В рамках этой аналогии постулат, согласно которому в комплексе словесных звуков значение обнаружить невозможно, не убеждает, ибо вряд ли следует ставить существование какого-либо «нечто» в зависимость от того, можем ли мы это «нечто» обнаружить. Мы не можем непосредственно органами чувств воспринимать материальные частицы микромира, однако их существование не только предсказано силою мышления, но и доказано экспериментально. А человек, который никогда не видел чего-то, но слышал о нем, понимает слово (словосочетание, предложение и т. д.), обозначающее то, о чем он слышал.

Проведем еще одну аналогию. К. Маркс пишет: «Приравнивая свои различные продукты при обмене один к другому как стоимости, люди приравнивают свои различные виды труда один к другому как человеческий труд. Они не сознают этого, но они это делают. Таким образом, у стоимости не написано на лбу, что она такое. Более того: стоимость превращает каждый продукт труда в общественный иероглиф. Впоследствии люди стараются разгадать смысл этого иероглифа, проникнуть в тайну своего собственного общественного продукта, потому что определение предметов потребления как стоимостей есть общественный продукт людей не в меньшей степени, чем, например, язык» [36, с. 84]. К. Маркс с помощью аналогии показывает, что подобно языку, явлению социальному, определение предметов потребления как стоимостей тоже является общественным продуктом людей. Однако нас в данном случае интересует другая, возможная, по нашему мнению, аналогия: как у стоимости не написано на лбу, что она такое, так и значение единицы речи не имеет сигнальных лампочек, по которым его можно было бы без особых усилий обнаружить. И здесь впоследствии люди пытаются проникнуть в смысл своего собственного общественного продукта — единиц и фигур речи, внутри которых имеются тайны содержания не только современного их состояния, но хранятся также глубоко сокрытыми следы значений, канувших в небытие давних эпох, ср.: *опростоволоситься* «снять с себя головной убор» (ныне — «сделать грубый промах») (ср. [37]).

Таким образом, материальны комплексы звуков речи, не имея никакого отношения к тем предметам и явлениям, которые человек этими комплексами произвольно намеревается называть, со временем становятся материально-идеальными комплексами благодаря активной деятельности сознания, ибо «сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его» [14, с. 194].

Известный советский лингвист А. И. Смирницкий, отметив, что связь между звучанием слова и его значением «в принципе условная, произвольная, не определяемая природой самих звуков и характером значения»

[35, с. 87]¹, приходит тем не менее к выводу, что «... связь между звучанием (звуковым образом) и значением слова является столь тесной и прочной, столь важной для самого существования и полноценного функционирования слова, что ее никак нельзя рассматривать как связь между чем-то, входящим в состав самого слова, и чем-то вне его. Если исключить значение из структуры, из состава слова, то внешней делается (по отношению к слову) и та „вторая“ связь между реальным звучанием слова и звуковым образом слова, которая идет через значение. Между тем без понимания этой „второй“ связи оказывается непонятным и то специфическое, что мы наблюдаем в отношении между реальным звучанием и его психическим отображением — звуковым образом слова. Наконец, принцип условности связи звучания и значения особенно настоятельно требует неразрывного объединения того и другого в самом составе слова» [34, с. 88—89]. В результате анализа тех языковых и неязыковых явлений, которые не входят в состав значения слова, и тех, которые образуют его состав, А. И. Смирницкий сформулировал следующее определение: «... значение слова есть известное отображение предмета, явления или отношения в сознании (или аналогичное по своему характеру психическое образование, конструированное из отображений отдельных элементов действительности), входящее в структуру слова (разрядка наша. — М. Е.) в качестве так называемой внутренней его стороны, по отношению к которой звучание слова выступает как материальная оболочка, необходимая не только для выражения значения и для сообщения его другим людям, но и для его возникновения, формирования, существования и развития» [34, с. 89]. Заключая в себе значения, стабильные, как правило, единицы и фигуры языка, с одной стороны, постоянно подвергаются инновациям благодаря отражению сознанием объективной реальности, «развитию структуры мысли» [38, с. 4—6], работе органов речи, языковой интерференции и др.; с другой стороны, «любые инновации узакониваются только в том случае, если они не противоречат традиции, не нарушают естественноисторического языкового уклада» [39]. Вследствие таких противоречий значения единиц и фигур речи всегда или почти всегда не имеют абсолютного соответствия той информации, которая подлежит передаче, причем это несоответствие возникает не только в голове слушающего, но и (в большей или меньшей степени) в голове говорящего в момент «заполнения» фигур речи вербальной информацией с помощью «лингвокреативного мышления» [22, с. 106—109]. Это «заполнение» никогда или почти никогда не исчерпывает полностью содержания мыслительной информации индивидуума [ср.: «Количественному росту словаря языка сопутствуют качественные сдвиги во всей лексике, а это выражается в увеличении и способности слов ко все более точной передаче мыслей и чувств людей (разрядка наша. — М. Е.), говорящих на этом языке»] [38, с. 131], ибо в результате мыслительной деятельности происходит «слияние» богатого содержания языковой памяти с богатейшим содержанием отраженного «кусочка» объективного мира, и язык, несмотря на феноменальную способность его единиц к обобщению, не в состоянии одновременно вместить весь этот колоссальный информационный арсенал. Кроме того, в момент продуцирования язык становится (уже есть) омертвленной «копией», схемой, слепком той действительности мира, кусочек

¹ Следует уточнить: в данном суждении не отражен тот факт, что тысячи лексем в любом развитом языке имеют форму не конвенциональную, а примарно мотивированную (звукоподражание, идеофоника и др.). В этих случаях содержание и форма переходят друг в друга.

которой он призван репрезентировать. При этом и сама мысль во всем ее богатстве, как известно, тоже неполно и, следовательно, не совсем точно отражает реальный мир («познание есть вечное, бесконечное приближение мышления к объекту» [14, с. 177]) во всем его разнообразии, всей совокупности глубинных связей, отношений, сущностей, явлений в их непрерывном движении (ср.: «Мы не можем представить, выразить, смерить, изобразить движения, не прервав непрерывного, не упростив, угрубив, не разделив, не омертвив живого. Изображение движения мыслью есть всегда огрубление, омертвление,— и не только мыслью, но и ощущением, и не только движения, но и всякого понятия» [14, с. 233]).

Различие между языком и речью было предметом рассмотрения еще в начале XIX в. «Я намереваюсь исследовать функционирование языка в его широчайшем объеме — не просто в его отношении к речи и к ее непосредственному продукту, набору лексических элементов, но и в его отношении к деятельности мышления и чувственного восприятия», — писал В. фон Гумбольдт [6, с. 75]. Многие лингвисты XIX в. специально останавливались на нем — Г. Штейнталь, А. А. Потебня, Ф. Ф. Фортунатов и др. Наиболее четко разделение языка и речи провел Ф. де Соссюр: «Разделяя язык и речь, мы тем самым отделяем: 1) социальное от индивидуального; 2) существенное от побочного и более или менее случайного» [10, с. 52]. «Язык существует в коллективе как совокупность отпечатков, имеющихся у каждого в голове. . . В речи нет ничего коллективного: проявления ее индивидуальны и мгновенны» [10, с. 57]. Но формулы «коллектив ↔ ↔ язык» (нечто социальное и существенное) и «индивидуум ↔ речь» (нечто единичное и побочное) не могли удовлетворить лингвистов последующих поколений. Л. В. Щерба выделил три аспекта языковых явлений: «В дальнейшем я буду называть процессы говорения и понимания „речевой деятельностью“» [29, с. 24]; «. . . на основании всех (в теории) актов говорения и понимания, имевших место в определенную эпоху жизни той или иной общественной группы. . . создавались словари и грамматики языков, которые могли бы называться просто „языками“, но которые мы будем называть „языковыми системами“. . . , оставляя за словом „язык“ его общее значение» [29, с. 25]; «все языковые величины. . . в непосредственном опыте. . . нам вовсе не даны, а могут выводиться нами лишь из процессов говорения и понимания, которые я называю в такой их функции „языковым материалом“» [29, с. 26]. Л. В. Щерба внес весьма важную поправку в понимание социального/индивидуального в языковых явлениях: индивидуальная речевая деятельность обоснована и обусловлена социальными языковым материалом и реальной общественной жизнью носителей данного языка.

Идея о социальности языка и речи еще более определенно высказана Т. П. Ломтевым: «И язык, и речь имеют общественную, социальную природу. Но в акте общения социальная природа языка принимает форму индивидуальной речи. Язык в акте общения не существует иначе, как в форме индивидуального говорения. . . Язык социален по своей природе; индивидуальная форма проявления социальной природы языка свидетельствует, что и индивидуальная форма по своей сущности также социальна. Индивидуальное не противоположно социальному, оно является только формой бытия социального» [19, с. 58]. Точка зрения Т. П. Ломтева представляется правильной, но, к сожалению, она не получила общего признания, и мы вновь находим утверждение, восходящее к воззрениям Ф. де Соссюра: «Речь относится к языку как частное и индивидуальное явление к явлению общему и социальному»

[40]. В этой связи необходимо подчеркнуть, что язык существует для индивида лишь в том случае, если он существует для общества. Социальная природа языка является первичной, индивидуальная форма бытия языка вторична. Язык — практическое сознание — с самого начала возникновения является общественным продуктом и остается таковым, пока существует общество.

Поскольку в рамках корреляции «язык — речь» социальная природа языка не оспаривается, остановимся на соответствующем качестве речи. Речь социальна как средство общения. Дело в том, что речь определяется как «закономерное соединение определенного звучания, производимого органами речи. . . , с определенным смысловым содержанием (значением)» [41, с. 6], а акт речи — «отдельный отрезок речи, имеющий в данных условиях определенную целевую направленность как некоторое законченное целое» [41, с. 6]. При этом «. . . само. . . по себе, вне соединения со значением, никакое звучание, даже если оно и имеет характер речевого звучания. . . , не является речью или каким-либо ее отрезком» [41, с. 6]. Кроме того, значение может восприниматься адресатом лишь в том случае, если оно коррелирует с тождественными по семантике «отпечатками» единиц речи в языковой памяти. Отсюда следует, что в речи индивида, понятной для адресата, нет и не должно быть ничего существенно индивидуального, что противоречило бы исторически сложившимся закономерностям данного языка. Появление существенно индивидуального в малой степени ведет к затруднению понимания, в большей степени — к полному непониманию.

Речь социальна и с точки зрения отражения реальной действительности. «Производство идей, представлений, сознания первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей, в язык реальной жизни. Образование представлений, мышление, духовное общение людей являются здесь еще непосредственным порождением материального отношения людей. То же самое относится к духовному производству, как оно проявляется в языке политики, законов, морали, религии, метафизики и т. д. того или другого народа. Люди являются производителями своих представлений, идей и т. д., — но речь идет о действительных, действующих людях, обусловленных определенным развитием из производительных сил и — соответствующим этому развитию — общением, вплоть до его отдаленнейших форм» [12, с. 24—25]. В сознании человека, связанного с другими людьми определенными социальными отношениями, неизбежно возникают идеи, так или иначе связанные с жизнью и отношениями людей в обществе. Эти идеи должны получать свое выражение в актах речи, ибо «ни мысли, ни язык не образуют сами по себе особого царства», они — «только проявления действительной жизни» [12, с. 449]; ср. также: «Индивидуальное бытие и сознание, взгляды и поступки отдельного человека, разумеется, в конце концов определяются первичными для индивида исторически-конкретными общественным бытием и общественным сознанием» [27, с. 124].

В данной статье весьма сжато, подчас в тезисной форме высказан ряд идей относительно сущности естественного языка. Этого, конечно, недостаточно, чтобы разработать и обосновать оригинальное определение языка. Необходим анализ (в рамках избранной концепции) еще ряда вопросов: конститутивных функций языка, его многоаспектности, глоттогонических процессов, многообразия языков и др.

ЛИТЕРАТУРА

1. Платон. Соч.: В 3-х т. Т. 2. М., 1970. С. 392.
2. Аристотель. Об истолковании // Античные теории языка и стиля. М.—Л., 1936. С. 60.
3. Витрувий. Об архитектуре // Античные теории языка и стиля. М.—Л., 1936. С. 74.
4. Дионисий Фракийец. Предложение, «речь» // Античные теории языка и стиля. М.—Л., 1936. С. 117.
5. Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 7. М.—Л., 1952.
6. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. С. 70.
7. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I. М., 1955. С. XV.
8. Фортунатов Ф. Ф. Сравнительное языковедение. Грамматика (склонение). М., 1886—1887. С. 1.
9. Бодуэн де Куртене И. А. Некоторые общие замечания о языковедении и языке. СПб, 1871. С. 37.
10. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977.
11. Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. 2-е изд. М., 1977.
12. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Соч. 2-е изд. Т. 3.
13. Ленин В. И. О праве наций на самоопределение // Полн. собр. соч. Т. 25. С. 258.
14. Ленин В. И. Философские тетради // Полн. собр. соч. Т. 29.
15. Миркин В. Я. Некоторые вопросы понятия речи в корреляции: язык и речь // ВЯ. 1970. № 1. С. 102.
16. Звегинцев В. А. Язык и лингвистическая теория. М., 1973. С. 242.
17. Литвин Ф. А. Многозначность слова в языке и речи. М., 1984. С. 29.
18. Звегинцев В. А. Предложение и его отношение к языку и речи. М., 1976. С. 41.
19. Ломтев Т. И. Общее и русское языкознание. М., 1976.
20. Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970. С. 89.
21. Панфилов В. З. Философские проблемы языкознания. М., 1977.
22. Серебрянников Б. А. О материалистическом подходе к явлениям языка. М., 1983.
23. Федоров А. И. Причинно-следственные связи в языке // Методологические и философские проблемы языкознания и литературоведения. Новосибирск, 1984. С. 21—22.
24. Солнцев В. М. Языковой знак и его свойства // ВЯ. 1977. № 2.
25. Гельб И. Е. Опыт изучения письма (Основы грамматики). М., 1982.
26. Журавлев В. К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. М., 1982. С. 76—89.
27. Ребрин В. А. Методологические проблемы социалистического общественного сознания. Новосибирск, 1974.
28. Стоунс Э. Психопедагогика. Психологическая теория и практика обучения. М., 1984. С. 109.
29. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
30. Трофимова Р. П. Ф. Энгельс о взаимосвязи языка и сознания // Развитие Ф. Энгельсом проблем философии и современность. М., 1975. С. 136.
31. Панфилов В. З. Марксизм-ленинизм как философская основа языкознания // ВЯ. 1979. № 4. С. 9.
32. Ротенберг В. Мозг. Стратегия полушарий. // Наука и жизнь. 1984. № 6. С. 55.
33. Юдакин А. П. Билингвизм и проблема связи языка и мышления // Теоретические проблемы социальной лингвистики. М., 1981. С. 229.
34. Смирницкий А. И. Значение слова // ВЯ. 1955. № 2.
35. Коллатов В. А. Социальная память и познание. М., 1984. С. 80.
36. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. I. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 84.
37. Панфилов В. З. Карл Маркс и основные проблемы современного языкознания // ВЯ. 1983. № 5. С. 11.
38. Юдакин А. П. Развитие структуры предложения в связи с развитием структуры мысли. М., 1984.
39. Плахов В. Д. Традиции и общество. Опыт философско-социологического исследования. М., 1982. С. 189—190.
40. Общее языкознание / Под ред. Супруна А. Е. Минск, 1983. С. 143.
41. Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка. М., 1957.

ЖУРАВЛЕВ А. П.

СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ СИНТАКСИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
(Синтаксический символизм)

Одним из аспектов семантической переориентации современной лингвистики можно считать разработку идеи о содержательности языковой формы. Под давлением экспериментальных психолингвистических фактов пришлось признать существование фонетического символизма, т. е. содержательности формы на низшем, фонетическом уровне [1, 2]. Снова возник интерес к поискам мотивационных связей в области лексики, где среди разных типов мотивированности обнаруживается и содержательность фонетической формы слова [3]. Видимо, настало время повнимательнее присмотреться с этой точки зрения к синтаксису.

Синтаксический уровень — это уровень не элементов, а отношений, поэтому и синтаксический символизм — это, как нам представляется, содержательность не элементов (как фонетический), а типов отношений между элементами, другими словами, — это содержательность формы синтаксических конструкций. Символическое значение синтаксических конструкций, очевидно, заключается в способности поддерживать, подчеркивать самую общую эмоциональную настроенность предложения или отрывка текста. Наиболее полно и определенно это свойство конструкций должно проявляться, несомненно, в художественно организованной речи и особенно в поэтических произведениях.

Приводя иллюстрации функционирования синтаксической символики в художественных текстах, мы отнюдь не настаиваем на строгой доказательности и объективности такого способа описания этого сложного явления, требующего, на наш взгляд, фундаментального и систематического исследования. И все же удивительно точное употребление художниками слова различных по устройству синтаксических конструкций именно в тех местах, где их символическое значение соответствует общему эмоциональному тону и обобщенному смыслу текстов, представляется нам по крайней мере симптоматичным.

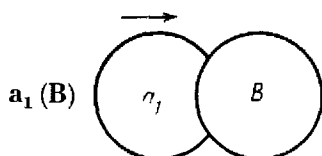
Для анализа мы выбрали сложные синтаксические конструкции (в основном сложноподчиненные), поскольку их символика просматривается особенно наглядно. Причем нас интересуют лишь логико-структурные отношения между частями сложных конструкций, и наши синтаксические модели будут отражать только эту их сторону. В качестве индикатора принадлежности предложения к определенному типу моделей воспользуемся распознающими трансформациями. Введем условные обозначения **A** и **B** для двух потенциально автосемантических частей сложного предложения и соответственно a_1a_2 и b_1b_2 для составляющих эти части синсемантических элементов. Все элементы, служащие для объединения частей в составе сложной конструкции, вне зависимости от того, выполняют они какие-нибудь другие функции в предложении или нет, назовем скрепами.

По типу логико-структурных отношений между частями все сложные предложения можно разбить на три группы. I. А т р и б у т и в н ы е предложения характеризуются тем, что по крайней мере одна из частей в них синсемантична и потому не может функционировать самостоятельно, а представляет собой как бы атрибут другой, автосемантической части. Такой характер отношений проявляется в невозможности подвергнуть атрибутивные предложения операции сепаратизации частей. Индикатором принадлежности предложения к этой группе служит трансформация синтаксического упрощения, когда две части сложного предложения сливаются в одно простое; II. В к о м п а р а т и в н ы х предложениях сравниваются события, описанные в каждой из частей. Критерием отнесения предложения к этому типу служит трансформация ротации, при которой части сложного предложения меняются местами относительно остающихся без изменения скреп; III. Между частями к а у з а т и в н ы х предложений устанавливаются причинно-следственные отношения. Они проявляются в трансформации импликации, заключающейся в приведении предложений к форме *Если... то*. Рассмотрим каждую из этих групп.

I. А т р и б у т и в н ы е п р е д л о ж е н и я .

Различаются три типа атрибутивных предложений в зависимости от того, какие части и как соединяются в их составе.

I.1. А т р и б у т и в н ы е с д о п о л н е н и е м о д н о й и з ч а с т е й . Логическую модель таких предложений и графическую ее интерпретацию можно изобразить следующим образом (стрелки на рисунках показывают направление движения частей при трансформации):



Одна из частей (а) синсемантична и является атрибутом другой, потенциально автосемантической части (В). При трансформации упрощения синтаксической структуры происходит за счет того, что синсемантичная часть входит в автосемантическую в качестве вводной:

$$T: a_1(B) \leftrightarrow B$$

Например: *Известно, что слоны в диковинку у нас* \leftrightarrow *Слоны, как известно, в диковинку у нас*. Поскольку основная часть таких предложений может существовать как самостоятельное предложение, тогда как другая существует лишь в связи с первой, налицо односторонняя зависимость а от В, которая проявляется и в трансформации: простое предложение образуется лишь за счет автосемантической части.

Связь частей однонаправленна, но тесна, и такое строение модели способствует выражению сильных эмоций односторонней направленности. Эта содержательность синтаксической конструкции тонко используется талантливыми художниками слова как дополнительное изобразительно-выразительное средство. Так, в письме Онегина к Татьяне из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» большинство сложных конструкций именно такого типа:

Я думал: вольность и покой
Замена счастью.

...

Боюсь: в мольбе моей смиренной
Увидит ваш суровый взор...

...
Когда б вы знали, как ужасно
Томится жаждою любви...

Большая часть текста письма состоит из предложений, составленных именно по этой модели. Характерно, что эмоционально наиболее напряженные строки письма (их отмечал В. Маяковский как блестящий образец пушкинской лирики) оформлены с двукратным использованием рассматриваемой модели — в начале предложения и в конце его:

Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...

Показательно, что в приведенной цитате встречается еще одна конструкция с наиболее ярко выраженной дисгармонией частей (А, но В), а также предложение, которое хотя и имеет гармоничную конструкцию, но в данном случае скорее способствует выражению желания гармонии, чем констатирует ее (чтобы было А, нужно В).

В письме Татьяны к Онегину также почти все сложные конструкции негармоничны и среди них есть атрибутивные с дополнением одной из частей:

Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда...
...
Я знаю, ты мне послан богом,
До гроба ты хранитель мой...
...
Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает...

Интересно, что в первых же строчках письма употреблено простое предложение, являющееся как бы результатом трансформации упрощения все той же модели атрибутивных предложений с дополнением одной из частей:

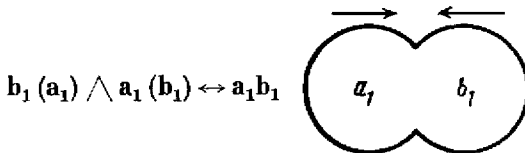
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.

Одним из наиболее ярких художественных описаний сильного односторонне направленного чувства — неразделенной любви — можно считать «Гранатовый браслет» А. И. Куприна, а внутри этого произведения — предсмертное письмо Желткова. Синтаксическая организация текста этого письма от начала и до конца построена в основном на атрибутивных предложениях с дополнением одной из частей. Именно по этой модели построены три первых предложения письма: «Я не виноват, Вера Николаевна, что богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к Вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничего. . . Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в Вашу жизнь». Дальше в тексте письма предложения этой модели встречаются неоднократно, влетаясь ведущей нотой в общую сложную синтаксическую символику текста.

Символично-синтаксический тон «Письма к женщине» С. А. Есенина также задается предложениями рассматриваемой модели: таким предложением начинается произведение, и четыре первых строфы целиком построены на предложениях этого типа.

Может показаться, что рассматриваемые синтаксические конструкции характерны для эпистолярного стиля. Но это не совсем так: в письмах Пушкина, Куприна, Есенина предложения этой модели действительно встречаются, но не настолько концентрированно, как в приведенных цитатах, и самое главное, безотносительно к общему содержанию текста.

1.2. А т р и б у т и в н ы е п р е д л о ж е н и я с о б ъ е д и н е н и е м ч а с т е й. Обе части синсемантически и каждая является атрибутом другой. Взаимозависимость частей проявляется в трансформации упрощения путем объединения частей, причем в образовании ядра простого предложения принимают участие обе части исходного сложного. Модель, ее трансформация и графическое изображение:



Кто весел, тот смеется ↔ Веселый смеется.

Конструкция гармонична, поскольку обе части в ее составе равноправны. Спаянность частей наиболее сильна, т. к. они не могут существовать одна без другой. Их равноправие проявляется в том, что при трансформации обе части как бы сливаются в одно целое. Символика конструкций — стремление к гармонии слияния. Они часто встречаются в художественных текстах, изображающих сильные гармоничные эмоции, связанные со страстным взаимным стремлением к любви, радости, счастью.

Наглядно проявляется содержательность этих конструкций в «Алых парусах» А. С. Грина. В тексте этого произведения интересующая нас конструкция встречается редко — примерно один-два раза на пятьдесят сложных конструкций (т. е. около 3%). Но во фрагментах, описывающих любовь Грэй и его финальную встречу с Ассоль, число атрибутивных конструкций с объединением частей резко возрастает. Так, в VII главе начальный монолог Грэй, в котором он говорит Пантену о своей любви к Ассоль, содержит в общей сложности около 40 сложных конструкций и из них 5 — атрибутивных с объединением частей (более 12%): «Я делаю то, что существует, как старинное представление о прекрасно-песбыточном, и что, по существу, так же быточно и возможно, как загородная прогулка; Он сжато передал моряку то, о чем мы хорошо знаем. . . ; Я прихожу к той, которая ждет и может ждать только меня. . .».

В наибольшей степени встречаемость рассматриваемых конструкций возрастает в заключительном фрагменте романа, в сцене встречи Грэй с Ассоль, где на 35 сложных конструкций обнаруживается 6 атрибутивных с объединением частей, т. е. более 17%: «. . . Среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала. . . От волнения, движения облаков и волн, блеска воды и дали девушка почти не могла уже различать, что движется: она, корабль или лодка. . . Много на свете слов на разных языках и разных наречиях, но всеми ими, даже и отдаленн, не передашь того, что сказали они в день этот друг другу». Любопытно, что заканчивается эта сцена конструкцией того же типа: «И пусть счастлива будет та, которую „лучшим грузом“ я назову, лучшим призом „Секрета“!».

Атрибутивные конструкции с объединением частей — малочастотны, поэтому их нагнетение там, где их символика соответствует общему эмо-

ционально-смысловому содержанию текста, особенно значимо. Например, в известном монологе лермонтовского Демона:

Я тот, которому внимала
Ты в полувочной тишине,
Чья мысль душе твоей шептала,
Чью грусть ты смутно отгадала,
Чей образ видела во сне.
Я тот, чей взор надежду губит;
Я тот, кого никто не любит...

Высока встречаемость этих конструкций в поэзии В. С. Высоцкого, где они чаще всего символизируют стремление к единению и общечеловеческой любви:

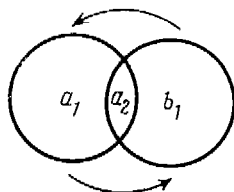
День-деньской я с тобой, за тобой —
Будто только одна забота,
Будто выследил главное что-то —
То, что снимет тоску, как рукой.

Ср. также:

Только чувству, словно кораблю,
Долго оставаться на плаву,
Прежде чем узнать, что «я люблю» —
То же, что «дышу» или «живу»!

1.3. А т р и б у т и в н ы е с п е р е с е ч е н и е м ч а с т е й .

$$a_1(a_2) \wedge b_1(a_2) \leftrightarrow b_1(a_2) \wedge a_1(a_2)$$



У калитки стоял мальчик, который сразу меня узнал.

В предложениях этого типа одна из частей обязательно автосемантическая, а вторая может быть и синсемантической, и автосемантической. Характерной особенностью является то, что в составе одной из частей существует элемент (в нашем примере *мальчик*), обладающий признаком *a* (*он стоял у калитки*) и признаком *b* (*он сразу меня узнал*). Части предложения как бы входят одна в другую, пересекаются, имея общую часть пересечения. Возможна частичная ротация частей вокруг этого общего элемента и скрепы: *Меня сразу узнал мальчик, который стоял у калитки*.

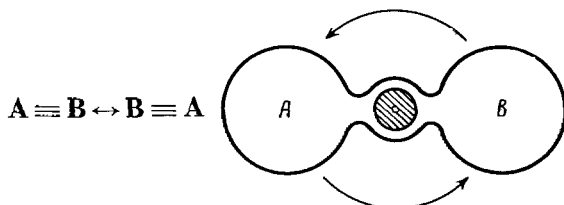
В этих конструкциях наблюдается ослабление тесной связи частей и намечается тенденция к их обособлению. Но разделение еще не произошло полностью — часть предложений этого типа допускает даже преобразование в простое, причем характерно, что ядро простого предложения образуется за счет одной из частей: *У калитки стоял мальчик, сразу узнавший меня*. Таким образом, с этой точки зрения конструкция представляется негармоничной. Однако, с другой стороны, элементы конструкции уравновешены относительно общей части пересечения (это доказывается возможностью их взаимозамены), что и свидетельствует о гармоничности конструкции.

В связи с таким двойственным характером строения конструкции ее символику выявить сложнее, чем двух предыдущих. Для этого нужны специальные целенаправленные статистические исследования разнообразных художественных текстов. Во всяком случае, можно ожидать, что

содержательность ее формы будет более широкой и менее яркой и определенной.

II. Группа компаративных конструкций также включает три типа.

II.1. Компаративные симметричные. При сравнении событий, описываемых частями симметричных предложений, устанавливается сходство этих событий в том аспекте, который обозначается семантикой скреп, что и проявляется в трансформации ротации частей вокруг скрепы.



Я пришел, когда все уже собрались расходиться ↔ Все уже собрались расходиться, когда я пришел; Там, где раньше был пустырь, теперь выросли многоэтажные дома ↔ Там, где теперь выросли многоэтажные дома, раньше был пустырь; Он поступил так, как на его месте поступил бы каждый ↔ На его месте каждый поступил бы так, как поступил он.

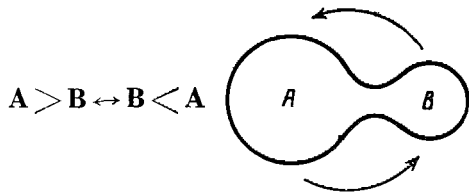
Конструкции этого типа следует отнести к гармоничным ввиду функционального равноправия их частей. Но в отличие от символики атрибутивных с объединением частей это гармония равновесия. Такие конструкции часто встречаются в описаниях природы, ими подчеркиваются также чувства светлого любования, восхищения, разделенной любви.

Красноречивая иллюстрация — первое стихотворение цикла «Кармен» А. А. Блока, которое все построено на компаративных симметричных конструкциях:

Как океан меняет цвет,
Когда в нагроможденной туче
Вдруг полыхнет мигнувший свет,—
Так сердце под грозой певучей
Меняет строй, боясь вздохнуть,
И кровь бросается в ланиты,
И слезы счастья душат грудь
Перед явленьем Карменситы.

Весь синтаксис стихотворения А. С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье» — это гармоничные конструкции, и основное место среди них занимают компаративные симметричные (в несколько редуцированной форме сравнительных оборотов). Только компаративные симметричные конструкции употребил А. С. Пушкин и в стихотворении «Редеет облаков летучая гряда». У А. И. Куприна в описании любви Соломона и Суламифи среди всех типов сложных конструкций явно доминируют компаративные симметричные.

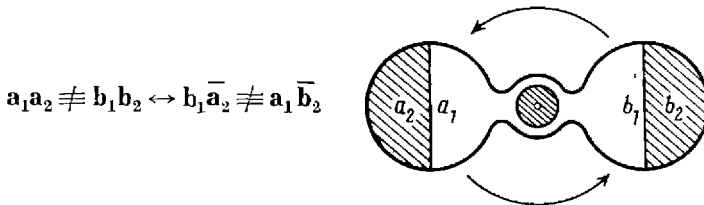
II.2. В компаративных антисимметричных предложениях события А и В противопоставляются по признаку, обозначенному скрепой. Эти предложения допускают трансформацию антонимизации, когда одновременно с ротацией частей происходит замена скрепы на антонимичную.



Лучше умереть стоя, чем жить на коленях ↔ Жить на коленях хуже, чем умереть стоя.

Конструкция негармонична, поскольку ее части не уравновешены, хотя дисгармония выражена слабо. Отсюда символическое значение, уместное при описании негармоничных отрицательных эмоций умеренного напряжения. Предложения этого типа редко встречаются в художественных произведениях и в основном не создают самостоятельного рисунка синтаксической содержательности, добавляя к общей картине лишь дополнительные оттенки.

III.3. Компаративные противительные. В результате сравнения не устанавливается ни сходства, ни противопоставления, а лишь констатируется различие событий в каком-то отношении. О принадлежности предложений к этому типу свидетельствует трансформация частичной антонимизации с частичной ротацией, при которой сравниваемые элементы частей взаимозаменяются, а оставшиеся на месте элементы берутся с отрицанием:



Фрукты растут на деревьях, а ягоды на кустах ↔ Ягоды растут не на деревьях, а фрукты не на кустах.

Символическое значение выражается не особенно четко, но все же эта конструкция представляется в какой-то мере негармоничной, т. к. ею выражается различие элементов частей А и В. Скорее всего, компаративные противительные могут усиливать символическое значение других конструкций с более явно выраженной дисгармонией частей, как это наблюдается, например, в стихотворении С. А. Есенина «Отговорила роща золотая. . .»

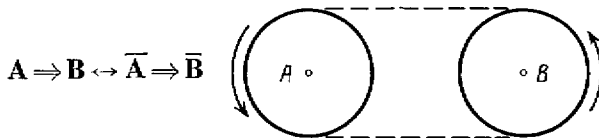
Стою одна среди равнины голой,
 А журавлей относит ветер в даль,
 Я полон дум о юности веселой,
 Но ничто в прошедшем мне не жаль.
 Не жаль мне лет, растрченных напрасно,
 Не жаль души сиреневую цветь.
 В саду юрит костер рябины красной,
 Но никою не может он согреть.

Компаративная противительная конструкция употреблена здесь вместе с двумя наиболее дисгармоничными каузативными алогичными конструкциями (о них см. III.3.). Минорный эмоциональный тон в приведенных строках усиливается постепенно, и соответственно этому расположены

негармоничные конструкции — сначала со слабо выраженной, а потом с резкой дисгармонией частей.

III. Группа каузативных предложений.

III.1. Каузативные следования. Событие В является следствием события А. Предложения этой модели могут быть подвергнуты трансформации импликации:



Если не будет дождя, то мы пойдем гулять ↔ Если будет дождь, то мы не пойдем гулять; Я рассказал вам все, чтобы вы знали, как вам поступать ↔ ↔ Если бы я не рассказал вам все, вы бы не знали, как вам поступать; Отряду пришлось возвратиться, потому что запасы продовольствия подошли к концу ↔ Если бы запасы продовольствия не подошли к концу, отряду не пришлось бы возвращаться.

С изменением А изменяется и В. Отсюда гармония конструкции. Можно сказать что такие конструкции способствуют выражению гармоничных эмоций рационального плана. Это конструкции «сознанного чувства».

Прекрасный пример использования символики конструкции — стихотворение М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива...». Это произведение о гармоничном слиянии души человека с природой все построено на одном предложении, имеющем модель $A \Rightarrow B$: когда возникает ряд определенных условий, как следствие приходит просветленное постижение счастья, смысла бытия:

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;

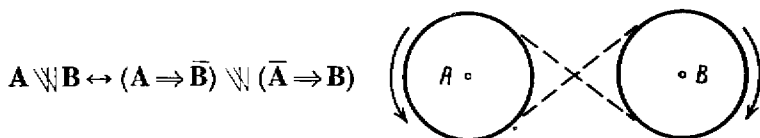
Когда, росой обрызганный душистой,
Румяным вечером или утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;

Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он,—

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,—
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога...

III.2. Каузативные разделительные. Реализуется или А, или В.

Определяющей служит трансформация дизъюнкции.



Летом мы отправимся путешествовать на байдарке или пойдём в горы ↔ Если летом мы не отправимся путешествовать на байдарках, то пойдём в горы; То ветер воет в трубе, то дождь стучит в окна ↔ Если не ветер воет в трубе, то дождь стучит в окна; Нужно выехать пораньше, иначе можно опоздать на поезд ↔ Если не выехать пораньше, то можно опоздать на поезд.

Конструкция с ярко выраженным дисгармоничным строением: части **А** и **В** несовместимы, т. к. описанные в них события не могут происходить одновременно. Их не удастся привести в соответствие — изменение **А** вызывает прямо противоположное изменение **В**. Символика конструкций усиливает негармоничные, отрицательные эмоции — смятение, печаль, уныние. В творчестве многих писателей и поэтов можно обнаружить большое число иллюстраций использования такой символики этих конструкций в качестве дополнительного изобразительно-выразительного средства. У А. С. Пушкина каузативные разделительные конструкции подчеркивают печальное настроение в стихотворении «Зимний вечер»:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К яму в окошко застучит.

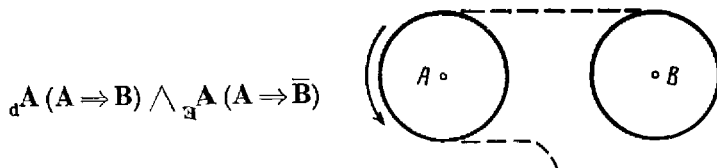
...

Или бури завываюнем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?

В предсмертной элегии Владимира Ленского все сложные синтаксические конструкции с определённо выраженными логико-семантическими взаимоотношениями частей негармоничны. Среди них употреблена и каузативная разделительная:

Паду ли я, стрелой пронзённый,
Иль мимо пролетит она...

III.3. Предложения типа *Хотя шел дождь, мы пошли гулять* можно назвать каузативными алогичными. Здесь констатируется нарушение обычных причинно-следственных отношений, что изображается следующей схематической записью и графической иллюстрацией:



Для большинства **А** из **А** следует **В**, но существуют и такие случаи, когда из **А** следует \bar{B} . Применительно к нашему примеру: *В большинстве случаев, когда идет дождь, гулять не ходят, но в этот раз шел дождь, но мы пошли гулять.* Предложения этой модели весьма своеобразны и не поддаются трансформации. Единственным способом проверки на принадлежность предложения к данной конструкции может служить рас-

пифровка схематической записи логических отношений, подобная той, которая проделана выше.

Конструкция резко дисгармонична, поэтому ее символика способствует выражению глубоких негармоничных переживаний, возникающих в трагических обстоятельствах. Не составляет труда обнаружить в художественных текстах примеры функционирования символики этой конструкции — они многочисленны. Так, весь синтаксис поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри» пронизан конструкциями А, но В, и особенно заметно возрастает их встречаемость в наиболее трагических сценах, например, таких, как схватка с барсом:

И первый бешеный скачок
Мне страшной смертью грозил...
Но я его предупредил.

...

Он застонал, как человек.
И опрокинулся. Но вновь,
Хотя лила из раны кровь
Густой, широкою волной,
Бой закипел, смертельный бой!

Вообще в синтаксисе произведений М. Ю. Лермонтова эти конструкции довольно частотны и их символика дисгармонии используется весьма разнообразно:

Я не люблю тебя; страстей
И мук умчался прежний сон;
Но образ твой в душе моей
Все жив, хотя бессилен он...

Тема смерти, развиваемая А. С. Пушкиным в стихотворении «Брожу ли я вдоль улиц шумных», сопровождается синтаксическим оформлением, состоящим в основном из двух типов конструкций: сначала это многочисленные дисгармоничные конструкции А или В, а затем резко дисгармоничная каузативная алогичная:

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать

Отметим, что сцена убийства Владимира Ленского на дуэли тоже оформлена конструкцией с такой символикой;

И Ленский, жмуря левый глаз,
Стал также целить — но как раз
Онегин выстрелил...

Перечисленные модели отражают основные типы логико-структурных отношений между частями сложных синтаксических конструкций. При более детальном рассмотрении сложных предложений между выделенными типами моделей можно обнаружить и переходные случаи с соответственно более широкой, «переходной» содержательностью синтаксической формы.

Как можно заметить, выделенные нами типы сложных конструкций расположены в определенном порядке — от наиболее тесной до наиболее слабой логико-структурной связи их частей. Если тип I.1 — это еще почти простая конструкция, еще только начальный этап формирования сложной, и связь частей еще очень тесна, то в типе III.3 связь между частями как бы сломана, нарушена, и конструкция близка к распаду. Чем ближе к началу или к концу нашего перечня конструкций, тем определеннее

специфика их синтаксического устройства и тем ярче выражено их символическое значение. Поэтому наиболее ярка символика атрибутивных и каузативных конструкций, тогда как компаративные конструкции с этой точки зрения в общем менее выразительны. В каждом из трех групп есть конструкции гармоничного (I.2; II.1; III.1) и дисгармоничного строения (I.1; II.2; III.2; III.3) и соответствующей символики, есть также модели с более яркой (I.1; I.2; II.1; III.1; III.2; III.3) и менее яркой (I.3; II.2; II.3) символикой. Такой арсенал синтактико-символических средств представляет художникам слова широкие возможности для выборочного или комплексного использования символического потенциала синтаксиса и создания достаточно богатой содержательности синтаксической формы текста.

Так, символично-синтаксический фон стихотворения А. С. Пушкина «Я вас любил...» создается чередованием гармоничных и дисгармоничных конструкций. В первой строфе сначала употреблена алогичная каузативная конструкция, поддерживающая экспрессивно напряженное печальное чувство:

Я вас любил; любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит...

Однако эта конструкция сейчас же уравнивается каузативной следования — чувство замолкает перед доводами разума:

Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.

Хотя в этой части предложения логико-структурные отношения выражены нечетко из-за эллипсиса (отсутствуют скрепы), но все же причинно-следственные отношения здесь просматриваются.

Далее следует лишь намек на дисгармоничную каузативную раздельную конструкцию. Намек, потому что употреблено не сложное предложение, а простое с однородными членами, которое, однако, может рассматриваться как свернутое сложное:

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим.

Символический оттенок уместен, поскольку в этих строчках — всплеск негармоничного чувства, вызванный воспоминаниями о неразделенной любви.

Но завершается стихотворение четко выраженной конструкцией покойной гармонии — компаративной симметричной:

Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

*

Проведенные наблюдения, как нам представляется, дают основание полагать, что существует особая содержательность языковой формы и на синтаксическом уровне — синтаксический символизм. Как и содержательность формы на других уровнях, синтсимволизм четко не осознается носителями языка и носит подсознательный характер. Этот аспект семантики не играет самостоятельной роли в языке, он несет лишь дополнительную, в основном эмоционально окрашенную информацию, но его изучение расширит представление о синтаксическом и семантическом устройстве языка, о стилистических и художественно-изобразительных язы-

ковых средствах. Возможно, предложенные нами предварительные заметки будут способствовать привлечению внимания к этому совершенно не изученному семантическому явлению.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Левицкий В. В.* Семантика и фонетика. Черновцы, 1973.
2. *Ворокин С. В.* Основы фоносемантики. Л., 1984.
3. *Блинова О. И.* Явление мотивации. Омск, 1984.

КНЯК Т. Р.

О «ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЕ» ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

1. К числу языковых категорий, содержание которых до сих пор является предметом споров в лингвистике, относится понятие «внутренней формы» слова. Между тем различные концепции «внутренней формы» выдвигались разными научными направлениями еще в древние времена. Нельзя в этой связи не упомянуть школы Конфуция, легистов и философов даосского направления, представителей древнеиндийской грамматической школы во главе с Бхартрихари [1], философов древней Греции и Рима, в первую очередь Платона, утверждавшего, что слово, помимо значения и своей звуковой формы, обладает еще «идеей», образом [2]. Аналогичные проблемы номинации решали также многие ученые Европы эпохи Возрождения, например, немец Николай Кузанский, испанец Франческо Санчес и др. Результатом таких поисков явилась разработка аналитического (Шоттелиус) и синтетического (Лейбниц) подходов к определению внутренней формы языковых единиц [3].

На основе всех этих исследований появились фундаментальные работы о внутренней форме, написанные Гумбольдтом, Паулем, Я. Гриммом, Потемной и другими крупными лингвистами. Особенного внимания заслуживают взгляды В. Гумбольдта, который, как принято считать, впервые в лингвистике создал довольно стройную концепцию внутренней формы. Здесь следует, однако, сделать существенное уточнение: различая внешнюю и внутреннюю формы, В. Гумбольдт имеет в виду соответственно звуковую и внутреннюю формы не слова, а **я з ы к а в ц е л о м**. С другой стороны, такое понимание внутренней формы несколько не отрицает ее наличия в отдельных фрагментах языка, выражениях, словосочетаниях, словах. Такой же вывод напрашивается из самой теории В. Гумбольдта, различающего не только внутреннюю форму языка в целом, которая раскрывает национальное своеобразие, но и внутреннюю форму языка как индивидуальную особенность, реализуемую в речи. Более того, В. Гумбольдт считает, что своеобразие внутренней формы заключено в способе обозначения понятий и требует согласованности между элементами внутренней и звуковой формы языка [4].

Лингвистическая категория, рассматриваемая нами здесь как «внутренняя форма слова», явилась предметом пристального внимания в советской лингвистике. Особенно перспективен, на наш взгляд, подход к внутренней форме как связующему звену между ономаσιологическими и семасиологическими характеристиками лексической единицы. Так, В. Г. Гак справедливо утверждает, что «внутренняя форма — это образ, который лег в основу наименования» [5]. Он подчеркивает диалектическую взаимосвязь субъективного и объективного в акте номинации, поскольку при выделении признака, который кладется в основу наименования объекта, большую роль играет субъективное отношение именуемого объекта к именуемому. Поэтому наименование является в миниатюре

субъективным образом объективного мира [6]. В связи с этим выделяемый образ, согласно В. В. Виноградову, может уясниться только на фоне той материальной и духовной культуры, той системы языка, в контексте которой возникло или преобразовалось данное слово или сочетание слов [7].

Исходя из подобных рассуждений, можно также утверждать, что внутренняя форма языка не является перасчленимой. Составляя общенациональную и вместе с тем индивидуальную специфику языкового «прочтения» мира и манифестируясь в языке посредством различных лексических единиц, внутренняя форма языка должна состоять из отдельных «строительных блоков», сложных или элементарных конструкций, «кирпичиков», элементов. Начало же такой условной иерархии образует внутренняя форма простого слова как отдельный цельноформенный мыслительный образ [5].

2. Многие лингвисты, однако, часто отказываются признать лингвистический статус внутренней формы. Недооценка категориальных свойств внутренней формы привела к нагромождению в современном лингвистическом языке различных терминов и понятий, претендующих на роль «более подходящих» аналогов внутренней формы или характеристику ее отдельных аспектов (ср.: «буквальное значение», «этимологическая структура», «деривационное значение», «словообразовательное значение», «мотивация», «мотивировочный признак» и т. д.). На недостаточную разработанность теории внутренней формы повлияла также особая сложность ее семантической природы, ее знаковых характеристик. Действительно, признание статуса внутренней формы вносит определенные коррективы в интерпретацию языкового знака, составной частью которого она является. Не останавливаясь в настоящей работе на семиотических особенностях рассматриваемой категории, отметим, что многие лингвисты подчеркивают факт существования в слове двух форм — внешней (звуковой) и внутренней, выступающей как образ образа, представление, «символ, который является связующим звеном между звуковым составом слова и его значением» [8—14]. Все они указывают на необходимость исследования именно внутренней формы, являющейся, в особенности на уровне производных единиц, своеобразной семантической «меткой» лексического значения в языке, т. е. связанной с интенциональными характеристиками понятия.

3. Особого внимания заслуживает проблема разграничения понятий внутренней формы и этимологии. О внутренней форме слова А. Потехин говорит следующее: «В слове мы различаем: внешнюю форму, т. е. членораздельный звук, содержание, объективируемое посредством звука, и внутреннюю форму, или ближайшее этимологическое значение слова, тот способ, каким выражается содержание» [15, с. 134]. Таким образом, подразумевая под внутренней формой «ближайшее этимологическое значение» (разрядка наша. — К. Т.). А. Потехин имел в виду в первую очередь способ образования имени при его синхроническом рассмотрении, а не обязательный учет всех его этимологических особенностей.

В современной лингвистике, как известно, нет единого взгляда на проблему взаимоотношений внутренней формы и этимологии лексических единиц. Более логично, думается, считать, что между этими понятиями не существует непосредственной взаимосвязи. При этом мы не отрицаем, что на определенном уровне внутренняя форма может иметь своей предпосылкой раскрытие этимологического значения соответствующих еди-

ниц, особенно с целью обоснованного подтверждения ее существования (это характерно в первую очередь для непроединных единиц типа *стол*). Главное же различие между внутренней формой и этимологией состоит в том, что последняя рассматривается преимущественно гипостазированно, безотносительно к синхронному состоянию лексического значения, в то время как внутренняя форма, имманентно присущая каждому слову, но всегда имеет для носителя языка скрытый характер, несмотря на возможное субъективирование ее оттенков, особенно в случае восприятия или интерпретирования а priori. В терминах математики можно говорить о том, что внутренняя форма откладывается и рассматривается на горизонтальной оси, в то время как этимология — на вертикальной оси, и чем больше развивается внутренняя форма лексической единицы, тем более отдаленными становятся ее первоначальная форма и значение, обнаруживаемые этимологией. Поэтому можно также постулировать существование отдельно этимологической внутренней формы слова, обнаруживаемой посредством специальных исследований на определенном этапе развития языка ad hoc, и узуальной внутренней формы лексической единицы, функционирующей в языке в настоящее время. Приведем несколько характерных примеров. Существенно отличаются узуальная и этимологическая внутренние формы следующих лексических единиц: *перо* (птицы и авторучки), *талант* (от меры веса), *средние века* (в разные эпохи данное понятие относится к различным этапам исторического развития), *красный уголок* (сегодня не только в значении «красивый», здесь имеет место и политическая семантика), *звездные войны* (от американского кинофильма под таким названием), *романтическая литература* (сегодня без окраски «фантастическая литература»), *народная демократия* (на данном этапе не воспринимается как тавтология), *драматический театр* (слово *драма* приобрело общее значение «пьеса») и т. п. Такая дифференциация внутренней формы особенно характерна для слов-интернационализмов (например, *кибернетика*, *филология*, *атом*, *цивилизация*, *автобус*). К узуальной внутренней форме можно отнести и явление народной этимологии (*зверобой*, *буреметь*, *мазилы*, *куролесить*, *мелкоскоп* и т. п.). Таким образом, подчеркивая второстепенное значение этимологии для раскрытия современного состояния внутренней формы, можно согласиться также с тезисом о том, что и по объекту изучения, и по проблематике учение о внутренней форме шире этимологии [16].

4. Внутренняя форма слова, связанная с этимологией, обладает онтогенетическими свойствами. Истоками ее возникновения могли стать первые средства коммуникации, основанные на «превращениях врожденных двигательных координаций в жесты, мимику, звуковые сигналы, которые приобретают совершенно новое значение и начинают благодаря этому независимое существование, характеризующееся не меньшей стабильностью и все большей дифференцированностью» [17]. Будучи первоначально лишь сопутствующими феноменами, своеобразными звукопантомимами, звуковые коммуникативные сигналы, благодаря своей рациональности, универсальности и дифференцирующим способностям, становятся важнейшим средством коммуникации, выделяются в качестве конвенциональных сигналов, прообразов языковых знаков. При этом следует выделить то обстоятельство, что условная система сигналов могла возникнуть лишь в сплоченных группах представителей органического мира, когда коммуникация становится важнейшей потребностью.

В дальнейшем, по мере семантического наполнения, сигналы превра-

щаются в знаки, наделенные звуковой формой и определенным содержанием. В виде такого содержания на первых порах выступает умственный образ — внутренняя форма как основа будущего лексического значения. А. М. Коршунов справедливо подчеркивал: «Сформировавшись под влиянием мыслительных программ, модельные представления, образы-цели, образы-планы, символические образы включаются в дальнейшее развитие научного познания, интерпретацию знаковых систем и т. д.» [18].

В сфере первоначальных образов еще нельзя отделить внутренние формы от значений, объем их содержательных характеристик практически совпадает, поскольку как внутренние формы, так и «первичные» значения слов есть дифференцированные и вербализованные представления, получившие общезначимый характер [19]. Расчленение внутренней формы и значения произошло, видимо, уже после того, как человек, по мере перехода от «архаического мышления» (термин Ф. Кликса) к научному, научился мыслить абстрактно, создавать обобщенные наименования для класса предметов, выделять их категориальные признаки, что предопределило отношение г о м о м о р ф и з м а между этими двумя категориями семантики. Таким образом, с развитием цивилизации появились средства более полного и устойчивого воплощения сознания и «первое такое средство — искусственные знаки, вторичные, создаваемые сокращенным типизированным изображением, но не самого обозначаемого явления..., а только какого-то его броского признака» [20].

5. Учитывая все сказанное целесообразно различать имплицитные и эксплицитные внутренние формы. Имплицитные внутренние формы представлены, как правило, простыми словами, принадлежащими в большинстве своем к первоначальной лексике. В лингвистической литературе можно встретить мнение о том, что в своей изначальной форме язык был вполне определенным и прозрачным знаком вещей, стремясь походить на них, отражать их в своей форме [21]. Другими словами, «первые» языковые знаки также обладали своими внутренними формами, фиксирующими специфические черты определенных денотатов. С таким же правом можно утверждать, что непроеизводные лексические единицы, которыми мы пользуемся в настоящее время, также обладают узуальной внутренней формой. Не создаем ли мы сегодня их внутреннюю форму? Не является ли внутренней формой то, что А. А. Ветров именует «умственным образом» в триаде «предмет — умственный образ — слово» [22], или «образ знака», «внутренний знак» (в противовес «образу денотата», «внутреннему денотату») у Ч. Пирса и Г. П. Мельникова [23]? Не будет ли целесообразным различать, вслед за А. А. Леонтьевым, «образ тела знака» и «идеальный образ предмета» (значение) [24] и признать их относительную самостоятельность? Е. М. Галкина-Федорук понимает под внутренней формой сохранившееся в слове представление о первичном признаке, находящемся в основе понятия [25]. Еще Л. Фейербах, подчеркивая тот факт, что в мышлении мы незаметно проводим различие между мыслью, значением и чувственным образом, писал: «Т а м , г д е н е т о б р а з о в , т а м н е т и п о б у ж д е н и я к м ы ш л е н и ю . И в самых абстрактных формах мышления мы применяем знаки и чувственные образы; но мы используем их не для того, чтобы действительно мыслить с ними, а для того, чтобы иметь нечто, от чего мы могли бы абстрагироваться» [26]. Подобное мнение высказывали также Л. С. Выготский [27], Г. В. Колшанский [28], А. Марти [29], В. Матезиус [30]¹.

¹ Заметим попутно, что относительно понятия «образ» мы согласны с В. С. Тютиним: «Образ есть отображение общих и относительных устойчивых признаков, определенный набор значений которых характеризует данный класс объектов» [31].

Одним из проявлений имплицитности внутренней формы непронизводных единиц является их относительная субъективность. В. И. Ленин писал: «Сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его» [32]. Поэтому сам термин «внутренняя форма» можно воспринимать как несколько неудачный, поскольку не слова обладают внутренней формой, а люди «приписывают» ее этим словам, сами носители языка выделяют из лексического значения отличительный признак (признаки) в качестве внутренней формы, структурируя ее из известного им содержания единицы. Общность таких внутренних форм способствует взаимопониманию, акцентирует в соответствующих значениях наиболее релевантные признаки.

Приведем несколько примеров, иллюстрирующих наше понимание внутренней формы непронизводных единиц. Так, внутренней формой слова *газета* будет более или менее унифицированный для всех коммуникантов образ, репрезентирующий один или несколько существенных признаков, входящих в соответствующее лексическое значение, которое условно может соответствовать дефиниции, например, «периодическое издание в виде больших листов, обычно ежедневное, посвященное событиям текущей политической и общественной жизни» [33]. И вряд ли возникнет у кого-либо образ денежной единицы *gazetta* в Венеции, которая соответствовала стоимости первого вестника 450 лет назад. Произнесенное слово *око* потенциально продуцирует общие черты знакомого нам денотата, но, пожалуй, никто из нас не станет реставрировать в процессе коммуникации этимологическую внутреннюю форму типа «щель для ока (глаза)». Однако подобная внутренняя форма корневого слова не одинакова для всех носителей языка, что зависит от многих культурных, социальных, ситуативных и многих других факторов. Например, внутренней форме слова *книга* соответствует образ, включающий необходимые, но различные черты книги: кто-то вообразит ее раскрытую книгу, которую он в настоящее время читает; кто-то представит себе инкунабулу, увиденную в музее, и т. д. Также по-разному может быть воспринята внутренняя форма слов *человек*, *дом*, *ваза*, *птица*, *дерево*.

6. В факте существования внутренних форм простых и производных единиц² проявляется, на наш взгляд, интересная языковая антиномия. Попытаемся ее кратко раскрыть. Производные слова и словосочетания обладают более или менее эксплицитной внутренней формой, «подсказывают» своим составом, структурными особенностями единую внутреннюю форму, претендующую на общность для всех коммуникантов. Например, не вызывает сомнения наличие у коммуникантов разнообразных внутренних форм слова *башня*, количество которых сокращается до минимума в словосочетании *Пизанская башня*. То же самое происходит при сопоставлении внутренних форм лексических единиц в рядах *машина* — *машинист* — *вычислительная машина*, *стол* — *настольный* — *столовая* — *письменный стол*, *дом* — *домосед* — *дом быта*, *книга* — *книжный* — *книгохранилище* — *техническая книга* и т. п. Из этих примеров вытекает также и то, что чем ниже словообразовательный уровень лексической единицы, тем более высокой степенной общности она обладает; наоборот, с уменьшением экстенционала понятия происходит не только увеличение

² Вслед за Е. С. Кубряковой мы считаем, что производным словом является «любая вторичная, т. е. обусловленная другим знаком или совокупностью знаков единица номинации со статусом слова независимо от структурной простоты или сложности последнего. Производными мы считаем и производные аффиксального типа, и сложные слова, и производные, созданные путем конверсии или же усечения, и т. п.» [35, с. 5].

его интенционала, но и конкретизация соответствующей внутренней формы. Поэтому весьма важно, чтобы эта «подсказанная» объективная внутренняя форма максимально соответствовала требованиям взаимопонимания, сопоставлялась в значении с наиболее важным, всем известным, легко запоминающимся признаком. Этим подтверждается также и тот факт, что сам язык с целью усовершенствования коммуникации избрал путь создания новых наименований: абсолютное большинство новых образований составляют именно производные единицы и их удельный вес продолжает увеличиваться.

С другой стороны, внутренняя форма в конечном результате — явление синхронное. И свойство это определено состоянием лексического значения, с которым эта внутренняя форма сопоставляется. Этимологические исследования способны обнаружить искомую или реконструировать совершенно другую внутреннюю форму, сопоставимую, скорее всего, с другим значением. Но отличительным признаком этих внутренних форм является их соответствие различным эпохам развития языка, где они по-разному будут мотивированы. При неизменной производной внутренней форме все более обнаруживается ее несоответствие эволюционирующему значению. В этом отношении более выгодными являются непродуцированные слова, обладающие относительно «гибкой» внутренней формой. Следовательно, сущность антиномии состоит в относительном консерватизме внутренней формы производных единиц при наличии определенной степени объективности и в значительной гибкости, но относительной субъективности внутренних форм корневых слов.

В зависимости от ситуации общения коммуникативно релевантными могут быть разные признаки (смыслы) денотата (для студента-физика, например, понятие *электричество* во время экзамена выступает как особый физический феномен, в быту же — средство освещения). Но среди признаков всегда можно обнаружить один из них, регулярный и детерминирующий актуализированный признак. Именно такой обязательный, имманентный, интериоризированный признак, являющийся превербальным образованием и выделяемый *a posteriori* в виде умственного образа, можно рассматривать как внутреннюю форму непродуцированного слова. Такой умственный образ является своего рода гносеологическим образом, поскольку внутренняя форма как сугубо языковая категория все же в известной степени связана с речевыми употреблениями (смыслами) выражений, индицирует их, влияет на акт референции, ибо в коммуникации «процесс приема представляет собой и процесс восприятия внутренних форм, заключенных в сообщении» [34].

7. Если приведенное здесь понимание внутренней формы корневых слов может вызвать некоторые сомнения (действительно, не всегда бывает возможным провести четкую грань между интенциональными характеристиками внутренней формы и лексического значения, что вызвано, думается, в первую очередь поистине «вавилонским» нагромождением различных толкований самого значения), то в группе производных единиц внутренняя форма обнаруживается сравнительно легко и однозначно, поскольку «простые слова референтны только по отношению к миру действительности, производные обращены к миру действительности и к миру слов» [35, с. 10]. Такое обращение к другим словам актуализируется посредством различных словообразовательных средств, в частности морфем. Но не следует при этом забывать, что словообразующим формантом может быть лишь морфема, наделяющая слово новым значением, а не его оттенком, в том числе и нулевая морфема, обеспечивающая переход сло-

ва в другую часть речи. Поэтому нельзя, например, считать словообразовательным формантом в паре слов *писать* — *написать* предлог *на*, придающий слову в данном случае форму совершенного вида. Здесь мы говорим не о разных внутренних формах, а о разных вариантах внутренней формы, соответствующих разным грамматическим значениям (но не лексическим). Следовательно, в приведенном примере уместно говорить о грамматической, а не о семантической производности. Такие словообразовательные средства Э. Косериу вполне справедливо называет *модификаторами* [36], поскольку они не являются полноценными семантическими компонентами языковых образований и лишь «модифицируют» внутреннюю форму, уточняют, обогащают ее.

Внутренняя форма производной лексической единицы определяется в первую очередь ее морфемной структурой, имеющей своей основной задачей «фиксировать тип семантических ассоциаций между производящими и производными единицами, закрепить определенный тип связи между ними» [37]. В качестве языковых средств репрезентации морфем способны выступать или корневое слово, или субститут морфемы, манифестируемый словообразовательным формантом. Модификатор, следовательно, не может представлять отдельную морфему, и поэтому его функции при создании новой внутренней формы являются вспомогательными.

Вместе с тем нельзя ставить знак равенства между словообразовательным значением и внутренней формой, поскольку «носителем словообразовательного значения является формант» [38], что лишь частично определяет внутреннюю форму; словообразовательное значение может быть свойственно целому ряду слов с общим морфемным построением, в то время как внутренняя форма слова по своей природе «индивидуальна».

Рассмотрим, например, термин вычислительной техники *счетчик*. Его компоненты — основа *счет-* и суф. *-чик*. Значению первого компонента соответствует общепринятое значение слова *счет*. Второй компонент репрезентирует семантическую единицу «устройство или лицо». Словообразовательная модель термина — «вербальная основа + суф. *-чик*». Данная модель прогнозирует семантическую модель «устройство или лицо, выполняющее действие, обозначенное основой». Если в эту семантическую модель подставить значение основы (значение суффикса в ней уже учтено), то мы получим внутреннюю форму *счетчик* — «устройство или лицо, выполняющее счет». Значение же термина, разумеется, включает и другие признаки. Такой компонентный анализ нашел отражение как в теории ономаσιологических категорий М. Докулила [39], так и в теории семантической конденсации в словопроизводстве В. В. Мартынова [40], восходящих к концепциям польских лингвистов Я. Розвадовского [41] и В. Доршевского [42].

Приведем еще один пример. Допустим, именем является терминологическое словосочетание *контрольный кабель*. Основные характеристики этого имени: «вспомогательный кабель», «кабель, предназначенный для контроля», «кабель, употребляемый для измерения и управления», «кабель, посредством которого производится защита и связь» и др. Лишь вторая характеристика представляет собой внутреннюю форму и указывает на всю совокупность признаков данного денотата: «вспомогательный кабель, предназначенный для измерения, управления, защиты и связи» [43], что является словарной дефиницией термина и условно соответствует его лексическому значению.

8. Таким образом, по своим семантическим, когнитивным и словообразовательным характеристикам узуальные внутренние формы подраз-

деляются на: 1) эксплицитные внутренние формы: а) синтаксические: лексемные (например, *вычислительная машина*); б) производные: морфемные (например, *быстрота, учитель*) и переосмысленные внутренние формы — выражения, образованные путем «семантического словообразования» (термин Е. С. Кубряковой), например, *палец* — технический термин от *палец* (на руке), *медведь* — силач и *медведь* — род животного [44]; 2) имплицитные внутренние формы, т. е. внутренние формы непроемных единиц (ср., например, общеупотребительные слова *дом, рука, огонь*).

9. Мы не будем здесь подробно останавливаться на проблеме взаимоотношений между внутренней формой и значением. Отметим только, что внутренние формы являются лишь посредниками между лексическим значением и материальной языковой оболочкой, потенциально вступающей со значением в отношении гомоморфизма. В этой связи А. Потебня писал: «Внутренняя форма слова, произнесенного говорящим, дает направление мысли слушающего, но она только возбуждает этого последнего, дает только способ развития в нем значений, не назначая пределов его понимания слова» [15, с. 140]. Следовательно, анализ внутренней формы слова не всегда помогает определить его значение, а анализ значения — внутреннюю форму слова.

С такой точки зрения вряд ли целесообразно утверждать, что внутренняя форма слова представляет собой языковую мотивированность (тем более все разновидности последней). Более правильно рассматривать мотивированность как свойство внутренней формы, как результат ее соответствия значению, а саму внутреннюю форму как основу мотивированности лексической единицы. Поэтому трудно целиком согласиться с утверждением о том, что «внутренняя форма — это морфосемантическая структура слова, включающая морфемный состав и выражаемое им мотивационное значение и обуславливающая рациональность связи его звуковой оболочки и лексического значения» [45]. Во-первых, «мотивационное значение» так или иначе включает в себя значение морфем и семантические взаимоотношения между ними. Во-вторых, вызывает сомнение также само понимание «рациональности связи»: 1) всегда ли внутренняя форма создает только рациональную связь между звучанием и значением? Известны, например, случаи «ложно ориентирующих» (термин Д. С. Лотте) наименований; 2) неужели в случае отсутствия рациональности связи слово теряет свою внутреннюю форму? На оба вопроса мы, исходя из нашего определения внутренней формы, отвечаем отрицательно. Если такая рациональность связи не обнаруживается, то правильнее говорить об отсутствии мотивированности, а не внутренней формы. Э. Косериу вполне справедливо утверждает, что мотивированность — это «оправданность» построения языкового выражения [46]. Следовательно, внутренняя форма всегда эксплицитно или имплицитно присуща лексической единице, чего нельзя сказать о ее мотивированности.

Исходя из нашего понимания внутренней формы, не всегда находит подтверждение также тезис о том, что «внутренняя форма слова — это выраженный мотивировочный признак» [47]. Обратимся к примеру. В целом можно согласиться с тем, что лексическое значение сложного слова *естествознание* репрезентируется как «науки о явлениях и закономерностях природы» [33]. Если этимологическая внутренняя форма обнаруживает здесь довольно четкую мотивированную связь со значением, поскольку *естество* является устаревшим синонимом слова *природа* [33], то узувальная внутренняя форма, состоящая из современных значений

лексических единиц *естество, естественный, знание*, и семантических взаимоотношений между ними, не актуализирует необходимого мотивировочного признака. Приведем еще один пример. Внутренняя форма сложного слова *новолуние* репрезентируется двумя семантическими компонентами — *луна, новизна* и отношением «иметь атрибутом». Но вряд ли целесообразно считать, что данное слово мотивировано лексемой *новизна* (это подтверждается и его словарным толкованием): «Фаза Луны, при которой Луна находится между Солнцем и Землей и невидима для земного наблюдателя» [33]. Немало примеров такого несовпадения внутренней формы и мотивированности можно привести из различных терминосфер языка науки и техники [48].

Такая дифференциация оправдана как с точки зрения упорядочения лингвистической терминологии, так и в связи с необходимостью разграничения интенционалов этих двух родственных категорий языка.

Неидентичность понятий внутренней формы и мотивированности еще более наглядно подтверждается анализом многоосновных словосочетаний [48] и особенно явлениями лексикализации и идиоматизации значений. Так, например, мы не можем утверждать, что идиоматические образования не обладают внутренней формой, поскольку в них отсутствует мотивированность (т. е. имеет место невыводимость значения целого из значения его компонентов). Дело в том, что «внутренняя форма фразеологической единицы — это совокупность буквальных значений ее компонентов, обозначающих признак или признаки наименования в структуре образного фразеологического значения, связанная с ним деривационными отношениями» [49]. Благодаря такой дифференциации внутренней формы и мотивированности становятся возможными как эксплицитное представление внутренней формы, так и разработка объективных оценок мотивированности лексических единиц [50].

10. Таким образом, исходя из наших рассуждений, можно утверждать, что внутренняя форма языковой единицы не сводится однозначно ни к этимологии слова, ни к лексическому значению, ни к мотивированности, ни к простой сумме значений составляющих морфем. Внутренняя форма является сложной и многогранной категорией и, как все другие категории языка, не может быть полностью и безоговорочно охвачена одной небольшой, хотя даже и емкой, дефиницией.

Внутренняя форма лексической единицы репрезентируется морфемной структурой и образует не простую совокупность значений и употреблений ее составляющих, а некоторое единство взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов. Внутренняя форма — системная характеристика слова или словосочетания, играющая роль «перекидного мостика» от звуковой оболочки к значению. Можно также предположить, что лексические единицы фиксируются в нашей памяти в первую очередь не в виде комплексов фонем и даже не в виде значений, а в виде внутренних форм. Без них не может осуществиться связь между планом выражения и планом содержания, хотя акт коммуникации, вполне понятно, вносит здесь некоторые свои коррективы. Внутренняя форма воплощает тот след, который слово оставляет в памяти человека. Слово именно потому отсылает человека к предмету (т. е. обладает для него значением), что оно имеет свою внутреннюю форму. Незнакомые слова не маркируются внутренней формой, не находят отклика в сознании коммуниканта. Поэтому прав А. А. Леонтьев, утверждая, что в памяти интерпретатора значение хранится не «само по себе», а в виде образа тела знака (внутренней формы в нашем понимании) [24, с. 30]. Заметим, что в наше понимание

образа включаются лишь признаки, входящие во внутреннюю форму, как возможная составная часть всего корпуса признаков лексического значения. Поэтому, будучи актом отражения при помощи языковых средств виртуального признака (признаков) денотата, внутренняя форма, с точки зрения апперцепции, манифестируется одновременно как представление (см. аналогичное мнение в работах [8, с. 39; 15, с. 108]).

11. Учитывая изложенное, можно предложить следующее рабочее определение внутренней формы лексических единиц: внутренняя форма — это умственный интериоризированный образ, потенциально абстрагирующий и отражающий в виде апперцепционного представления один или несколько существенных признаков денотата, вызываемый и фиксируемый в памяти носителя языка обусловленной морфемной структурой слова или выражения.

В заключение отметим, что мы не могли в рамках данной работы претендовать на полное раскрытие проблемы внутренней формы и тем более других затронутых категорий (знака, значения, понятия, смысла, мотивированности и т. п.), а ограничились рассмотрением лишь самых необходимых их аспектов. Разаумеется, такой подход влечет за собой некоторую односторонность, неполноту изложения, что представляется нам в данном случае вполне оправданным, поскольку в подобной работе приходится сталкиваться с проблемами современного языкознания, которые или еще не решены окончательно, или же решаются разными лингвистами по-разному. Во всяком случае, не вызывает сомнения тезис, в соответствии с которым внутренняя форма лексических единиц является полноценной лингвистической категорией, занимающей важное место в таксономии языка и являющейся объектом научного интереса.

ЛИТЕРАТУРА

1. История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980. С. 88.
2. Платон. Соч. Т. 3. Кратил. М., 1980. С. 479.
3. Perspektiven der Wortbildungsforschung. Bonn, 1977. S. 8—10.
4. Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества // Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. С. 107.
5. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология. М., 1977. С. 42.
6. Гак В. Г. Повторная номинация и ее стилистическое использование // Вопросы французской филологии. Сборник трудов. М., 1972. С. 124.
7. Виноградов В. В. Русский язык. М., 1947. С. 17—18.
8. Кудряевский Д. Н. Введение в языкознание. Юрьев (Дерпт), 1913. С. 39.
9. Белецкий А. А. Идеализм в понимании знаков и знаковых систем // Язык и идеология. Киев, 1981. С. 80—100.
10. Вардуй И. Ф. Основы описательной лингвистики. М., 1977. С. 23.
11. Вюстер Е. Международная стандартизация в технике. Л.—М., 1935. С. 30.
12. Гинзбург Е. Л. Преобразование словообразовательных гнезд. II / Проблемы структурной лингвистики. 1980. М., 1982. С. 134.
13. Перебийніс В. С. До питання про співвідношення категорії форми та змісту в лінгвістичних одиницях // Методологічні питання мовознавства. Клів, 1966. С. 52—53.
14. Солнцева В. М. Языковой знак и его свойства // ВЯ. 1977. № 2. С. 21.
15. Потебня А. Мысль и язык // Потебня А. А. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. I. Харьков, 1926.
16. Григорян А. Г. Некоторые проблемы системного и исторического изучения лексики и семантики // ВЯ. 1983. № 4. С. 62.
17. Клякс Ф. Пробуждающееся мышление. У истоков человеческого интеллекта. М., 1983. С. 82.
18. Коршунов А. М. Диалектика субъекта и объекта в познании. М., 1982. С. 64.
19. Скоробогатов В. А. Развитие форм отражения. Л., 1984. С. 133.

20. *Ибраев Л. И.* Надзнаковость языка // ВЯ. 1981. № 1. С. 34.
21. *Фуко М.* Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977. С. 83.
22. *Ветров А. А.* Семиотика и ее основные проблемы. М., 1969. С. 108—118.
23. *Мельников Г. П.* Системология и языковые аспекты кибернетики. М., 1978. С. 223.
24. Психолингвистические проблемы семантики. М., 1983. С. 32—37.
25. *Галкина-Федорук Е. М.* Слово и понятие в свете учения классиков марксизма-ленинизма // Вестник МГУ. 1964. № 3.
26. *Фейербах Л.* История философии // *Фейербах Л.* Собр. соч.: В 3-х т. Т. 3. М., 1974. С. 349.
27. *Выготский Л. С.* Мышление и речь // *Выготский Л. С.* Собр. соч. Т. 2. М., 1982. С. 167.
28. *Колшанский Г. В.* Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. М., 1975. С. 85.
29. *Marty A.* Über das Verhältnis von Grammatik und Logik // Symbolae Pragenses. Festgabe der deutschen Gesellschaft für Altertumskunde zur 42. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Wien. 1893. Prag — Wien — Leipzig, 1893. S. 105.
30. *Матезиус В.* Язык и стиль // Пражский лингвистический кружок. М., 1967. С. 455.
31. *Тюхтин В. С.* Теория автоматического опознавания и гносеология. М., 1976. С. 14.
32. *Ленин В. И.* Философские тетради // *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 29. С. 194.
33. *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. М., 1973.
34. *Моль А.* Социодинамика культуры. М., 1973. С. 205.
35. *Кубрякова Е. С.* Типы языковых значений. Семантика производного слова. М., 1981.
36. *Coseriu E.* Inhaltliche Wortbildungslehre // Perspektiven der Wortbildungsfor-schung. Bonn, 1977.
37. Языковая номинация. Виды наименований. М., 1977. С. 243.
38. Русская грамматика. Т. I. М., 1980. С. 135.
39. *Dokulil M.* Zum wechselseitigen Verhältnis zwischen Wortbildung und Syntax // Travaux linguistiques de Prague. 1964.
40. *Мартынов В. В.* Категория языка. Семиологический аспект. М., 1982.
41. *Rozwadowski J.* O dwuczłonowości wyrazów // Język polski. 1921. 6.
42. *Doroszewski W.* Kategorie słowotwórcze // Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. 1946. 39.
43. Международный электротехнический словарь. Группа 25: Производство, передача и распределение электрической энергии. М., 1967.
44. *Ахманова О. С.* Словарь лингвистических терминов. М., 1962. С. 324.
45. *Блинова О. И.* Термин и его мотивированность // Терминология и культура речи. М., 1981. С. 32.
46. *Косериу Э.* Синхрония, диахрония и история // Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963. С. 217.
47. *Голев Н. Д.* О некоторых принципах выделения ономастологии и ее категорий // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. Вып. VII. Новосибирск, 1978. С. 7.
48. *Кияк Т. Р.* К проблеме мотивированности научно-технических терминов // Структурно-семантические особенности отраслевой терминологии. Воронеж, 1982.
49. *Кулин А. В.* Внутренняя форма фразеологических единиц // Слово в грамматике и словаре. М., 1984. С. 187.
50. *Кияк Т. Р., Котиков Ю. С., Скороходько Э. Ф.* Количественные оценки соотношения между значением и смыслом лексических единиц // НТИ. Сер. 2. 1974. № 1.

ВЕЙХМАН Г. А.

ДЕРИВАТЫ ВОПРОСО-ОТВЕТНЫХ ЕДИНСТВ

Термин «деривация» в настоящей работе употребляется в широком значении — как «процесс образования... в языке любого вторичного знака, который может быть объяснен с помощью единицы, принятой за исходную, если выведен из нее путем применения определенных правил» [1].

В синтаксической литературе неоднократно отмечалось, что некоторые типы сложноподчиненных предложений (СПП)¹ возникли из сочетания вопроса с ответом. Такая концепция по необходимости выдвигает целый ряд проблем. Если такие СПП являются дериватами вопросо-ответных единств (ВОЕ), то каковы правила их деривации? Почему между вопросительным и ответным компонентами употребляются заместители? Например: *Что было в самом деле хорошо, так это прогулки во всякую погоду три раза в день* (пример дается по [5, с. 45]). И если первый компонент действительно вопрос, то почему его можно поставить после ответа? Ср.: *Прогулки во всякую погоду три раза в день — вот что было в самом деле хорошо*. Более того, в других языках, например, в английском, у соответствующих СПП есть некоторые дополнительные особенности, отличающие их от ВОЕ. Так, почему порядок слов придаточных часто отличается от порядка слов соответствующих вопросов? Ср.: *What do I mean?* «Что я имею в виду?» и подлежащую придаточную часть *what I mean* в СПП: *But what I mean is I feel a lot better* (D. Morrel. First blood) «Но что я имею в виду, это то, что я чувствую себя гораздо лучше». Если это сочетание вопроса с ответом, то как они оказались соединенными связкой (*is?*) Если это все же дериват ВОЕ, то какие другие дериваты ВОЕ имеются в языке? Возможно ли, например, объединение вопросительных и ответных компонентов без связок и заместителей? Образуют ли дериваты ВОЕ какую-либо определенную систему? Если да, то какова их таксономия? Какое значение может иметь их изучение? Поиски ответов на эти вопросы и привели к написанию настоящей статьи.

*

Поскольку предполагаемая исходная единица (ВОЕ) характерна для диалога, а ее предполагаемые дериваты — для монолога, целесообразно начать с рассмотрения синтаксического взаимодействия между этими двумя формами речи.

В диалогических единствах, построенных по моделям предложений, когда второй собеседник присоединяет свою реплику к реплике первого собеседника, тем самым подменяя его, диалог следует нормам монологической речи. Например: англ. *You're not...? — Joking?* (R. Bradbury.

¹ Мы считаем СПП научной фикцией [2, с. 106; 3, 4], но вынуждены пока пользоваться традиционной терминологией за неимением иной.

I sing the body electric!) «Вы не...? — Шутите?» Однако значительно чаще наблюдается обратная картина — своего рода примат диалога над монологом. Монологические ВОЕ и предложения строятся по образцу диалогических единств; диалогические реплики и единства служат строительным материалом для предложений [6—8]. Так, сложносочиненные предложения могут возникать под влиянием обмена повествовательными диалогическими репликами, а бессоюзные сложные предложения — под влиянием диалогических ВОЕ [9]. Некоторые придаточные развились из ВОЕ [10], а другие — из вопросов, причем их главные части образовались, полностью или частично, из ответов [11—15]. Из вопросительных, а не только из опативных предложений (ср. [16, с. 77]) возникают союзные придаточные условия. Ср. такой вопрос — потенциальную придаточную часть в составе английского диалогического ВОЕ: *If I could be sure of having some time off most days? — Oh, of course* (A. Christie. What Mrs. McGillicuddy saw!) «Могу ли я рассчитывать, что у меня будет некоторое свободное время большинство дней? — О, конечно». Но соответствующее СПП образуется в результате объединения вопроса не с ответом, а с соседним предложением, высказываемым тем же лицом. Ср.: *Let's walk. If you would n't mind walking?* (F. J. Lipp. Rulers of darkness) «Пойдемте пешком. Если Вы не против того, чтобы прогуляться?» Независимость потенциальной придаточной части *If... walking* еще заметна из-за ее вопросительной (повышающейся) интонации и сохранения признака ее присоединения — паузы перед *if*. Следующим шагом является исчезновение паузы: *My train arrives at Chipping Cleghorn at 6.15 if that's convenient?* (A. Christie. A murder is announced) «Мой поезд прибывает в Чиппинг Клегхорн в 6 час. 15 мин., если это удобно». Последним этапом преобразования вопроса в придаточную часть было бы изменение мелодии. Ср. также: *He согласитесь ли Вы перевести несколько из его драматических очерков? В таком случае буду иметь честь препроводить к Вам его книгу → Если Вы согласитесь (то) буду... [17].*

Некоторые союзы, например, *но, а, да, и*, образовались в диалоге из восклицаний [18], а некоторые — из вопросов, например, франц. *car* «потому что, так как, ибо» [16, с. 79; 19, с. 24], англ. диал. *for why* «потому что» [19, с. 25].

Часть препозитивных связующих словосочетаний типа англ. «(whether) + повтор + *or* + отрицание (повтор)/антоним» и русск. «(корневой) повтор (+или) + отрицание (повтор)/антоним» возникли при повторении одного или нескольких компонентов предыдущей диалогической реплики (или реплик). Ср. англ. (детск.) *Ready or not, here I come* (J. Blume, Otherwise known as Sheila the Great) и русск. (детск.) *П о р а - н е п о р а, иду со двора!*

Монологические высказывания и их части нередко возникают в диалоге через переспросы. Например, английские восклицательные предложения типа *Was I surprised!* (E. Abbey. The brave cowboy) «Ну и удивился же я!» возникли как переспросы после общих вопросов (здесь *Were you surprised?* «Вы удивились?»)².

Аналогично образуются некоторые подлежащие простых предложений. Ср.: *Result? An exchange visit of factory workers to the countryside* [Daily Worker (L.) 1958. 24 Oct.] «Результат? Ответный визит рабочих в деревню»; *Result — a nasty attack of gastroenteritis* (A. Christie. What Mrs. McGillicuddy saw!) «Результат — ужасный приступ гастроэнтерита».

² Восклицания, подобные *Was I surprised.*, справедливо называют exclamatory questions («восклицательными вопросами») [20, с. 183].

Из слияния переспросов с ответами произошли немецкие предложения типа *Brot gibt es heute nicht* «Хлеба сегодня нет», а также французские бессоюзные сложносочиненные предложения типа *Il pleut, nous ne sortirons pas* «Дождь идет, мы не выйдем». Ср. нем.: *Brot? Gibt es heute nicht!* [21]; франц. *Il pleut? Nous ne sortirons pas* [16, с. 71].

Сходным путем возникли некоторые предложения с «именительным темь» и его репризой. Ср. англ.: *I always thought you'd be a good model. — Me? I'm too fat* (J. O'Hara. From the terrace) «Я всегда считал, что ты будешь хорошей манекенщицей. — Я? Я слишком толстая»: *Me, I reason* (A. Christie. Dumb witness) «Я, я рассуждаю». Интересно, что во времена Шекспира в предложениях типа *Physic for 't, there's none* (W. Shakespeare. Hamlet) «Лекарства от этого (.) нет никакого» интонационная граница между «именительным темь» (здесь *Physic for 't*) и базой предложения уже сглажена (занятая вместо вопросительного знака), а в соответствующих современных английских предложениях она стерлась полностью. Ср.: *Sounds there were none except the murmur of the bees* [22] «Звук не было никаких, кроме жужжания пчел». Ср. также отсутствие интонационного пограничного сигнала в современных немецких предложениях сходной модели: *Kaffee gibt es keinen* «Кофе нет».

Переспросы способствовали превращению некоторых слов в союзы, например, англ. *so* «поэтому, следовательно, так что». Ср.: *...from then on civilian authority wouldn't be worth a nickel. — So o? — So the President gets open-and-shut evidence in his hands* (F. Knebel. C. Bailey. Seven days in May) «...с этого момента власть гражданской администрации гроша ломаного бы не стоила. — Так что? — Так что президент получает в руки неопровержимые улики». *The day to pay up is a long way off so why worry* (J. Jakes. Conzaga's woman) «День расплаты далеко, поэтому к чему волноваться?» В первом примере *so* является переспросом, а во втором — союзом. То, что союз *so* образовался из переспроса *so*, подтверждается наличием промежуточных стадий. Например: *Despite that, however, we have ruling today only the voice and the will of money, and none other. A n d s o, why the ballot?* (T. Dreiser. Essays and articles) «Несмотря на это, однако, у нас сегодня правит только голос денег и больше ничего. И поэтому (.) к чему выборы?» Здесь *And so* уже не переспрос, но еще обособлено и, следовательно, еще не союз.

Переспросы необходимо отграничивать от коррелятов вопросов, т. е. от (видоизмененных) повторов вопросов и эквивалентов повторов — семантических замен [2, с. 97—98]. Это перекрещивающиеся понятия. Переспрос может быть коррелятом не только вопросительной, но и повествовательной или побудительной реплик. С другой стороны, переспросы после вопросительных реплик принадлежат к той части коррелятов вопросов, которые при наличии ответов стоят перед ними, являются свободными (т. е. образуют отдельные фразы — отрезки речи, ограниченные фразообразующими пограничными сигналами [23, с. 61]), сохраняют порядок слов вопроса и произносятся с повышающейся интонацией. Ср. сверхфразовые единства (СФЕ) (корреляты вопросов выделены разрядкой): *How did you like it? — Fine. I l i k e d i t* (J. O'Hara. From the terrace) «Как Вам это понравилось? — Очень. Мне это понравилось»; *Then how do you feel about me? — H o w d o I f e e l a b o u t y o u ? The same as I always do* (J. O'Hara. From the terrace) «Тогда как ты ко мне относишься? — Как я к тебе отношусь? Как всегда». Оба коррелята вопросов свободные, но только второй (переспрос) употреблен перед ответом, сохраняет порядок слов вопроса и произносится с повышением тона.

Наряду со свободными коррелятами вопросов есть связанные. Они образуют только часть фразы, а другую ее часть составляет ответ, например, в так называемых «полных ответах» [24] типа: *What do you want to eat, Al? — I don't know. I don't know what I want to eat* (E. Hemingway. *The killers*) «Что ты хочешь есть, Эл? — Я не знаю. Я не знаю, что я хочу есть». В таких случаях связанным оказывается и ответ (второе *I don't know*).

Предложение, возникающее при объединении коррелята вопроса и ответа в одну фразу, может быть не только сложным, но и простым. Например: *Only twice was she interrupted* (A. Hailey. *Hotel*) «Только дважды перебили ее». Такие эмфатические предложения, по-видимому, возникли из слияния ответа с коррелятом общего вопроса. Это подтверждается наличием инверсии в их втором компоненте и тем, что их первый компонент, подобно ответу, всегда является ремой. Этапы их становления можно реконструировать следующим образом: диалогическое единство (*Was she interrupted? — Only twice* «Перебили ее? — Только дважды») → повтор вопроса после ответа → употребление таких предложений без предшествующего вопроса.

Коррелят вопроса может быть полным и частичным. Ср.: *Why should you bother? — Goodness knows why I should bother* (D. Eden. *Whistle for the crows*) «Почему Вы должны беспокоиться? — Бог его знает, почему я должен беспокоиться»; *Why do you want he should be a Communist? — I don't know why* (D. Carter. *Tomorrow is with us*) «Почему Вы хотите, чтобы он был коммунистом? — Не знаю, почему». В первом примере коррелят вопроса (*why I should bother*) полный, а во втором — частичный: повторено только местоименное наречие *why*. В этом плане переспросы не отличаются от других коррелятов вопросов. Ср. частичный переспрос: *You see that? — See it!* (E. Queen. *The murderer is a Fox*) «Вы видите это? — Вижу это?»

Переспрос принадлежит диалогу. Поэтому коррелят вопроса, заданного в монологе, естественно, не может быть переспросом. Например: *So who do they get to take his place? Me, that's who* (J. D. Salinger. *The catcher in the rye*) «Так кого они получают вместо него? Меня, вот кого».

Наиболее типичным дистрибутивным и семантическим эквивалентом повтора является замена вопросительного слова неопределенным местоимением. В частичных коррелятах вопроса замена может употребляться одна, а в полных коррелятах — в сочетании с повтором. Ср. частичные корреляты, где в первом *what* повторено, а во втором заменено на *all*: *What's the matter with you? — I'm sick of the way you treat your wife, that's what!* (C. McCullough. *The thorn birds*) «Что с Вами? — Я больше не могу видеть, как Вы обращаетесь с Вашей женой, вот что!»; *What's the matter with them? — Manchester United's losing, that's all* (Mozaika. 1971. June) «Что с ними? — Манчестер Юнайтед проигрывает, вот и все!». Ср. полные корреляты, где первый состоит из повтора *what you need*, а во втором повторено *you need*, в то время как *what* заменено на *all*: *What you need is a good night's sleep* (J. H. Chase. *He won't need it now*) «Что Вам нужно — это хорошенько выспаться»; *All you need is love* (названия песни) «Единственное, что тебе нужно, — это любовь». Для переспросов специфична полная или частичная абстрагирующая замена предыдущей реплике, например: *Then why did you sell yourself to the devil in Zanzibar? — What?* (B. Shaw. *Heartbreak house*) «Тогда почему Вы продали себя дьяволу в Занзибаре? — Что?»

Если вопросительных компонентов два, причем второй является повтором или заменой первого, определить, какой из них вопрос, а какой его коррелят, не составляет труда. Сложнее дело обстоит, если вопросительный компонент один. В таких случаях приходится опираться на показания интонации и на факультативные маркеры, частично совпадающие с теми, которые помогают отличать коррелят вопроса от переспроса:

а) По отношению к ответу вопрос всегда находится в препозиции, а коррелят может занимать и другие позиции. Например: *I haven't the slightest idea. What's more, don't even know the names of the two ladies* (D. du Maurier. Don't look now and other stories) «Я не имею ни малейшего представления. Более того, даже не знаю, как зовут этих двух дам». О том, что *what's more* является не вопросом, а коррелятом, свидетельствует его частое употребление в постпозиции. Ср.: *The steward brought in her tea, and this time there were cherry jam and scones, freshly baked, what's more* (D. du Maurier. Don't look now and other stories) «Стюард принес ее чай, и на этот раз были вишневый джем и лепешки, свежее испеченные к тому же».

б) Вопрос и его коррелят могут различаться интонацией и порядком слов. Ср.: *What I did, I started talking, sort of loud, to Allie* (J. D. Salinger. The catcher in the rye) «Что я сделал, я начал говорить, довольно громко, с Элли»; *Come what may, there's one thing I know* (K. Winsor. Forever Amber) «Что бы ни случилось, я знаю одно». Корреляты вопросов *What I did* и *Come what may* отличаются порядком слов от соответствующих вопросов *What did you do?* «Что Вы сделали?» и *What may come?* «Что может случиться?» В первом примере прямой порядок слов коррелята сменил инверсию вопроса, а во втором инверсия коррелята сменила прямой порядок слов вопроса³.

в) Объединение в одну фразу с ответом более характерно для коррелятов, чем для вопросов. Модели вопросо-ответных фраз немногочисленны. Например, объединение специального вопроса с предполагаемым ответом в сложный вопрос, типа: *Where would you go — Australia?* (J. Cleary. The High Commissioner) «Куда бы Вы поехали — в Австралию?»

Таковы закономерности, лежащие в основе образования коррелята из вопроса в английском языке. Их наличие позволяет (в соответствии с принятым определением деривации [1]) считать коррелят дериватом вопроса. Соответственно, наличие в составе синтаксической единицы как минимум одного коррелята вопроса и одного ответного компонента позволяет считать такую единицу дериватом ВОЕ. Помимо этих двух обязательных компонентов, в английских дериватах ВОЕ могут факультативно употребляться дополнительные корреляты вопросов и ответные компоненты, а также вопросы и операторы: связки и заместители. Ср.: а) *What you are doing is betraying us* (E. L. Doctorow. Ragtime) «Вот что Вы делаете — Вы предаете нас»; б) *What you were doing was both very wrong and entirely illegal* (G. Griffin. An operational necessity) «(То), что Вы делали, было и совершенно неправильно, и незаконно». В предложениях (а) и (б) есть корреляты вопросов (*What you are doing* и *What you were doing*) и связки (*is* и *was*), но только в (а) есть ответ (*betraying us*). Поэтому (а) является дериватом ВОЕ, а (б) — нет.

Образование дериватов ВОЕ сближается с морфологическим слово-

³ В английском сохранение в корреляте порядка слов вопроса в принципе характерно для коррелятов неинверсионных специальных вопросов, а также для разговорного стиля и некоторых диалектов (например, ирландского) [20, с. 277].

образованием тем, что здесь тоже могут участвовать операторы (в данном случае — связки и заместители). Но они факультативны, и поэтому главным способом превращения ВОЕ в его дериват является образование коррелята вопроса с помощью повтора и/или семантической замены и изменения интонации. Факультативны при этом изменение порядка слов и позиции по отношению к ответу, объединение с ним в одну фразу и свертывание полного коррелята в частичный. Поскольку фокусом основных преобразований в ходе деривации является коррелят вопроса, его можно считать активным членом деривации, в то время как ответ является членом пассивным.

Факультативность заместителей и связок может свидетельствовать о том, что они появились в дериватах ВОЕ на более поздних стадиях развития последних. Будучи промежуточными коррелятами последовательной корреляции [2, с. 98] между вопросительными словами и ответами, интерпозитивные заместители расчлняют дериваты ВОЕ, тем самым облегчая их произнесение и понимание. Иными словами, избыточность, возникающая при употреблении интерпозитивных заместителей, полезная, поскольку обеспечивает надежность передачи информации.

Механизм появления связки в современных английских дериватах ВОЕ стал бы яснее, если бы удалось установить, с каким из обязательных компонентов она объединена сильнее, с коррелятом вопроса или с ответом. Однако вопрос о ее принадлежности к левой или правой непосредственно составляющей (НС) пока считается открытым. Ср.: *What I heard, was that he turned them down* и *What I heard was, he turned them down* [25] «Я слышал, что он от них отказался». Интонационный пограничный сигнал подвижен: он может предшествовать глаголу *to be* «быть» или следовать за ним. Более того, возможно употребление даже двух пограничных сигналов: до и после *to be*. Например, *All I know, is, it suits Tom Sawyer* (M. Twain. *The adventures of Tom Sawyer*) «Я знаю одно: это подходит Тому Союэру». Здесь членение на НС вообще оказывается невозможным.

Употребление кратких форм связки *is* тоже не дает ответа на вопрос о тяготении связки к тому или другому обязательному компоненту, поскольку эти формы всегда сливаются с предшествующим словом, будь то часть коррелята вопроса или часть ответа. Ср.: *All we want's your blessing* (W. V. T. Clark. *The Ox-Bow incident*) «Единственное, что нам нужно, это Ваше благословение»; *A jug of water's what she wants* (J. B. Priestley. *Angel pavement*) «Кувшин воды — вот, что ей нужно».

Согласование связки с предшествующим или с последующим существительным или местоимением также не может служить надежным маркером, поскольку оно практически непредсказуемо. Например: *What they sell are/is rejects* [26] «То, что они продают, является/являются бракованными изделиями». Правда, здесь можно отметить две заслуживающие внимания закономерности. Во-первых, если ответ находится в препозиции, глагол согласуется с его субстантивом. Например: *Boys like that seem to be what our Army's made of* (C. B. Wood. *Welcome to the Club*) «Такие ребята, до-видимому, то, из чего состоит наша армия». Во-вторых, передко, особенно в разговорной речи, связка согласуется с ближайшим существительным. Ср.: *Where the problem begins is exactly what is democracy* (J. Aldridge. *The USSR offers a way of living together without hostility or threats*) «Трудность начинается тогда, когда нужно определить, что именно является демократией»; *Where its deficiencies lay were in operating areas* (A. Hailey. *Airport*) «Его недостатки —

в рабочих зонах». Но очевидно, что этого мало для вывода о том, как связка появилась в рассматриваемых предложениях.

И все же есть некоторые данные, которые, по-видимому, приближают решение рассматриваемой проблемы. Как показал материал, обычно связка интонационно объединяется с ответом, если он выражен полнозначным словом или заместителем с конкретизирующим его последующим членом — предикативной единицей или словосочетанием (но не прямой речью). Например: *And what made it real work... w a s our Union!* (D. Carter. *Fatherless sons*) «И что сделало это настоящей работой... это наш профсоюз!»; *What he heard, w a s this: the twitter, twitter of many a bird* (C. Herbert. *Robin Hood and his merry men*) «То, что он услышал, было чириканьем множества птиц».

Обычно связка интонационно объединяется с коррелятом вопроса, если ответ находится в препозиции, в экстрапозиции, выражен предикативной единицей или прямой речью. Например: *It doesn't last too long, i s what I mean* (J. D. Salinger. *The catcher in the rye*) «Он не продолжается слишком долго, вот что я имею в виду»; *And of late my father has been — well, all I can say i s, highly injudicious in some of his financial dealings* (A. Christie. *A pocket full of rye*) «А последнее время мой отец был — ну, единственное, что я могу сказать, крайне неосмотрителен в некоторых своих финансовых делах»; *What I mean i s, Barbara was a bit of a singleton in some way* (A. Christie. *A murder in the mews and three other Poirot cases*) «Что я имею в виду, а это то, что Барбара была несколько наивной кое в чем»; *All it said w a s: «Please!»* (R. Chandler. *Red wind*) «Единственное, что там говорилось, было (:), „Пожалуйста“».

Интонационный пограничный сигнал может быть усилен вставкой вводного (часто модального) слова, словосочетания, предикативной единицы, авторской речи. В целом их вставка не отражается на отмеченной выше тенденции. Но если вставка содержит глагол, коррелирующий со связочным, она расчленяет предложение после связки. Например: *What you are saying i s, i s i t n o t, that a modern aircraft... can easily search the entire area...?* (G. Griffin. *An operational necessity*) «То, что Вы говорите, это, не так ли, то, что современный самолет может легко обследовать целый район?»

Как правило, обращение расчленяет предложение перед связкой. Например: *All I ask, f e l l o w s, i s don't judge the rest of the army by me* (F. J. Lipp. *Rulers of darkness*) «Единственное, о чем я прошу, ребята, это не судите обо всей армии по мне».

По-видимому, если связка интонационно объединена с предпозитивным коррелятом вопроса, она появилась в рассматриваемых предложениях по аналогии с употреблением связок в простых предложениях и в СПИ с придаточными предикативными. Если же связка интонационно объединена с постпозитивным обязательным компонентом, они могли появиться вместе как единое целое, построенное по образцу древнеанглийских [27], среднеанглийских [28] и современных бесподлежащих предложений типа: *Yeah, sure w a s a good meeting* (A. Maltz. *The underground stream*) «Да, конечно, было хорошее собрание». Это подтверждается наличием предложений, где сочетание связочного глагола с препозитивным компонентом без постпозитивного дает конструкцию неотмеченную. Например: *When I was a boy on this very place at Christmas time, s e e m s only yesterday* (M. Walker. *Jubilee*) «Когда я был мальчиком в этом самом месте на рождество, кажется, только вчера». Ср.: **When I was a boy on this very place at Christmas time s e e m s*.

Основаниями деления на высших уровнях классификации современных английских дериватов ВОЕ служат их моделиобразующие признаки (дериватом вопроса какого типа является коррелят, наличие вопроса и операторов), а на низших уровнях — вариативные признаки: степень развернутости и связанности коррелята вопроса (полный/частичный, свободный/связанный), степень связанности ответа, позиция обязательных компонентов и операторов, наличие расширения за счет употребления одного коррелята вопроса, ответа или заместителя (рамки статьи вынуждают нас опустить саму классификацию моделей).

В большинстве моделей дериватов ВОЕ отсутствуют вопросы. Представляется правомерным считать их «стационарными неполными» СФЕ типа «(вопрос) — его коррелят — ответ», по аналогии с предложениями, которые возникли как неполные, но теперь не воспринимаются как таковые [29, 30].

*

Осталось суммировать полученные результаты, чтобы дать им оценку и тем самым ответить на последний вопрос — о значении изучения дериватов ВОЕ.

Понятие деривата ВОЕ, насколько нам известно, до сих пор сформулировано не было, система дериватов ВОЕ ни в одном языке не была выявлена и даже не была поставлена задача систематизации подобных синтаксических единиц. В настоящей статье сформулировано соответствующее понятие, проанализирована структура английских дериватов ВОЕ и изложены их классификационные признаки.

Дериваты ВОЕ — это предложения и СФЕ, обязательными компонентами которых являются один коррелят вопроса и один ответ, а факультативными — дополнительные корреляты вопросов и ответы, а также вопрос и операторы: связки и заместители. Коррелят вопроса является активным членом деривации, а ответ — пассивным. Коррелят вопроса и переспрос — перекрещивающиеся понятия. От переспроса коррелят вопроса отличается тем, что является отражением диалогического или монологического вопроса, а переспрос является отражением диалогической реплики, высказанной с любой целью. Переспросы после вопросительных реплик принадлежат к той части коррелятов вопросов, которые при наличии ответа стоят перед ним, являются свободными, сохраняют порядок слов вопроса и произносятся с повышающейся интонацией. Их замена для переспросов специфична: полная или частичная абстрагирующая замена предыдущей реплики. От вопроса коррелят отличается интонацией, а также часто — порядком слов, подвижностью по отношению к ответу и объединением с ним в одну фразу. Дериваты ВОЕ, не содержащие вопроса, будь то предложения или СФЕ, правомерно считать «стационарными неполными» СФЕ типа «(вопрос) — его коррелят — ответ». Факультативность операторов может свидетельствовать о том, что они появились в дериватах ВОЕ на более поздних стадиях развития последних. Избыточность, возникающая при употреблении интерпозитивных заместителей, полезная, поскольку обеспечивает надежность передачи информации. Связка, в зависимости от интонационного членения деривата ВОЕ, могла появиться там вместе с постпозитивным обязательным компонентом или по аналогии с употреблением связок в предложениях других типов.

Структурно-функциональная классификация дериватов ВОЕ основана на моделиобразующих и вариативных признаках, доступных наблюдению и поддающихся формализации. Моделиобразующими признаками

являются: тип вопроса (который при отсутствии вопроса определяется по его корреляту и контексту), наличие вопросов и операторов. Вариативными признаками являются: степень развернутости и связанности коррелята вопроса, степень связанности ответа, позиция их и операторов, наличие расширения за счет употребления более одного коррелята вопроса, ответа или заместителя.

Авторы имеющихся работ по деривационному синтаксису (за немногими исключениями, например [5, с. 44—52]) ограничивались исследованием деривации до уровня предложения включительно, лишь вскользь касаясь деривации на сверхфразовом уровне. Поэтому из числа дериватов ВОЕ в поле зрения исследователей пока, в основном, попадали только некоторые типы простых и сложных предложений. Среди дериватов ВОЕ есть СПП разных логико-семантических типов, простые, осложненные, нестандартные сложные предложения, монологические и диалогические СФЕ. Сверхфразовые исходные единицы (ВОЕ) дают начало фразовым и сверхфразовым дериватам. Для изучения этих процессов деривационному синтаксису необходимо выйти за рамки предложения.

Все это лишний раз свидетельствует о том, что дальнейшее отдельное рассмотрение моделей предложений и СФЕ неоправданно [23]⁴ и что ряд типов СПП принадлежит к разряду синтаксических образований, которые объединяются по иным признакам, нежели гипотаксис [2—4].

Интерпретация рассмотренных синтаксических единиц как дериватов ВОЕ позволяет увидеть в новом ракурсе некоторые типы простых предложений и СПП, объяснить генезис ряда моделей предложений и СФЕ, а также структуру многих синтаксических единиц, оставшихся за рамками предыдущих классификаций. Это, очевидно, может способствовать построению единой синтаксической классификации, основанной на текстовых признаках.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кубрякова Е. С. Деривация, транспозиция, конверсия // ВЯ. 1974. № 5. С. 64.
2. Вейцман Г. А. Лингвистика текста и проблема сложноподчиненных предложений // ВЯ. 1984. № 5.
3. Вейцман Г. А. О синтаксической полифункциональности // ФН. 1980. № 6.
4. Veikkman G. A. English complex sentences: fact or fiction? // Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik. 1982. № 2.
5. Уханов Г. П. Типы предложений разговорной речи, соотносительные со сложными синтаксическими единицами (Предложения с препозитивной придаточной частью) // Развитие синтаксиса современного русского языка. М., 1966.
6. Щерба Л. В. Восточно-лужицкое наречие. Т. 1. Приложение. Пг., 1915. С. 4 (примеч.).
7. Якубинский Л. П. О диалогической речи // Русская речь. Вып. 1. Пг. 1923. С. 136, 185.
8. Karcevski S. Sur la phonologie de la phrase // TCLP. 1931. IV. P. 191.
9. Karcevski S. Deux propositions dans une seule phrase // CFS. 1956. 14. P. 40.
10. Мурзин Л. Н. Синтаксическая деривация (На материале производных предложений русского языка): Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Л., 1976. С. 20.
11. Есперсен О. Философия грамматики. М., 1958. С. 354.
12. Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960. С. 179, 359.

⁴ Отрыв СФЕ от предложений еще больше увеличится, если закрепится выделение «трансфрастики» как особого раздела синтаксиса, призванного изучать СФЕ [31]. Во избежание этого было бы целесообразно оговорить, что трансфрастика является разделом синтаксиса речи, и подумать о введении обобщающего наименования, например, «высший синтаксис», для обозначения раздела синтаксиса языка, который объединил бы большой синтаксис (синтаксис предложения) и ту часть синтаксиса текста, которая сейчас занимается изучением моделей СФЕ.

13. *Сумкина А. И.* К истории относительного подчинения в русском языке XIII—XVII вв. // Тр. Ин-та языкознания. 1954. Т. V. С. 173, 174, 200.
14. *Bolinger D. L.* Interrogative structures in American English (The direct question). University of Alabama, 1957. P. 29.
15. *Grimes J. E.* The thread of discourse. The Hague. 1975. P. 341.
16. *Балли Ш.* Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.
17. *Богородицкий В. А.* Общий курс русской грамматики. М.—Л., 1935. С. 234.
18. *Karcevski S.* Introduction à l'étude de l'interjection // CFS. 1941. 1. P. 72
19. *Havers W.* Handbuch der erklärenden Syntax. Heidelberg. 1931.
20. *Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J.* A university grammar of English. M., 1982.
21. *Attmann H. J.* Stenzels Satztheorie // Philosophischer Anzeiger. 1929. Jg. 3. Hf. 2. S. 199.
22. *Hornby A. S., Cowie A. P.* Oxford advanced learner's dictionary of current English. V. II. Moscow — Oxford, 1982. P. 67.
23. *Вейхман Г. А.* Предложения и синтаксические единства // ВЯ. 1981. № 4
24. *Вейхман Г. А.* Некоторые новые и менее известные явления английской грамматики (синтаксис) // ИЯШ. 1983. № 3. С. 7—8.
25. *Bolinger D. L. M.* That's that. The Hague — Paris, 1972. P. 34.
26. *Halliday M. A. K.* Notes on transitivity and theme in English. Pt. 2. / Journal of linguistics. 1967. V. 3. № 2. P. 230.
27. *Расторгуева Т. А.* К вопросу о развитии безличных предложений в английском языке // Уч. зап. 1 МГПИИЯ им. М. Тареза. 1959. Т. 19. С. 227.
28. *Сирте Г. О.* A grammar of the English language. V. 3. Boston, 1931. P. 11.
29. *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. М., 1938. С. 362.
30. *Ries J.* Was ist ein Satz? Prag, 1931. S. 128.
31. *Абрамов Б. А.* Трансфрастика и ее объект // Всесоюзная научная конференция «Коммуникативные единицы языка»: Тез. докл. Москва, 12—13 дек. 1984 г. М., 1984. С. 3—6.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

КИБРИК А. А.

ФОКУСИРОВАНИЕ ВНИМАНИЯ И МЕСТОИМЕННО-АНАФОРИЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ

В данной статье предпринимается попытка показать, что большая часть употреблений анафорических местоимений может интерпретироваться только в терминах распределения внимания участников коммуникации — говорящего и адресата. Местоименно-анафорической номинации подвержены те референты, которые входят в фокус внимания коммуникантов. Если принять этот тезис, то при всяком (в том числе ориентированном на прикладные задачи) опыте моделирования синтеза текста встает следующая лингвистическая задача: уметь в каждый момент текстопорождения определить, входит ли тот или иной референт в фокус внимания или нет. Настоящая статья представляет собой попытку приблизиться к решению этой задачи. Хотя построить операционную процедуру вычисления распределения внимания в каждый момент синтеза здесь не удастся, я попытаюсь наметить некоторые пути подхода к выполнению этой задачи и обрисовать основанный на фокусировании внимания механизм, управляющий употреблением анафорических местоимений.

1. Вводные замечания

1.1. Лексема ОН. Когда в данной статье говорится о местоименной анафоре, имеется в виду только чисто местоименная субстантивная разновидность анафорических выражений — в первую очередь, лексемы *он, она, оно, они*, которые объединяются под общим названием «лексема ОН» (к названной разновидности относятся также субстантивная лексема ТОТ и возвратная лексема СЕБЯ, здесь не рассматриваемые). Употребление анафорических местоимений (АМ) для называния референтов обозначается в данной статье как местоименно-анафорическая номинация (АМ-номинация) или ОН-прономинализация референтов.

1.2. Два класса употреблений АМ. Большая часть работ по анафоре посвящена тем употреблениям АМ, которые можно назвать с и н т а к с и ч е с к и м п (см. например [1—4]). Синтаксически употребленные АМ содержатся в примерах¹:

(1) Президент встретил иностранного гостя₁ и устроил ему₁ (*иностранному гостю₁) прием.

(2) Маша сказала Пете₁, что он₁ (*Петя₁) негодяй.

¹ Звездочкой в примерах маркируются неправильные номинации и употребления; индексы *i, j* и т. д. используются для указания на кореферентность именных групп (ИГ).

Главное отличие таких употреблений АМ от всех остальных состоит в том, что для описания их ввода достаточно синтаксические правила. Характерные черты синтаксической прономинализации — ее обязательность и, главное, контроль со стороны текстового antecedента, т. е. ИГ, кореферентной или квазикореферентной АМ.

Значительно чаще в естественных текстах (по крайней мере, в тех, где фигурируют референты-люди, см. примеч. в пункте 1.4.) встречаются употребления АМ, которые невозможно объяснить в терминах синтаксических правил. Есть ряд работ, посвященных исследованию несинтаксической анафоры, — см., например [5, 6]. Несинтаксические употребления анафорической лексики ОН с очевидностью наблюдаются в следующих текстах (полужирным шрифтом выделяются номинации интересующего нас референта, а курсивом — номинации других референтов):

(3) Дед *Алексея Комнина*₁, *Андроник Комнин*₂ — колоритная фигура в истории Византии. В свое время он₂ не поладил с *византийским императором*, своим двоюродным братом₃, и долго жил на чужбине. В 60-х годах XII века он₂ посетил Грузию, где его₂ приняли чрезвычайно радушно. *Грузинский летописец*₄ сообщает, что царь *Георгий*₅ оказал ему₂ почести сообразно его₁ происхождению.

(4) В своей очередной статье Циолковский пишет о реактивном космическом аппарате. В этой работе ему удается построить принципиальную схему космического корабля. В 1896 году он развивает эту мысль в «Грезях о земле и небе». Надо заметить, что в фантастике он так же точен, как и в технических статьях. Для него фантастика — лишь новая форма пропаганды своих идей.

Представляется, что здесь базисную роль играет механизм распределения внимания коммуникантов. Нетрудно убедиться в том, что именно те референты, которые находятся в данных текстах в фокусе внимания, автор и кодировал с помощью АМ. Таким образом, второй (общий, немаркированный, более частотный) класс употреблений АМ — это фокусно-ориентированные употребления. Для двух названных классов употреблений лексики ОН различен статус понятия «antecedent». Традиционное понимание antecedента (кореферентная или квазикореферентная местоимению ИГ в предтексте, контролирующая употребление этого местоимения) удовлетворительно для случаев синтаксической прономинализации (термин «antecedent» для этих случаев и был выработан). В данной статье, говоря о несинтаксической прономинализации, я употребляю термин «(текстовые) antecedенты» в редуцированном смысле, т. е. имею в виду просто линейно предшествующие местоимению номинации того же референта и не предполагаю, что текстовые antecedенты контролируют прономинализацию. Несинтаксическая прономинализация контролируется фокусом внимания, заданным для данной точки текста. Понятие фокуса внимания требует некоторых дополнительных пояснений.

1.3. Фокус внимания. Процессом текстообразования ведает, в первую очередь, та зона сознания говорящего, которую можно назвать текущей памятью дискурса, или текста [7, 8]. Текущая память включает по крайней мере две части: память вербальной формы текста и память смысла, или актуализованной информации [9]. Вторую часть мы будем называть полем зрения говорящего. Существенно, что в целях успеха коммуникации говорящий должен стремиться максимально приблизить поле зрения адресата к своему собственному. Благодаря этому имеет смысл говорить о поле зрения дискурса, или текста, общем

для коммуникантов. Информация в поле зрения коммуникантов должна структурироваться в соответствии с некоторыми иерархиями. Представляется, что наиболее важная из этих иерархий — распределение внимания коммуникантов между референтами. Обратимся к тексту (3). Вероятно, на вопрос о том, какой референт в этом тексте находится в фокусе внимания, всякий ответил бы, что это «Андроник». В тексте четырежды встретились упоминания референтов-людей, по своим внутренним (не текстовым) свойствам не отличающихся от Андроника. Но одно дело — «проходящие» референты (пусть даже попадающие в поле зрения), а другое дело — референт в фокусе внимания. Процесс формирования фокуса внимания на данный момент, являющийся главным в группе процессов распределения внимания, называется *фокусированием* [10, 11]. Сколько референтов может умещаться в фокусе внимания? Или, может быть, распределение внимания — это шкала, а фокус внимания — это «верхняя» часть этой шкалы? Правдоподобнее всего последнее предположение. Но для наших целей достаточно считать, что в фокусе может находиться один-два референта, а все остальные референты, входящие в поле зрения, не являются фокусно-выделенными.

1.4. Уточнение объекта рассмотрения. Далее нас будут интересовать только фокусно-ориентированные употребления АМ и под АМ-номинацией и прономинализацией будут иметься в виду только они.

Необходимо сформулировать следующий тезис. Наиболее просто в языке отражаются наиболее простые, прототипические референты-термы, а именно: а) референты-люди; б) конкретные референты. Поэтому изучение и моделирование всякой связанной с референцией языковой процедуры следует начинать именно на примерах тех референтов, которые удовлетворяют конъюнкции двух названных признаков. Это относится к моделированию номинации «фокусных» референтов в тексте. Сформулированный тезис обуславливает выбор жанра текстов, служащих источниками примеров. Это тексты журнального или очеркового типа, в предметную область которых входят в первую очередь конкретные люди, а содержание которых составляют описания действий или взаимодействий этих людей². Относительно большая длина некоторых примеров диктуется потребностью продемонстрировать, как сохраняется или меняется фокус внимания в тексте.

2. Механизм фокусно-ориентированной номинации

Механизмы номинации устроены принципиально иначе, нежели правила, действующие в более привычных для лингвистического рассмотрения сферах языковой системы. Если, например, некоторая морфологическая позиция требует заполнения, то обычно существуют несколько вариантов того, как ее можно заполнить, и выбор одного из них жестко определяется контекстными условиями в каждом конкретном случае. Что же касается номинации референтов-термов, набор ее формальных типов не так уж велик. Однако когда имеется некоторый требующий номинации референт, выбор одного из этих типов вряд ли производится по порождающему правилу. Скорее дело обстоит следующим образом. Каждому из формальных типов номинации соответствуют две группы факторов, влияющих на возможность его использования в конкретных случаях: 1) *разрешающие* факторы, которые обеспечивают воз-

² Именно в таких текстах фокусно-ориентированные употребления АМ наиболее частотны — составляют около 70% всех употреблений.

возможность использовать данный тип номинации при назывании данного референта; 2) запрещающие факторы, которые исключают возможность использования данного типа номинации в данном случае.

Сформулируем одно допущение, на которое мы будем опираться в дальнейшем. (Референт, о номинации которого в данном случае идет речь, референт in question, я буду обозначать как «Референт»). Пусть говорящий хочет поименовать Референт в рамках некоторой пропозиции, имеющей в тексте номер k . Мы будем считать, что к моменту принятия решений о ее структуре синтез всех предшествующих пропозиций, включая $k-1$, уже закончен. Вероятно, это некоторое огрубление действительности, но на данном этапе изучения проблемы оно необходимо. Теперь обратимся к механизмам собственно АМ-номинации. Есть основания полагать, что АМ-номинация — в силу своей экономичности — пользуется приоритетом перед другими типами номинации, т. е. говорящий в первую очередь рассматривает возможность кодировать Референт местоименно. Какие же факторы управляют процессом АМ-номинации? Всем хорошо знакома следующая ситуация. Мы подходим к двум нашим знакомым, ведущим оживленную беседу. С первых же слов мы понимаем, что речь идет о некотором человеке, известном обоим собеседникам. Этот человек (Референт) находится в фокусе внимания всего дискурса, или, иначе говоря, является темой данной коммуникации. Выражается это, в частности, в том, что собеседники регулярно именуют его с помощью лексемы ОН, и никак больше. Если нам неудобно прервать собеседников, задав вопрос, кто же это «он», и у нас есть основания считать, что Референт нам также может быть известен, мы начинаем «вычислять» Референт. Это возможно благодаря тому, что собеседники приписывают Референту определенные предикации, каждая из которых рестриктивно задает множество кандидатов на роль Референта. Пользуясь пересечениями этих рестрикций, а также своей базой знаний, в конце концов мы обычно отождествляем Референт. Ясно, однако, что это косвенный и коммуникативно неэффективный способ отождествления Референта. «Нормальные» участники коммуникации (в нашем случае — двое собеседников) при каждом новом упоминании Референта отождествляют его существованием иным путем: они ориентируются на общий для них фокус внимания, который остается неизменным, и благодаря этому им достаточно употребления местоимения ОН, ибо это местоименно кодирует как раз референт, находящийся в фокусе.

Степень фокусной выделенности того или иного референта в некоторый момент дискурса регулируется факторами, которые я назову факторами фокуса и рвания. Как отсчитывать «моменты дискурса», однако, не слишком очевидно. Несколько огрубляя ситуацию, я буду считать, что «моментами» дискурса, или «квантами» текста, являются пропозиции. Допустим, говорящий хочет упомянуть Референт в составе пропозиции номер k . Вопрос о том, входит ли Референт в фокус внимания в данный момент, должен решаться не в зависимости от структуры пропозиции k , а только в зависимости от предтекста этой пропозиции, т. е. тогда, когда говорящий «дошел» до пропозиции номер k . Таким образом, факторы фокусирования локализуются в предтексте пропозиции k и определяют принципially возможную прономинализацию Референта в такой-то момент, т. е. в составе пропозиции k (об учете структуры пропозиции k при АМ-номинации см. ниже).

Что же является «входом» факторов фокусирования? Очевидно, это некоторые структурные и семантические характеристики предтекста

пропозиции *k*. «Выход» этих факторов — квалификация Референта по фокусной выделенности, т. е. по принципиальной прономинализуемости.

Можно ли обойтись без включения фокуса внимания в модель АМ-номинации? Иногда предпочитают объяснять все употребления АМ разрешающим влиянием семантического контекста АМ. Так, скажем, возможность употребления и понимания АМ ОН в примере (4) выводят из того факта, что в тексте упоминается всего один референт, совместимый с селективными признаками семантического контекста местоимений. Такая интерпретация оказывается: а) в действительности более сложной, чем «фокусная» интерпретация; б) при ближайшем рассмотрении неверной. Обоснуем эти два утверждения.

А. Из гипотезы, опирающейся только на семантический контекст, следует, что говорящему в процессе синтеза необходимо постоянно проверять все референты, где-нибудь, пусть даже мимоходом, упомянутые в тексте: не удовлетворяет ли какой-нибудь из них (кроме Референта) селективным признакам контекста проектируемого местоимения. «Фокусная» же интерпретация ничего этого не требует: говорящий держит в той ячейке текущей памяти, которая называется «фокус внимания», один-два референта и знает, что их он имеет право прономинализовать. Таким образом, основанное на фокусе внимания объяснение значительно проще, а следовательно, психологически правдоподобнее.

Б. Если мы рассмотрим пример (3), то убедимся, что сформулировать селективные ограничения, делающие референты «Алексей Комнин» и «византийский император» несовместимыми с семантическим контекстом АМ, чрезвычайно трудно или невозможно. При этом естественно предположить, что АМ-номинации в примерах (3) и (4) устроены в принципе одинаково, а не основаны на факторах совершенно разной природы. Еще одно доказательство значимости фокуса внимания состоит в том, что предсказать, является ли Референт прономинализуемым в *k*-ой пропозиции, можно еще до того, как эта пропозиция вместе со всеми ее семантическими признаками построена. Так, данные первых двух предложений текста (4) однозначно говорят о том, что в следующем, т. е. третьем, предложении Референт «Циолковский» прономинализуем, а «реактивный космический аппарат», «космический корабль» — нет. Следовательно, гипотеза об универсальности роли контекста противоречит фактам.

Итак, первое и необходимое условие несинтаксической прономинализации — «фокусность» Референта; квалификацию Референта по фокусности обеспечивают факторы фокусирования. Семантико-синтаксический контекст, однако, тоже играет свою роль. С ним связана вторая большая группа факторов, участвующих в процедуре АМ-номинации. С моей точки зрения, контекст релевантен только в тех случаях, когда в фокусе находится более одного референта, причем они прономинализуемы с помощью местоимений с тождественными признаками рода и числа. Когда говорящий хочет поименовать один из этих референтов, другой оказывается возможным конкурентом при будущем разрешении референции адресатом. Говорящий должен снять этот «референциальный конфликт», строя пропозицию *k* таким образом, чтобы референты-конкуренты были различимы и адресат не мог установить референцию неправильно. Решения о структуре пропозиции *k*, принятые говорящим, и формируют факторы второй группы, которые можно назвать *внутрипропозиционными факторами*. Приведем пример разрешающего фактора из этой группы. Если референт-конкурент имеется, но кодируется в составе той же пропозиции более эксплицитным, не местоименным спо-

собом, референциальный конфликт снимается и говорящий может прономинализовать Референт. Интегрирующий компонент разрешающих внутрипропозиционных факторов таков: говорящий может прономинализовать Референт, если нет риска, что адресат перепутает этот Референт с другим. О внутрипропозиционных факторах см. [12].

В данной статье, однако, я рассматриваю только факторы фокусирования, причем запрещающие факторы ввиду недостатка места лишь перечислю. Относительно подробно удастся проанализировать разрешающие факторы, точнее, те из них, которые наиболее частотны в русских текстах.

3. Факторы фокусирования

3.1. Подлежащее и актор. Как известно, ядерное правило, управляющее процессом рефлексивизации в русском языке, таково: рефлексивизация контролируется подлежащим той пропозиции, в которую входит рефлексивное местоимение. При изучении употребления фокусно-ориентированных АМ в текстах сразу становится ясно, что и прономинализация тесно связана с подлежащим статусом предшествующих наименований Референта. Если референт кодирован подлежащим, он очень часто после этого оказывается в фокусе внимания и легко прономинализуется. Это иллюстрируется следующими примерами.

(5) **Обручев** обладал на редкость острым глазом и феноменальной памятью. Все, что он хоть раз видел, навечно попадало в тайники его памяти.

(6) а) В 1099 году **Балдуин**₁ вместе с известным своей храбростью и жесткостью **Танкредом**₁ взял город **Вифлеем**_к — согласно легенде, место рождения **Христа**₁, — а с октября 1100 года стал владетелем Эдесского графства. б) Свое положение в Эдессе он₁ (*он_{1,к,л}) укрепил, женившись на дочери некоего **Габриеля**_м, богатого владетеля одной из армянских областей. в) После этого он₁ (*он_м) с большими почестями принял у себя патриарха армянской церкви...

Особенно показателен последний пример. В предложении (6б) употреблено местоимение он₁. В предложении (6а) упомянуты по крайней мере два референта, которые в принципе могут прономинализоваться с помощью этой лексемы и по своим внутренним свойствам не отличаются от референта «Балдуин»; эти упоминания — ИГ **Танкредом**₁ и **Христа**₁. Имеется еще ИГ **Вифлеем**_к, также соответствующая грамматическим признакам лексемы ОН. Однако ни один из этих трех референтов не может быть прономинализован в пропозиции, следующей за предложением (6а). Аналогично, в предложении (6б) упомянут референт «Габриель», но фокусирование в этом предложении устроено так, что в дальнейшем прономинализации опыты подвержен только референт, кодированный подлежащим.

Хотя, возможно, в приведенных примерах на фокусирование влияют и другие факторы, фактор подлежащности antecedента везде релевантен. Это, по-видимому, соответствует и нашему интуитивному ощущению того, что именно в кодировке Референта в предтексте значимо для выделенности его при распределении внимания.

Однако все текстовые antecedенты в наших примерах были не только подлежащими, но и **актерами**³. Попробуем теперь модифицировать примеры так, чтобы antecedенты в своих пропозициях остались актерами, но

³ Актор — семантическая гиперроль, общий ярлык для всех главных ролей предикатов, а также ролей односторонних предикатов.

перестали быть подлежащими, а основная пропозициональная структура сохранилась:

(5') **Обручеву** были присущи на редкость острый глаз... Все, что ему случилось увидеть, навечно попадало в тайники его памяти.

(6') В 1099 году **Балдуину** вместе с известным своей храбростью и жесткостью **Танкредом** удалось взять..., а в октябре 1100 года овладеть **Эдесским графством**. Свое положение в графстве он... Таким образом, возможна более широкая интерпретация данного фактора фокусирования: фокусирование внимания на Референте и, следовательно, прономинализуемость, достигаются упоминанием Референта в роли акт о р а. Как показал статистический подсчет, примерно у 50% всех АМ-номинаций непосредственные текстовые antecedенты являются подлежащими, и примерно у 75% — акт о р а м и. Вот еще один пример с акторным antecedентом; здесь этот antecedент имеет совсем низкую синтаксическую роль:

(7) Восстановление дипломатических отношений с сефевидским двором было нетрудным для **Георгия XI**. В марте он прибыл в Исфахан.

Несмотря на релевантность статуса акт о р а для процесса фокусирования, статус подлежащего все же относительно автономен в смысле своей «фокусирующей силы». Это видно на примерах подлежащих, не являющихся акт о р а м и. — скажем, производных (пассивных) подлежащих:

(8) **Роджер** был разгромлен султаном **Ильгази**. Говорят, его захватил в плен сам генерал **Хасан**.

Корреляция между подлежащностью и акторностью, с одной стороны, и фокусностью — с другой, совершенно естественна. Безусловно, одна из семантических компонент, определяющих функции подлежащего и акт о р а, — это закрепленная в языковой системе фокусная выделенность соответствующего референта в составе предложения или пропозиции. Естественно, что в связанном тексте наиболее выделенный референт предложения часто оказывается также наиболее выделенным и в более широком фрагменте текста.

3.2. Референт — автор цитаты. Одним из важнейших и неотъемлемых элементов коммуникативного акта является говорящий. Следствием этого факта, в частности, служит постоянная определенность слова Я (как и других дейктических слов и выражений [7]). Еще одно следствие слитости говорящего с коммуникативным актом, связанное с процессами фокусирования, проявляется при вкраплении прямой речи или цитаты в текст. Допустим, что в фокусе внимания находится некоторый Референт-человек; в текст от лица этого человека вкрапляется прямая речь или цитата. Тогда фокусная выделенность Референта сохраняется на протяжении всей цитаты, даже если цитата довольно длинная. После конца цитаты возможна прономинализация Референта. Приведем пример:

(9) ... Небольшой отряд вышел в пустыню. На **Обручева**, родившегося и выросшего в средней полосе России, сразу обрушились июльский жар пустыни, жажда... [Из предыдущего текста ясно, что нижеследующая цитата — из дневника **Обручева**. — *К. А.*] С раннего утра солнце льет свои жгучие лучи с безоблачного неба... [7 предложений на 25 журнальных строках; никаких упоминаний Референта, кроме косвенных — посредством синтаксических нулей при обобщенно-личных формах и инфинитивах. — *К. А.*] ...А собьешься с тропы — беда: мучительная смерть от жажды караулит тебя за каждым барханом. В полной мере ощутив жестокое величие «желтого моря», к вечеру он свалился на войлок около своих ковровых сум... Нельзя, впрочем, не допустить, что на выделенность Референта влияет не только сам факт цитаты от его лица, но и нулевые

обозначения Референта при обобщенно-личных и инфинитивных формах. Оказывается, однако, что выделенность Референта может сохраняться и без влияния последнего фактора. В следующем примере фокус устанавливается отдельно для авторской и для прямой речи, и соответственно, независимо происходит и прономинализация:

(10) — Конечно, — ответил Сергей. Он говорил спокойно, как будто речь шла о совершеннейших пустяках. — Никто не знает, что скажет преподаватель, когда ему станет известно содержание письма. — Он пожал плечами. — Может быть, он скажет. ..

В таких случаях граница прямой речи или цитаты (в орфографии кавычки или тире) является сигналом к переходу на другую структуру распределения внимания; фокус внимания основного текста как бы «проскальзывает» поверх цитаты, сосредотачиваясь на ее авторе. Фокусирование «поверх цитаты» — основной источник случаев, когда текстовое расстояние между АМ и ближайшим предшествующим упоминанием Референта составляет несколько предложений.

3.3. Эксплицитно маркированная тема. Если внимание сфокусировано на некотором референте, это фактически означает, что этот референт является темой (в нетерминологическом смысле) той или иной составляющей текста. Когда текст описывает некоторую ситуацию общения или размышления, в нем может эксплицитно выражаться тема этого общения или размышления. Русский язык имеет специальные средства для маркировки темы — это ИГ с предлогами *о, про* и некоторыми другими. Естественно, что тема описываемого в тексте общения или размышления легко может становиться фокусом внимания и самого текста. При некоторых дополнительных и еще не до конца понятых условиях одно упоминание референта с помощью ИГ с предлогами *о, про* (ИГ с периферийной синтаксической ролью) дает возможность дальнейшей прономинализации этого референта. Например:

(11) В записках Артемия Волынского много интересных сведений о пол ожени при иранском дворе, о самом шахе Хусейне: не он управляет подданными, а сам подчинен своим вельможам.

3.4. Формирование нового фокуса на основе старого. Довольно хорошо известно, что номинация одного референта может производиться с точки зрения другого. У. Чейф в статье [13] пишет: «...Употребляя предложение *John hit his wife* „Джон ударил свою жену“, говорящий, описывает событие „со стороны Джона“ (при этом не обязательно принимая сторону Джона), тогда как в предложении *Mary's husband hit her* „Муж Марии ударил ее“ событие описывается „со стороны Марии“. Довольно большие отрезки текста могут сохранять в фокусе внимания один и тот же референт, скажем, референт P_1 . Если же потом говорящий хочет «установить» фокус внимания на референте P_2 , он может ввести номинацию P_2 с точки зрения P_1 , и этого будет достаточно для переключения внимания на референт P_2 . Ср. следующий пример:

(12) После обеда Александр Петрович₁ пригласил нас к себе. Двор у него₁ оказался красивый, хорошо ухоженный. В прошлом он₁ воевал, потом работал в колхозе трактористом. Сейчас он₁ пенсионер, ведет приусадебное хозяйство, держит двух коров. Вместе с ним₁ трудится его жена₁. Действительно, продолжение этого текста имеет своим фокусом жену Александра Петровича:

(12') Она₁ тоже на пенсии, в колхозе была дояркой. Ей₁ нравится ходить за коровами, и она₁ не хочет переезжать в город, хотя дети и зовут к себе.

Переключение на новый фокус не является тривиальным фактом: однократное упоминание нового референта в общем случае недостаточно для установления фокуса на этом референте.

Вероятно, область действия данного фактора можно сформулировать шире — как создание нового фокуса по смежности со старым.

3.5. Настоящая прономинализация. Если в составляющей текста объемом одно-два предложения среди факторов фокусирования ведущим является фактор акторно-подлежащего статуса, то для составляющей ранга абзаца такую роль выполняет, по-видимому, многократная, «настоящая» прономинализация Референта. Вновь и вновь именуя Референт местоименно, говорящий подтверждает, что фокус внимания остается в том же месте, на том же референте. АМ-номинация, будучи возможна лишь при фокусной выделенности Референта, циклически воспроизводит квалификацию Референта как референта, входящего в фокус внимания и, следовательно, вновь прономинализуемого. Приведем примеры:

(13) Что ждало Вахтанга с переходом в ислам? Будучи номинально признанным царем Картли, ему пришлось бы остаться при дворе шаха и сражаться против восставших афганцев, как сражался до него Георгий, а его страной правил бы его младший брат, как правил он сам десять лет. Он не боялся воевать и готов был послужить Ирану мечом...

(14) Служитель Джеки, разговаривая с директором, долго не замечал, что обезьяна, просит дать воды. Тогда она, чтобы привлечь его внимание, стала ударять дубинкой по железным прутьям вольера. Наконец он; подошел к ней; она; просигналила ему; свою просьбу. [К этому типу относятся также примеры (3), (4)].

ОН-прономинализация легко может повторяться и часто повторяется по 5—7 раз. Всем знакомы эпизоды в романах, где подобное явление может наблюдаться и на протяжении ряда страниц. В одном из рассказов Ф. М. Достоевского референт-фокус именуется с помощью надежных форм местоимения *они* 93 раза подряд (т. е. без чередования с другими способами номинации Референта), причем это настолько естественно, что не обращает на себя внимания читателя.

Ситуация настоящей АМ-номинации особенно ясно показывает, насколько бессмысленно говорить о текстовом antecedente как контролере прономинализации (в общем случае). Очевидно, что АМ-номинация в этой ситуации основана на некотором стабильно выделенном референте, и каждая последующая номинация осуществляет отсылку не к своему текстовому antecedенту, а к этому референту — точно так же, как и сам antecedент.

В приведенных примерах настоячиво прономинализуемый Референт — это фокус абзаца. Если некоторый Референт является фокусом абзаца, то его обычно нельзя исключить из фокуса и, тем самым, лишит прономинализуемости, один раз употребив синтаксическую АМ-номинацию другого референта. Ср. следующий пример (фокус абзаца — «Александр», вклинивается прономинализация референта «бронзовый подсвечник»):

(15) Волнуясь, Александр; прошел через комнату и сел за свой стол. Его; взгляд вдруг упал на бронзовый подсвечник;, прижимавший к столу бумаги, и ему; тут же пришло в голову, как хорошо бы было подарить его; Наташе. Эта мысль его; несколько успокоила.

Из примеров видно, что выделенность Референтов поддерживается не только собственно ОН-номинациями, но и другими анафорическими единицами — в особенности синтаксическими опущениями и прагматически-

ми умолчаниями. Это ярко иллюстрирует следующий пример (в разрядку выделяются «имплицитные упоминания» Референта, в скобках условно маркируются незаполненные синтаксические позиции, в которых незримо присутствует Референт):

(16) В полной мере ощутив жестокое величие желтого моря, Обручев к вечеру свалился на войлок возле своих ковровых сум, не раздеваясь, не снимая сапог. Рядом (с кем?) безостановочно жевали лошади, от туркменских юрт доносилась (до кого?) бляение баранов и лай собак. Поднялась луна, и ее свет мешал заснуть (кому?). Повернулся (кто?) на другой бок, и легкий ветерок стал осыпать лицо (чье?) песком. Он долго не мог заснуть в ту ночь.

Такая неизменная прономинализуемость Референта на протяжении ряда предложений объясняется только тем, что Референт — постоянный фокус данного текста, и весь текст порождается с точки зрения Референта. В этом смысле, кстати, можно сблизить данный пример с примерами на статус автора цитаты: предложения, промежуточные между АМ и ближайшим текстовым antecedентом, представляют собой «внутреннюю речь» Референта.

3.6. Запрещающие факторы: 1) периферийная семантическая роль и непрестижная синтаксическая позиция ИГ, кодирующих Референт в ближайшем предтексте; 2) большое текстовое расстояние до ближайшего текстового antecedента; 3) введение референта, меняющего структуру распределения внимания; 4) смена референциального «мира».

3.7. Статус выявленных факторов фокусирования в процедуре АМ-номинации. Как было показано, ни один из названных факторов фокусирования не является ни достаточным, ни необходимым условием фокусной выделенности Референта и возможности ОН-прономинализации. Вот пример того, как статус подлежащего не в силах «справиться» с настоящим фокусом:

(17) *Тупчи-башы*₁ был совсем несведущ в военном искусстве. *Тадеуш Крушинский*₂ передает один курьезный факт, красноречиво говорящий об очень низком уровне военных познаний *тупчи-башы*₁. (*Он₁...) Он₁, оказывается, спросил, не долетит ли посланный из Исфахана снаряд до Гулнабада.

Текстовый antecedент АМ, кодирующий действительный «фокусный» референт, занимает здесь крайне низкую синтаксическую позицию: посессор в составе косвенного дополнения. А референт, являющийся актором предшествующего предложения и кодированный подлежащим, по упомянутый однократно, не приобретает статус выделенности и не способен прономинализоваться. Не является необходимым условием прономинализации и дизъюнкция приведенных факторов фокусирования. Можно обнаружить случаи фокусно-ориентированной прономинализации, где не будет представлен ни один из этих факторов (в частности, случаи, когда antecedент вводится в поле зрения конституцией). Перечисленные факторы не дают возможности в каждом конкретном случае для некоторой k-ой пропозиции четко и строго решать вопрос о том, может ли в ней в принципе прономинализоваться некоторый референт или нет. Мы имели бы право говорить о действительных факторах фокусирования, если бы располагали операционным алгоритмом следующей структуры: на вход подается предтекст некоторой пропозиции номер k и на выходе выдается для всякого референта ответ на вопрос, находится ли он на данный момент в фокусе внимания и может ли быть прономинализован в рамках пропозиции номер k или же нет. Представляется, что в реальном процессе текстообразования

действие этого алгоритма входит в действие аппарата естественного логического вывода. В самом деле, фокусирование — это процесс распределения внимания между референтами, попавшими в поле зрения в результате их упоминания в тексте. Для создания структуры распределения внимания на каждый момент мозг каждого из коммуникантов использует огромное количество информации самых различных типов и из различных источников, в частности: информацию об упоминаемых референтах, которая извлечена из данного дискурса; информацию о референтах, которая «записана» в базе знаний; информацию о самых разнообразных свойствах ИГ, с помощью которых именованы референты, в частности, о концептах этих ИГ; информацию о коммуникативной цели говорящего в данном дискурсе и о релевантных для него приоритетах; информацию о структуре ситуаций, в которых участвуют референты, описываемые в тексте, и т. д. Таким образом, для того чтобы понять, как человек употребляет местоимения, необходимо понять, как устроен естественный логический вывод, а эта задача уже явно выходит за пределы возможностей формализации на сегодняшний день.

Итак, роль, отводимая тем факторам фокусирования, которые были перечислены выше, в реальном процессе фокусирования весьма скромна. Они оказываются скорее не факторами, а признаками фокусирования. Однако это очень частотные признаки, т. к. они являются, наряду с прономинализуемостью референтов, побочными выходами процесса фокусирования. В связи с этим выделенные признаки фокусирования могут использоваться при формализации процедуры синтеза в качестве второстепенных факторов. При этом их следует определенным образом переформулировать. Для примера возьмем первый и пятый факторы. Их структура в формализованной процедуре номинации должна быть в общих чертах такой:

1. Если в k — 1-ой пропозиции Референт был актором и/или был кодирован подлежащим, велика вероятность того, что в k -ой пропозиции он прономинализуем.

5. Если на протяжении нескольких пропозиций, предшествующих k -ой, Референт был неоднократно прономинализован, велика вероятность того, что в k -ой пропозиции он также прономинализуем.

Конечно, практическая реализация этих факторов требует уточнения некоторых их позиций. В частности, на основании статистических исследований для каждого жанра текстов необходимо точно определить, что значит «велика вероятность».

4. Заключение

Данная статья носит предварительный и проблемный характер. В ней была предпринята попытка выделить два типа употреблений субстантивных анафорических местоимений — синтаксические и фокусно-ориентированные. В статье выдвинут тезис о том, что употребления второй группы, более частотные и более интересные, объяснимы только с учетом структур распределения внимания, формируемых говорящим в процессе дискурса. В этих структурах наиболее важен компонент, именуемый фактором внимания коммуникантов. В статье предлагается аппарат факторов фокусирования, определяющих вхождение того или иного референта в фокус внимания и, тем самым, прономинализуемость референта в составе очередной пропозиции текста. Далее в статье выясняется, что эти факторы являются не исходными при-

чинами фокусирования, а признаками этого процесса, производными механизма естественного логического вывода, локализуемого не в тексте, а в сознании говорящего и адресата. Однако с точки зрения ориентированных на прикладные задачи исследований выявленные признаки фокусирования должны оказаться полезными. По-видимому, при формализации процедур номинации их можно использовать в качестве вероятностных факторов прономинализации.

Хотя конечные выводы статьи не дают на сегодняшний день возможности построить действующую модель реального фокусно-ориентированного употребления местоимений, представляется, что они соответствуют реалистичному и перспективному направлению исследований в этой области ⁴.

ЛИТЕРАТУРА

1. Postal P. On so-called pronouns in English // *Modern studies in English* / Ed. by Reibel D. A., Schane S. A. New Jersey, 1969.
2. Падуцева Е. В. О семантике синтаксиса. М., 1974.
3. Wasow T. Anaphora in generative grammar. Ghent, 1979.
4. Падуцева Е. В. Высказывание и его соотносительность с действительностью. М., 1985.
5. Van Dijk T. A., Kintsch W. Strategies of discourse comprehension. N. Y., 1983.
6. Marslen-Wilson W., Levy E., Tyler L. K. Producing interpretable discourse: The establishment and maintenance of reference // *Speech, place and action* / Ed. by Jarvella R. J., Klein W. Chichester, 1982.
7. Кибрик А. А. Об анафоре, дейксисе и их соотношении // *Разработка и применение лингвистических процессоров*. Новосибирск, 1983.
8. Кибрик А. Е. К построению лингвистической модели коммуникативного взаимодействия // *Уч. зап. ТГУ*. 1983. Вып. 654.
9. Клацки Р. Память человека — структура и процессы. М., 1978.
10. Grosz B. J. The representation and use of focus in a system for understanding dialogues // *Proceedings of the 5-th International joint conference of artificial intelligence*. Cambridge, 1977.
11. Селезнев М. Г. Принципы разрешения референции определенно-референтных нарицательно-именных групп // *Разработка и применение лингвистических процессоров*. Новосибирск, 1983.
12. Кибрик А. А. Механизмы устранения референциального конфликта // *Моделирование языковой деятельности в интеллектуальных системах*. М., 1987.
13. Чейф У. Данное, контрастивность, определенность, подлежащее, топика и точка зрения // *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. XI. М., 1982.

⁴ В статье использованы примеры, сконструированные автором, а также взятые из газет и следующих источников: *Натрошвили Т. Г.* От Машрика до Магриба. М., 1978; *Дружная В.* «Аспирант» при железной дороге // *Наука и жизнь*. 1983. № 10. С. 102—107.

СОКОЛОВА Г. Г.

К ПРОБЛЕМЕ ФРАЗООБРАЗОВАНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Проблема фразообразования до последнего времени мало разрабатывалась в теории французского языка, в связи с чем вполне очевидна необходимость объективной трактовки основных процессов, вскрывающих специфику фразообразования во французском языке. Анализ фразообразования целесообразно проводить в рамках общелингвистического процесса транспозиции [1], выявленного еще в начале века Ш. Балли¹ (ср. также работы А. Фрея, Л. Гильбера, В. Г. Гака). Концепция транспозиции, принятая в настоящей статье, подразумевает использование языковых знаков в несвойственных им функциях и значениях. Подобный принцип, примененный к переменным сочетаниям и фразеологическим единицам (ФЕ), дает возможность понять и упорядочить существующие процессы фразообразования, представив их как особую систему формирования знаков косвенной номинации.

Анализ разнообразных путей формирования ФЕ позволяет выделить два вида транспозиции — транспозицию переменных сочетаний и транспозицию ФЕ, или первичную и вторичную транспозицию (ср. также понятия первичной и вторичной фразеологизации у А. В. Кунина [2]). Упомянутые процессы формирования ФЕ образуют, как можно полагать, особую систему фразообразования и, которая, наряду со словообразованием, входит в общую систему языка [3]. Фразообразование осуществляется по транспозиционным моделям: первичная транспозиция — $FS \rightarrow FS_1$, вторичная транспозиция — $FS_1 \rightarrow F_1S_2$, где символы F, S, FS, FS_1 , F_1S_2 обозначают соответственно структуру знака, его содержание, исходное переменное сочетание (ПС) или предложение, результат первичной и вторичной фразеологизации (транспозиции). Под переменным сочетанием (термин Б. А. Ларина) имеется в виду свободное сочетание в его традиционном понимании. Под первичной транспозицией подразумевается процесс формирования единиц косвенной номинации (ФЕ), осуществляющийся посредством перехода ПС и предложений во фразеологические единицы. Транспозиция этого типа предполагает семантическую трансформацию (изменение значения) исходного ПС или предложения, при которой новообразования сохраняют прежнюю структуру. Она хорошо описана на французском материале в работе К. Д. Приходько [4]. Вторичная транспозиция предполагает процесс формирования вторичных ФЕ посредством перехода ФЕ одних функциональных классов в другие; для нее характерно изменение категориального значения исходных ФЕ, сопровождающееся изменением их структуры (отмеченные случаи сохранения вторичной фразеологической единицей структуры исходной ФЕ немногочисленны). Таким образом, основная характеристика первичной транспозиции — семантическая, вторичной — лексико-грамматическая.

¹ Следует заметить, что Ш. Балли не распространял понятие транспозиции на выявленные им типы устойчивых сочетаний.

Первичной транспозиции присущи: а) структурная идентичность ПС² и ФЕ; б) преимущественная отнесенность исходной и производной единиц к одному функциональному классу (в первую очередь это касается глагольных единиц); в) отношение семантической производности между ПС и ФЕ; г) различие значений ПС и ФЕ. Вторичной транспозиции свойственны: а) структурные различия между ФЕ и ФЕ₁ (за исключением фактов конверсионной транспозиции); б) отнесенность ФЕ и ФЕ₁ к разным функциональным классам и в) отношение семантической производности между ФЕ и ФЕ₁. Таким образом, первичная и вторичная транспозиция, различаясь пунктами а), б) и г), сходны в том, что исходные и производные единицы (во фразообразовании целесообразно использовать эти термины словообразования) соотносимы в плане семантики.

Образование ФЕ₁ от ФЕ, уже существующих в системе языка, как и образование фразеологических единиц от ПС, до настоящего времени не рассматривалось во французской фразеологии ни в рамках транспозиции, ни как ее второй этап (к первому этапу образования ФЕ логично отнести первичную транспозицию; этот этап охватывает значительный по объему массив исходных единиц). Вторичная транспозиция, отличающаяся разнообразием своих форм от первичной, распространяется на довольно ограниченное число исходных единиц — узуальных ФЕ и неограниченное количество окказиональных ФЕ. В отличие от первичной транспозиции она является гипотетическим, возможным этапом формирования вторичных фразеологических единиц, приобретающих этот статус в результате перехода ФЕ из одного лексико-грамматического класса в другой. Следующее существенное различие между указанными этапами формирования ФЕ и ФЕ₁ заключается в том, что если при анализе явления первичной транспозиции направление фразообразования, его динамика очевидны (поскольку речь идет, как правило, о переосмыслении исходных переменных сочетаний), то изучение вторичной транспозиции осложняется необходимостью каждый раз уточнять направление фразеобразовательного процесса. Во многих случаях оно носит сугубо индивидуальный характер, как, например, при образовании субстантивных ФЕ из вербальных. Так, *faire un pied de nez à qn* «смеяться над кем-л.» — *pied de nez* (разг.) «насмешка, открытая издевка»; *parler petit nègre* «говорить на ломаном языке» — *petit nègre* «ломаный, исковерканный язык» [5]. С другой стороны, данные транспозиции цельнооформленных единиц [6] подводят к заключению, что формирование вторичных фразеологических единиц (ФЕ₁) частично «повторяет» направление этого процесса на лексико-семантическом уровне. Сопоставление ФЕ *série noire* «детективные романы» и ФЕ *série noire* «относящийся к детективным романам» или ФЕ *comme il faut* «благовоспитанность, благопристойность» позволяет допустить, что в первом случае *série noire* и *comme il faut* являются исходными, а во втором — ФЕ₁, т. е. производными фразеологическими единицами.

Анализ особенностей формальной и содержательной сторон исходных и производных единиц — ПС, ФЕ, ФЕ₁ — подтверждает мысль о целесообразности трактовки фразообразования в рамках транспозиции. В самом деле, первичная и вторичная транспозиция отражают первый и второй этапы формирования первичных и вторичных единиц — ФЕ и ФЕ₁, которые представляют собой виды фразообразования. Принципиальное наличие этапов фразообразования, как мы постараемся показать, и объединяет в

² В тех случаях, когда образование ФЕ происходит на основе несуществующих денотатов типа *la valse des ministres, être au septième ciel*, делается допущение о существовании теоретически возможного ПС, формально идентичного ФЕ.

единый процесс транспозиции семантически разноплановые ФЕ, реализуемые в иерархически соотносимых первичной и вторичной транспозицией. В свою очередь выделение этапов фразообразования и функциональных признаков вовлеченных в эти процессы ФЕ позволяет показать особый характер ФЕ как семантического элемента «коммуникационного целого» [7].

Первичная транспозиция представляет собой не только первый, но и основной этап формирования единиц косвенной номинации. Большая часть переменных сочетаний проходит лишь начальный этап фразообразования, поскольку фразеологическое значение ФЕ и ФЕ₁ связано с ограниченным и чрезвычайно редко расширяющимся количеством образных ассоциаций, что не способствует дальнейшему семантическому развитию исходных ПС и формированию фразеологической полисемии. При первичной транспозиции ПС рассматриваются как исходные ФЕ — как их фразеологические производные, возникшие в результате семантического сдвига (метафоры или метонимии), при вторичной транспозиции исходными являются ФЕ, т. е. ПС, прошедшие этап первичной фразеологизации. Их фразеологические производные — ФЕ₁ возникают в результате перехода узуальных ФЕ одного лексико-грамматического класса в другой.

Сопоставление двух видов фразообразования (исходных и производных единиц) подчеркивает сходства и различия, характеризующие процессы транспозиции ПС и ФЕ. Такие примеры транспозиции ПС, как *voir le fond du sac* «увидеть дно мешка» — ФЕ *voir le fond du sac* «проникнуть в самую глубь, в суть вещей», ПС *vieux jeu* «старая игра» — ФЕ *vieux jeu* «самородный», подтверждают тезис о структурной идентичности ПС и первичных ФЕ, их тесную семантическую связь, изменение значения ФЕ по сравнению с исходным ПС.

В работах по французской фразеологии явление, рассматриваемое здесь как транспозиция ПС, соотносится с семантической трансформацией исходных единиц и характеризуется непрогнозируемостью возникновения и значения ФЕ, равно как их немоделируемостью [8]. Очевидную трудность представляет прогнозирование значения возможных ФЕ, поскольку неизвестно, какие именно ПС и в каких высказываниях подвергнутся фразеологизации. Вместе с тем нет оснований принимать положение о непрогнозируемости возникновения ФЕ, т. к. круг ЛСГ, компоненты которых являются аналогами компонентов ФЕ, невелик и в основном ясно очерчен [9]. Это дает (хотя и довольно общее) представление о компонентном составе возможных ФЕ и подтверждает общеизвестный тезис, в соответствии с которым семантика ФЕ отражает наиболее простые ситуации, связанные с жизнедеятельностью человека. Отмеченная немоделируемость тем не менее не может быть признана абсолютной. Даже при анализе обозначений отдельных растений или человека по чертам характера факт существования конкретных фразеологических моделей вполне очевиден: ср. *pie d'oie* «лебедя», *pie d'ours* «медвежья лапа», *pie d'alouette* «дельфиниум», *pie de poule* «пырей»; *mauvaise tête* «вздорный человек, смутьян», *tête fêlée* «сумасброд», *tête de linotte* «бестолковый человек» и т. п. Определенные фразеологические модели обнаруживаются не только в сфере упомянутых, но и других субстантивных и вербальных ФЕ³. Наряду с конкретными моделями, характеризующими отдельные ФЕ, существуют модели, общие для всех ФЕ.

³ Конкретные фразеологические модели ранее выделялись в трудах В. Г. Гака, Г. З. Черданцевой и В. М. Мокиенко, что ставит под сомнение возможность отрицания существования моделей ФЕ.

Трактовка фразообразования как единого процесса транспозиции ПС и ФЕ опирается именно на факт существования транспозиционных моделей фразообразования. Транспозиционные модели выдвигаются для каждого этапа фразообразования в отдельности, что важно для понимания процесса формирования фразеологических единиц, но тем не менее недостаточно для осознания и выделения системы фразообразования того или иного языка.

Подход к процессу образования ФЕ как к разновидности транспозиции позволяет выделить обобщенные транспозиционные модели фразообразования — $FS \rightarrow FS_1$ и $FS_1 \rightarrow F_1S_2$ и исходя из их сугубо абстрактного характера использовать эти модели не только для французского, но и других языков. Так, русское ПС *мокрая курица* переходит в класс ФЕ со значениями: 1) «размазня», 2) «человек, имеющий жалкий вид, подавленный, расстроенный чем-л.», а английское ПС *husband's tea* «чай (для) мужа» становится при транспозиции ФЕ *husband's tea* со значением «жидкий чай». Первичная транспозиция ПС осуществляется по модели $FS \rightarrow FS_1$, которая отражает как семантическое переоформление целого, так и идентичность структур ПС и ФЕ, т. е. транспозицию самых различных ПС, имеющих несходные значения и относящихся как к неродственным языкам, так и к одному и тому же языку.

Сложность (но не невозможность) прогнозирования ФЕ с определенным значением не снимает тем не менее необходимости анализа семантического механизма первичной транспозиции, реализуемого в моделях метафоры и метонимии. Представляя собой семантическую основу процесса транспозиции, метафоризация и метонимизация как средства оценочной номинации ведут к упомянутой выше семантической эволюции ПС, на основе которых образуются первичные и вторичные ФЕ. Семантический механизм формирования новых ФЕ во французском языке посредством метафоризации представляет собой существенную, но малоизученную сторону фразеологической семантики. Суть транспозиции ПС, их переход в единицы косвенной номинации становятся понятными только при изучении механизма переосмысления исходных единиц. При анализе процесса метафоризации ПС, понимаемого как неотъемлемая часть фразообразования, целесообразно использовать положения, высказанные В. Г. Гаком [10, с. 85].

Явление метафоризации лежит в основе формирования единиц вторичной [лексическая единица (ЛЕ)] и косвенной (ФЕ) номинации, но эти виды метафоры не всегда сопоставимы. Словесная метафора связана с результатом ассоциативного переноса названия с одного предмета на другой, с возникновением нового значения и расширением семантической структуры исходной ЛЕ: *boule* «шар» и *boule* «башка» (разг.), где «шар» является основным (прямым), а «башка» вторичным (переносным) значениями существительного *boule*. Фразеологическая метафора также представляет собой результат ассоциативного переноса; в отличие от лексической метафоры она связана не только с формированием нового значения, но с формированием значения новой языковой единицы иного, чем исходный, уровня.

Метафоризация ПС приводит к существенным различиям в семантике ПС и ФЕ, ибо в качестве мотивирующего прототипа ФЕ (внутренней формы) фигурирует значение исходного ПС. При этом процессе происходит стяжение ряда смыслов, образующих ПС, поскольку не все из них участвуют в сообщении предмету признака. Так, при метафоризации ПС *canard boiteux* «хромая утка» и образовании ФЕ *canard boiteux* «предприятие, испытывающее финансовые затруднения» архисема ПС (зооним) не способ-

ствует выявлению акцентуемого метафорой признака в новом семантическом комплексе — ФЕ; из потенциальных сем ПС («нервная походка», «замедленное передвижение», «трудность нахождения пищи») сема «трудность нахождения пищи» в ФЕ становится дифференциальной семой ФЕ. В данном примере проявляются свойственные метафорическим образованиям отношения, основанные на сходстве признака и объединяющие значения ПС и ФЕ. Соответственно вербальные и адвербиальные ФЕ опираются на ассоциации по сходству действия и ситуации, например, ПС *mettre dans le même sac* «класть в один мешок» — ФЕ *mettre dans le même sac* «валить в одну кучу»: ПС *pour le bon motif* (разг.) «из хороших побуждений» — ФЕ *pour le bon motif* «с серьезными намерениями».

Что касается метонимии, то логический принцип, лежащий в основе ее образования на уровне слова, дает возможность соотносить с ней метонимии, образованные в результате переосмысления ПС. Несмотря на то, что метонимия не является разновидностью метафоры, между ними не существует противоречивости. Это доказывается возможностью совмещения этих форм семантической трансформации в одной единице косвенной номинации, например, в ФЕ *l'homme de la rue* «первый встречный» (букв. «человек с улицы»). Ассоциация по сходству проявляется в том, что человек, встреченный на улице, вызывает ассоциации со случайным, с любым человеком — первым встречным; ассоциация по смежности проявляется в замене более узкого понятия «человек с улицы» более широким — «первый встречный». Для фразеологической метонимии характерно сохранение семантической связи с исходным ПС и «присоединение зрительного представления» [11].

Сравнивая различные виды переноса, ряд исследователей определяет метафору как более глубинную семантическую трансформацию, которая «может быть интерпретирована как симметричное отношение двух наименований с заменой архисем» [10]. При метонимическом переносе архисема прямого значения не исчезает, а преобразуется в дифференциальный признак нового значения. Кроме того, метонимические обозначения характеризуются стабильностью семантической связи, опирающейся на основные признаки, существующие объективно в смежных понятиях.

Метонимия использует существующие в языке номинации при создании новых, косвенных номинаций. Нередко для обозначения человека определенной профессии используется ФЕ, образованная на основе ассоциации «часть — целое» и называющая предмет его одежды: *blouse blanche* «хирург», *bonnet carré* «доктор наук», *chapeau d'honneur* «распорядитель танцев». При первичной транспозиции посредством метонимии конкретное значение ПС заменяется абстрактным значением ФЕ. При этом семантический механизм метонимического процесса отличается от процесса формирования словесной метонимии. Архисема субстантивного ПС способна «погашаться», архисема вербального ПС — оставаться прежней. Субстантивное ПС *piéd poudreux* «пыльная ступня» включает в качестве архисемы соматизм, а соответствующая ему ФЕ *piéd poudreux* со значением «бродяга» заменяет ее архисемой «лицо», т. е. происходит замена одной архисемы другой. В вербальном ПС *appuyer sur le bouton* «нажать на кнопку» архисемой является активное действие, в производной ФЕ *appuyer sur le bouton* «развязать атомную войну» эта архисема сохраняется.

Метафорическим образованиям свойственны отношения, основанные на сходстве, объединяющем значения ПС и его производной ФЕ (как, впрочем, и значения ПС, ФЕ и ФЕ₁, которые представляют собой отдельные звенья единого процесса транспозиции). В результате процесса

метафоризации ПС возможно сохранение или «погашение» архисем исходных единиц. Например, в вербальном ПС *monter dans le train en marche* «садиться в идущий поезд» и его производной ФЕ *monter dans le train en marche* «присоединиться к начатому другим делом» архисемой является действие. В другой вербальной идиоме *galoper sur le mauvais pied* «поступать неправильно, вести неправильную линию», которая восходит к ПС *galoper sur le mauvais pied* «скакать на больной ноге», архисема движения заменяется архисемой действия. Субstantивная ФЕ *cheval à la besogne* «работяга, неутомимый труженик» (ПС *cheval à la besogne* «лошадь за работой») также характеризуется заменой архисем — зооним переменного сочетания заменяется архисемой «лицо» фразеологической единицы. В ФЕ с частичным переосмыслением компонентов архисема активного действия остается прежней: ПС *rompre une lance* «ломать копьё» — ФЕ *rompre une lance* «ломать копьё, спорить». Компаративные ФЕ представляют собой особый случай фразеологизации ПС с возможным сохранением их архисем — *aller comme un preneur de taupes* «идти крадучись», *griffonner comme un chat* «писать неразборчиво», *jaune comme un souci* «очень желтый».

Изучение механизма семантической эволюции ПС существенно не только для первичной транспозиции, поскольку факт переосмысления ПС позволяет рассматривать процессы формирования ФЕ и ФЕ₁ как транспозицию ПС и ФЕ, а также разграничивать этапы фразообразования. Со вторым этапом фразообразования соотносится вторичная транспозиция, в связи с чем целесообразно уточнить, как это явление трактуется в теории фразеологии. Процессы, относимые в данной статье к первичной и вторичной транспозиции, в англистике, например, определяются как первичная и вторичная фразеологизация. Под вторичной фразеологизацией понимается фразеологическая деривация, ведущая к образованию «ФЕ от ФЕ путем обособления фразем, входящих в состав более сложных фразем или в состав ФЕ со структурой предложения» [2]. Резюмируя сущность фразеологической деривации по А. В. Кунину, следует указать три способа формирования вербальных и субstantивных ФЕ: 1) разные виды обособления пословиц, 2) тема-рематическую трансформацию пословиц и 3) замену в пословицах императива инфинитивом. Аналогичное место в формировании вербальных и субstantивных ФЕ₁ отводится пословичным ФЕ в процессе фразеологической деривации В. Л. Архангельским в работе [12]. Таким образом, этапы фразообразования (первичная и вторичная фразеологизация) анализировались в ряде работ, но не в качестве иерархически зависимых этапов единого процесса, а как многообразные пути образования фразеологических единиц [2].

На материале немецкого языка процесс фразеологической деривации разработан в монографии И. И. Чернышевой [13]. В немецком языке этот термин соотносится со словообразовательной продуктивностью фразеологических единиц. Дериваты ФЕ образуются посредством морфологического (сращение и словосложение) и лексико-семантического способов и представляют собой обозначения имени деятеля, действие или состояние. Учет особенностей фразеологической деривации в немецком языке не лишен интереса при изучении аналогичного процесса во французском языке в связи с формированием вторичных ФЕ — имен деятеля и состояния. Образование подобных производных ФЕ занимает во французском языке довольно незначительное место по сравнению с немецким языком, но тем не менее характеризует фразеологическую систему французского языка.

По-иному явление фразеологической деривации представлено в рабо-

тах по французскому языку, где оно относится не к сфере фразеологического образования, а к семантической эволюции ФЕ, поскольку объектом фразеологической деривации являются в основном слова и словосочетания, приобретающие в системе языка новые значения под влиянием ФЕ. В значительно меньшей мере понятие фразеологической деривации включает формирование новых слов [8]. С нашей точки зрения, фразеологическая деривация, обозначаемая в этой статье как деривационная транспозиция, является одним из путей образования вторичных фразеологических единиц и входит в объем понятия «транспозиция фразеологических единиц» [14].

Как следует из сказанного, используемое при изучении фразеологических систем упомянутых языков понятие фразеологической деривации соотносится с разными процессами — с формированием вторичных ФЕ и коммуникативных ФЕ (в русском и английском языках), с формированием сращений и образованием сложнопроизводных (в немецком языке), с формированием новых значений словосочетаний и слов под влиянием ФЕ (во французском языке). Многозначность этого понятия усложняет его применение при изучении процессов фразеологического образования.

Вторичная транспозиция, или транспозиция ФЕ, представлена во французском языке такими явлениями, как конверсионная, деривационная и эллиптическая транспозиция. Таким образом, на фразеологическом уровне (как и на лексическом) имеет место транспозиция двух типов [1] — морфологическая (грамматическая) и синтаксическая. К морфологической транспозиции относятся конверсионная и деривационная, к синтаксической — эллиптическая транспозиция. Транспозиционные модели этих процессов отличаются от модели транспозиции переменных сочетаний: речь идет о модели конверсионной транспозиции $FS_1 \rightarrow F_1S_2$, о модели деривационной транспозиции $FS_1 + \text{suff.} \rightarrow F_1S_2$, о модели эллиптической транспозиции $FS_1 - E \rightarrow F_1S_2$. В качестве иллюстрации этих типов транспозиции приведем следующие примеры. При конверсионной транспозиции FE_1 сохраняют структуру исходных: *rire de toutes ses dents* «громко смеяться» — *le rire de toutes les dents* «громкий смех»; *le dernier cri de la mode* «последний крик моды» — *dernier cri* — «по последней моде»; *à la coule* прост. а) «досконально, вдоль и поперек», б) «ловко, умело» — *à la coule* а) «в курсе; сведущий», б) «ловкий, умелый» и т. п. Деривационная транспозиция обычно связана с формированием обозначений действующего лица: *jeter un sort* «околдовать, сглазить кого-л.» — *jeteur de sort* «колдун»; *faire des affaires* «ворочать делами» — *faiseur d'affaires* «делец, делита, воротила»; *manger du curé (du prêtre)* «быть воинствующим антиклерикалом» — *mangeur de curés (de prêtres)* «воинствующий антиклерикал» (разг.). Для эллиптической транспозиции характерны примеры образования субстантивных и адвербиальных FE_1 на основе вербальных: *s'agiter comme un diable dans un bénitier* «метаться как одержимый» — *diable dans un bénitier* «человек, чувствующий себя не в своей тарелке»; *conduire qn. au doigt et à l'œil* «заставить кого-л. повиноваться» — *au doigt et à l'œil* «как по струнке».

Сравнение продуктивности трех типов транспозиции ФЕ на примере формирования узусальных FE_1 позволяет утверждать, что наиболее продуктивным типом является эллиптическая транспозиция. Однако рассмотрение обширного материала окказиональных FE_1 убеждает также в высокой продуктивности конверсионной транспозиции. Эти данные свидетельствуют об отсутствии параллелизма в развитии способов транспозиции единиц лексического и фразеологического уровней, поскольку в формиро-

вании транспонированных ЛЕ первое место, безусловно, принадлежит собственно транспозиции, которой эллипсис (при субстантивации и адъективации) уступает по объему новообразований [6].

Транспозиция, в результате которой образуется подавляющее число транспонированных ЛЕ современного французского языка, во фразеологии имеет «параллель» в виде конверсионной транспозиции, представленной многочисленными окказиональными и узуальными ФЕ₁, что характерно для данного этапа в развитии французского языка. В качестве транспозитора данного типа фразообразования выступают артикль и предлоги (преимущественно *de* и *à*). Исходными для конверсионной транспозиции с транспозитором являются субстантивные ФЕ, архисемы предметности которых уступают место архисеме признака имени при образовании адъективных ФЕ₁. Например, ФЕ *collet monté* «чванность» — ФЕ₁ *collet monté* «чванный»; ФЕ *premier mouvement* «первое побуждение» — ФЕ₁ *de premier mouvement* «непосредственный». Субстантивные и адъективные ФЕ₁ образуются также на основе вербальных, адъективных и, крайне редко, коммуникативных ФЕ. Так, транспозиция вербальной ФЕ *sourire de toutes ses dents* «расшлыться в улыбку» в субстантивную ФЕ₁ *sourire de toutes ses dents* «широкая улыбка» заключается прежде всего в переходе вербального компонента в инфинитиве в субстантивный компонент ФЕ₁. Это возможно в связи с наличием в языке глагола и существительного *sourire*, благодаря чему архисемы действия ФЕ заменяются архисемой предметности в ФЕ₁. Интересен пример формирования субстантивной ФЕ₁ *couleur du temps* со значением «характер эпохи, дух времени» из адъективной ФЕ *couleur du temps* «пожелтевший, выгоревший от времени». Вторичная ФЕ теряет потенциальные семы «старость» и «оценка» и дифференциальную сему «цвет», присущие исходной ФЕ; дифференциальная сема конкретности заменяется семой абстрактности, архисема качества «погашается», уступая архисеме предметности.

К редким примерам конверсионной транспозиции без транспозитора следует отнести образование узуальной адъективной ФЕ₁ *je sais ce que je sais* «осторожный», восходящей к коммуникативной ФЕ аналогичной структуры со значением «знаю, да не скажу» (уклончивый ответ). Более распространенным для этого типа транспозиции является формирование адъективных ФЕ₁ на основе адвербиальных, когда неизменность структуры производных сопровождается заменой архисемы признака действия архисемой признака имени: ФЕ *pour rire* «в шутку, для потехи» — ФЕ *pour rire* «несерьезный», ФЕ *pièce à pièce* «постепенно» — ФЕ₁ *pièce à pièce* «постепенный», ФЕ *à perpète* (прост.) — ФЕ₁ *à perpète* (прост.) «пожизненный» и т. п. Таким образом, конверсионная транспозиция с транспозитором и без него способствует формированию адъективных и субстантивных ФЕ₁. С точки зрения семантики вторичные ФЕ являются значительно менее «неожиданными», чем первичные ФЕ, т. к. в процессе первичной транспозиции при переосмыслении ПС образуются ФЕ, которые часто весьма далеки от значения прототипа (например, ПС *aller à la montagne* «идти к горе» — ФЕ *aller à la montagne* «сделать первый шаг кому-л. навстречу, уступить»).

Типичными примерами конверсионной транспозиции с транспозитором являются вторичные адъективные ФЕ, образованные на основе субстантивных и особенно вербальных ФЕ посредством предлогов *à* и *de*. Одним из таких примеров является образование адъективной ФЕ₁ *de bon sens* «рассудительный, благоразумный». О формировании вторичной адъективной ФЕ₁, качественно отличной от исходной ФЕ *bon sens* «рассудительность»,

свидетельствует новое категориальное значение признака предмета, а также бóльшая конкретность $ФЕ_1$ по сравнению с $ФЕ$ и соответствующие синтаксические функции $ФЕ_1$. Несоответствие имен качества категорий существительных является обстоятельством, способствующим транспозиции субстантивных $ФЕ$ в адъективные $ФЕ_1$.

При формировании адъективных $ФЕ_1$ продуктивность субстантивных $ФЕ$ значительно уступает продуктивности вербальных. Французский язык широко использует конверсионную транспозицию последних в разговорной речи, что подтверждается многочисленными окказиональными образованиями типа *une salade à se mettre à genoux* «сногшибательный салат» и т. п. Теоретически любая вербальная $ФЕ$ способна служить исходной для формирования вторичных адъективных $ФЕ$. Например, $ФЕ_1$ *à se taper la tête contre les murs* «вероятный, жуткий» от $ФЕ$ *se taper la tête contre les murs* «биться головой об стену». Вербальная $ФЕ$ *casser la tête à qn.* «шуметь и мешать кому-л.» образует производную — адъективную $ФЕ_1$ *à casser la tête à qn.* «страшный», входящую в компонентный состав субстантивной $ФЕ$ *un tapage à casser la tête à qn.* «страшный шум». Несмотря на вербальную природу исходных, производные $ФЕ$ обозначают, как правило, высшую степень качества — *à se mettre à genoux*, *à se taper la tête contre les murs* и др.

Менее характерной для французского языка является деривационная транспозиция (субстантивные компоненты *faiseur* и *faiseuse* образуют десять $ФЕ_1$, *metteur* — два, *preneur* не образует $ФЕ_1$ вообще). Как правило, в результате транспозиции вербальных $ФЕ$ формируются субстантивные $ФЕ_1$ чаще всего мужского рода — обозначения деятеля. В их число входят *faiseur d'almanach* а) «прожектор, фантазер»; б) «шарлатан»; *faiseur d'embarras* а) «ловкий интриган»; б) «любителю поважничать»; *metteur en oeuvre* «человек, развивающий чужие мысли»; *metteur en scène* «постановщик, режиссер». Кроме производных от $ФЕ$ с глаголами широкого значения, фразеологический фонд включает $ФЕ_1$, восходящие к глагольным $ФЕ$, грамматический опорный компонент которых относится к лексико-семантической группе (ЛСГ) активного действия, как, например, в *donneur d'eau bénite* «пустослов», *batteur de pavé* «праздношатающийся, фланер», *gagnant sur tous les tableaux* «человек, которому все удается» и т. д.

Эллиптическая транспозиция является синтаксическим типом транспозиции фразеологических единиц. Ее модель несколько отличается от других транспозиционных моделей, т. к. включает символ E — эллиптируемый компонент исходной $ФЕ$: $FS_1 - F \rightarrow F_1S_2$. Например, *conduire qn. au doigt et à l'œil* «заставить кого-л. повиноваться» — *au doigt et à l'œil* «как по струнке», *coucher noir sur blanc* «написать черным по белому» — *noir sur blanc* «открыто, не таясь», *payer en monnaie de signe* «не заплатить, обмануть» — *monnaie de singe* «обман, надувательство». Наиболее продуктивными исходными $ФЕ$ этого типа фразеобразования являются коммуникативные и вербальные $ФЕ$. В результате эллипсиса компонента (компонентов) этих разрядов $ФЕ$ и в зависимости от их семантико-синтаксической структуры образуются вторичные $ФЕ$ других лексико-грамматических классов. Как конверсионной транспозиции, так и эллиптической свойственно формирование $ФЕ_1$, обладающих иной категориальной характеристикой, чем исходные, но близких им по семантике. Будучи одной из разновидностей вторичной транспозиции, эллиптическая транспозиция, естественно, отличается от эллипсиса единиц лексического уровня, но одновременно и сопоставима с ним. Эллипсис $ЛЕ$ охватывает сочетание слов

«существительное + прилагательное» (*passage souterrain — souterrain*) или «существительное + существительное» (*une écharpe de la couleur de la cerise — une écharpe cerise*). При эллипсисе первого типа происходит усечение первого компонента, при эллипсисе второго типа выпадает середина сочетания [6]. Эллиптическая транспозиция повторяет структуру переменного сочетания, в чем она близка к эллипсису первого типа. Отличительной чертой лексического эллипсиса первого типа является единичность, неповторимость редуцируемого компонента в каждом отдельном случае, ибо его основой служит ПС, построенное для нужд определенной ситуации общения. При эллиптической транспозиции также имеет место редукция первого компонента, который, в отличие от эллипсиса упомянутого типа, единичен далеко не всегда. В качестве инициальных компонентов ФЕ (чаще ими бывают вербальные единицы) во многих случаях фигурируют глаголы широкого значения, движения, звучания и некоторых других ЛСГ: *aller, appeler, avoir, s'agiter, crier, être, se jeter, mener, mettre* и др. Остановимся на некоторых примерах эллиптической транспозиции, в результате которой образуются вторичные ФЕ. Так, 1) *avoir pour tout bagage* «не иметь ничего за душой» — ФЕ₁ *pour tout bagage* «всего-навсего»; 2) *appeler sous les armes* «призвать в армию» — ФЕ₁ *sous les armes* а) «в действующей армии»; б) «в полной готовности»; 3) *mener tambour battant* а) «действовать быстро, энергично»; б) «делать что-л. открыто, на глазах у всех» — ФЕ₁ *tambour battant* «быстро, не давая опомниться»; 4) *mettre chapeau bas* а) «низко кланяться»; б) «признать чье-л. превосходство» — ФЕ₁ *chapeau bas* «подобострастно». Семантика вторичных единиц косвенной номинации тесно связана с семантикой их исходных ФЕ. Например, значение адвербиальной ФЕ₁ *tambour battant* «быстро, не давая опомниться» формируется в результате перехода семы «быстрота», исходной ФЕ со значением «действовать быстро, энергично». Что касается дифференциальной семы ФЕ «энергичность», содержащейся в интенсификаторе, ее отсутствие в семном составе ФЕ₁ определяется тем, что адвербиальная ФЕ₁ *tambour battant* «начинает жить самостоятельной жизнью» и как автономная единица с течением времени развивает новое значение «не давая опомниться; мгновенно».

При эллиптической транспозиции соответствия между исходными и производными ФЕ в плане их одно- и многозначности довольно разнообразны. Однозначные ФЕ образуют однозначные (пример № 1) и двузначные ФЕ₁ (пример № 2). С другой стороны, двузначные ФЕ составляют основу однозначных ФЕ₁ (примеры №№ 3 и 4).

С точки зрения образования вторичных ФЕ интерес представляет также пример № 2. В результате вторичной транспозиции образуется двузначная адвербиальная ФЕ₁, которую, исходя из отсутствия структурных отличий адъективных и адвербиальных ФЕ, следует рассматривать одновременно и как адъективную вторичную ФЕ [6].

Как видно из примеров, наиболее распространенной формой образования ФЕ₁ посредством эллиптической транспозиции является редукция грамматически опорного компонента — субстантивного компонента или вербального компонента в положительной форме: *un enfant né d'hier* «невинное дитя» — *né d'hier* «неопытный, незрелый»; *oublier les mois de nourrice* (разг.) «молодиться, убавлять возраст» — *mois de nourrice* «младенческие годы» и т. п.

Для двойного эллипсиса (разновидность эллиптической транспозиции) характерна редукция начального и конечного компонентов, как, например, в двузначной адъективной ФЕ *à la graisse* а) «никудышный», б) «фаль-

шивый». При формировании FE_1 в исходной субстантивной FE *des boniments à la graisse d'oe* «турусы на колесах» редуцируются компоненты — существительные *boniments, oe*, что подтверждает аналитическую природу французского языка и свидетельствует о значительном влиянии закона экономии на формирование вторичных FE .

Итак, формирование фразеологических единиц во французском языке представлено различными видами и типами, преобладание и комбинаторика которых в развитии фразеологического фонда неравномерны в разные исторические периоды. Основными процессами, характеризующими систему фразеологизации французского языка, являются первичная и вторичная транспозиция, образующие фразеологические единицы по моделям $FS \rightarrow FS_1$ и $FS_1 \rightarrow F_1S_2$. Особенно характерны для французского языка вторичные фразеологические единицы, образованные по модели эллиптической транспозиции $FS_1 - F \rightarrow F_1S_2$.

Процесс формирования фразеологических единиц представлен иерархически соотносимыми первичной и вторичной транспозицией — этапами фразеологизации, позволяющими объединить в единый процесс транспозиции разнородные по структуре и значению фразеологические единицы. Выделение этапов и функциональных признаков соотносимых с ними фразеологических единиц позволяет показать особый характер FE как семантического элемента коммуникативного целого.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Gak V. G. Essai de grammaire du français. М., 1974.*
2. *Кукин А. В. Фразеология современного английского языка. М., 1972. С. 15—21.*
3. *Чернышева И. И. Фразеология современного немецкого языка (фразеология как система и ее связь с системой лексики): Автореф. дис.... докт. филол. наук. М., 1964.*
4. *Приходько К. Д. Соотношение фразеологических единиц и нефразеологических сочетаний одинакового лексико-грамматического состава (на материале современного французского языка): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1972.*
5. *Littré E. Dictionnaire de la langue française. Paris, 1958.*
6. *Соколова Г. Г. Транспозиция прилагательных и существительных. М., 1973.*
7. *Виноградов В. В. Понятие синтагмы в синтаксисе русского языка // Виноградов В. В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике, М., 1975. С. 88—154.*
8. *Назарян А. Г. Фразеология современного французского языка. М., 1976.*
9. *Гак В. Г. Беседы о французском слове. М., 1966.*
10. *Гак В. Г. Семантическая структура слова как компонент семантической структуры высказывания // Семантическая структура слова. М., 1971.*
11. *Хованская Э. И. Принципы анализа литературного произведения и художественной речи. Саратов, 1975. С. 252.*
12. *Архангельский В. Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. Ростов н/Дону, 1964. С. 145.*
13. *Чернышева И. И. Фразеология современного немецкого языка. М., 1970.*
14. *Соколова Г. Г. Основные тенденции фразеологизации и состав компонентов фразеологических единиц // Новая советская литература по общественным наукам. Языкознание. 1983. № 7.*

КОРМАНОВСКАЯ Т. И.

**О КОММУНИКАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЛОЖНОПОДЧИНЕННОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

(на материале английского языка)

Опыт, накопленный в теории и практике грамматических исследований, привел к усложнению синтаксической теории в целом. Это проявилось прежде всего в разнообразных подходах к предложению, которое, будучи многогранным синтаксическим образованием, подлежит изучению с различных точек зрения. В настоящей работе мы исходим из теории четырех аспектов синтаксиса, согласно которой выделяются структурный, актуальный (коммуникативный), логический и аналоговый аспекты [1, 2]. Все эти аспекты, отражающие особые стороны одного и того же объекта изучения, накладываются друг на друга, существуя в тесном единстве и взаимодействии.

Статья содержит некоторые результаты исследования коммуникативного аспекта сложноподчиненного предложения, при котором предложение характеризуется со стороны содержания в его направленности на восприятие сообщаемого, что непосредственно связано с выполнением коммуникативного намерения говорящего. Исследование предпринято на материале обширной группы обстоятельственных сложноподчиненных предложений современного английского языка, представленной разнообразными структурными и семантическими типами.

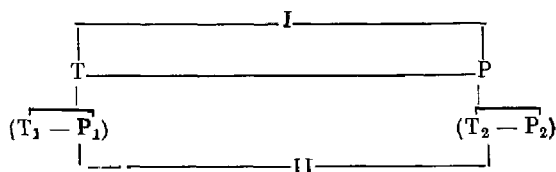
Детально изученная на материале простого предложения, проблема предложения как единицы коммуникативного синтаксиса сравнительно недавно стала разрабатываться применительно к сложному предложению и остается пока одной из малоизученных и достаточно противоречивых. Прежде всего возникает вопрос: можно ли при исследовании сложных предложений с громоздкой синтаксической структурой руководствоваться приемами функционального анализа, выработанными на материале простого предложения? Указывая на различную природу актуального членения простого и сложного предложений, некоторые авторы отказываются переносить ряд терминов, закрепленных за простым предложением, на сложное [3].

Исходя из единой сущности человеческого мышления, которое выражается в языке, через язык, есть все основания полагать, что тема-рематические отношения, представляющие собой универсальный способ развертывания речевой коммуникации, должны характеризовать любую коммуникативную единицу: от высказывания (минимальной единицы коммуникации) до текста в целом. Более того, наличие тема-рематических отношений является обязательным условием связности речи, но на разных уровнях эти отношения по-разному участвуют в ее осуществлении [4, 5].

Природа актуального членения, заключающаяся в бинарном противопоставлении темы (исходного момента коммуникации) и ремы (собственно-го содержания коммуникации, того, ради чего сделано сообщение) внутри одного высказывания, является единой как для простого, так и для сложного предложений. И это противопоставление рассматривается в качестве условия существования предложения как динамической структуры (термин В. А. Белошапковой [6]). При актуальном членении все сложноподчиненное предложение распадается, как и простое предложение, на два компонента [7].

Хотя природа актуального членения является единой и для простого, и для сложного предложений, их коммуникативные организации все же отмечены существенным различием, которое проявляется прежде всего в многоярусности актуального членения сложноподчиненного предложения [8, 9]. В сложном предложении, представляющем собой соединение нескольких предикативных единиц, актуальное членение повторяется на нескольких уровнях (ярусах), начиная с самого высшего, образуя тем самым иерархию уровней актуального членения. Первый ярус позволяет выявить тему и рему, отношения между которыми конституируют все сложное предложение как цельную коммуникативную единицу. На этом ярусе определяется способ включения данного предложения в предметный контекст, на базе которого оно возникает. Все последующие уровни актуального членения определяют способ включения частей сложного предложения в контекст только данного сложноподчиненного предложения. Например: «I went out for an hour. *When I returned, Thompson was fighting Temptation hard.* If he went to the Legion how would he get back?» (V. S. Pritchett) ¹.

На высшем уровне актуального членения данное сложноподчиненное предложение распадается на состав темы, выраженный препозитивным придаточным предложением, которое является носителем минимума информации и образует основу для развертывания коммуникации, и состав ремы, выраженный главным предложением и образующий информационный центр сообщения. На втором уровне членению подвергаются компоненты динамической структуры первого уровня, которые, в свою очередь, распадаются на тему и рему. Тему образуют именные формы (*I, Thompson*), а в качестве ремы выступают остальные части элементарных звеньев. Иерархию уровней актуального членения можно изобразить следующим образом:



При актуальном членении сложноподчиненного предложения компоненты первого яруса не совпадают с членами подлежащно-сказуемостной структуры, а бывают представлены, как правило, целым предикативным звеном или их комплексом (в многозвенном сложноподчиненном предложении). С увеличением количества предикативных звеньев увеличивается число ярусов актуального членения. Многоуровневый характер актуаль-

¹ Наклонной чертой обозначается граница между компонентами актуального членения высшего уровня.

ного членения сложноподчиненного предложения вполне гармонично сочетается с его одноплановой функциональной перспективой, подчеркивающей поступательное движение компонентов информационной структуры, линейное развертывание речи. Функциональная перспектива определяет коммуникативную значимость элементов предложения при включении его в предметный контекст, т. е. на высшем уровне актуального членения, том уровне, на котором происходит выявление коммуникативных типов высказываний. Принимается во внимание и то, что существуют две разновидности порядка следования компонентов актуального членения: объективный порядок, отражающий переход от части, менее насыщенной информацией, к части, более насыщенной, и субъективный порядок, при котором информационный центр находится в начале высказывания [10].

Одним из основных канонов теории актуального членения является вывод о том, что полное осмысление всех возможностей предложения может осуществиться только в масштабе текста при учете его структурно-семантической организации. Этот вывод позволяет говорить о наступлении второго этапа в развитии теории актуального членения (см. [11—13]). Поскольку назначение языка состоит в том, чтобы служить средством формирования и передачи информации, то вполне естественно считать ведущей грамматической категорией текста его информативность, которая пронизывает коммуникативные единицы всех уровней, позволяя тем самым трактовать тему и ремю, являющихся категориями текста, как носителей разной информации. Тема предстает носителем минимума информации, образующим основу для развертывания коммуникации, а рема — носителем максимума информации, являющимся информационным центром сообщения [14, 15]. Причем важно подчеркнуть, что информационная структура создается именно сочетанием темы и ремы, поскольку важно не только то, что сообщается, но и в отношении чего делается сообщение. Разумеется, информативны и тема, и рема. Дело только в разной степени их информативной значимости, которая непосредственно определяется тем, что актуально, информативно наиболее или наименее важно с позиции говорящего, развивающего мысль в определенном контексте.

Являясь универсальным средством выявления компонентов актуального членения, контекст позволяет дать однозначное толкование коммуникативной организации сложного предложения. Однако связь коммуникативных функций компонентов высказывания с фактором контекстуальной зависимости в действительности является довольно сложной. Не всегда оказывается правомерным ставить в прямую зависимость тематическую функцию компонентов высказывания от их контекстуальной данности, поскольку их коммуникативная значимость определяется субъективно автором данного высказывания в соответствии с целью сообщения. Роль контекста как раз в том и заключается, что он помогает выявить, какому коммуникативному заданию отвечает конкретное высказывание и в соответствии с чем следует проводить его актуальное членение. При чтении текста происходит процесс осмысления коммуникативного намерения его автора.

Коммуникативная организация высказывания определяется также показателями, присущими самому предложению: эта зависимость проявляется в тех ограничениях, которые накладывает структурно-семантическая организация предложения на возможности его коммуникативного использования.

Функциональный анализ обстоятельственных сложноподчиненных предложений позволил выявить два принципиальных вида коммуникативных образований: монофункциональные и полифункциональные. Число

монофункциональных коммуникативных единиц, которые характеризуются только одним типом коммуникативного оформления, незначительно. Актуальное членение этих предложений предопределяется исключительно их структурно-семантическими особенностями, а контекстуальная независимость означает самостоятельность и однозначность их коммуникативной организации, заданной в их структуре. К числу монофункциональных единиц относятся сложноподчиненные предложения следствия, степени и сравнения, временные «взаимподчиненные» предложения, жесткость структурно-семантических моделей которых, построенных на основе соотносительного типа подчинения, детерминирует их коммуникативную организацию. Например: «She won't tell him, of course. *She said it so naturally, so simply, that the words disclosed a whole attitude of mind.* One did not tell one's mate what would tease the poor brute! He saw by the flutter of her white eyelids that she also realised the giveaway» (J. Galsworthy); «As to what happened downstairs. *For some unexplainable reason I know the story as well / as though I had been a witness to my father's discomfiture.* One in time gets to know many unexplainable things» (Sh. Anderson); «I straightened my tie and went downstairs to the drawing-room. *I'd hardly been there five minutes / when Mrs. Thompson came in with the coffee.* She brought it on a silver tray; I wondered how much money was coming into the house» (J. Braine). Элементарные предложения объединены в рамках данных сложноподчиненных предложений на основе соотносительного типа подчинения или подчинения с корреляцией, для которого характерно участие обеих составляющих частей в реализации механизма подчинения. Это ведет к установлению таких моделей построения, которые предполагают обязательную бинарность структуры сложного предложения с жестким порядком следования элементарных звеньев. Размещение показателей структурной зависимости в обеих соединяемых частях (коррелятов *so... that, as...as, hardly...when*) обеспечивают двустороннюю соотнесенность элементарных предложений и абсолютное единство целого, устанавливаемое на основе тесной связи составляющих компонентов, что исключает возможность их «расщепления» и пере моделирования. Жесткость и ограниченность модели построения предложений этого типа сводит до минимума возможности их актуализации, ограничивая одним типом коммуникативного оформления. Он характеризуется объективным порядком следования компонентов актуального членения. Выступая в качестве исходного пункта коммуникации, препозитивные элементарные предложения образуют тему высказывания. Возникающее в них коммуникативное «напряжение» создает момент ожидания ремы и получает свое разрешение в постпозитивных предложениях, образующих рему высказывания.

Смысловая синсемантия препозитивных звеньев сопровождается в данном типе конструкций структурной синсемантией, показателями которой служат корреляты. На примере рассматриваемых предложений выявляется тенденция к упрочению смысловой незавершенности препозитивной части средствами статического аспекта, причем второй элемент коррелятивной пары можно считать формальным показателем начала ремы высказывания. Схема актуального членения имеет в этом случае вид: Т — Р.

К этому же разряду монофункциональных единиц относятся сложноподчиненные предложения с постпозитивными придаточными времени, места, образа действия, в которых рематическая функция придаточного звена обусловлена валентными свойствами глагола-сказуемого главного предложения. Например: «And after he had done this he always ended by telling them he kept himself to himself, avoided drinks, ignored women and,

putting his breast pocket, said that was where he kept his money and his papers. *He behaved to them exactly / as he had behaved with me two months before in the Euston Road.* The Colonel's daughter told me. She picked up all the news in that district» (V. S. Pritchett).

Синсемантический характер препозитивного главного предложения обусловлен здесь спецификой лексического значения глагола *behave*, для которого адвербиальное распространение является обязательным. Придаточное образа действия в этом случае выполняет функцию развернутого члена главного предложения и свидетельствует о тесной связи между элементарными предложениями, которые способны выразить законченное высказывание только вместе. Обязательность придаточного образа действия, подкрепленная в данном случае контекстным окружением, ведет к строгой фиксированности порядка следования элементарных предложений: для придаточного предложения здесь возможна лишь постпозиция. Коммуникативная незавершенность препозитивного предложения ведет к его тематизации, поскольку оно является той частью целого, в которой еще не реализована цель всего высказывания. Коммуникативное напряжение, возникающее в препозитивной главной части, получает свое разрешение в постпозитивном придаточном предложении, которое образует коммуникативный центр высказывания, выступая в качестве его ремы.

Вхождение в разряд монофункциональных высказываний «инверсивных» временных сложноподчиненных предложений определяется их категориальной семантикой. В предложениях, относящихся к этому типу, смысловая значимость главного и придаточного предложений обратна обычной. В них основное содержание заключено в придаточном предложении, а главное содержит только указание на время действия или на обстоятельства, при которых совершается действие, выраженное в постпозитивном придаточном. Например: «*Everything was packed except the one or two things she needed for the night. It was dark / when the boy awakened them. They dressed hurriedly and when they were ready breakfast was waiting for them*» (W. S. Maugham).

Союз *when* в данном случае соотносит действие, выраженное в придаточном предложении, с временем совершения этого действия, обозначенным в главном предложении. При этом главное звено подчинено придаточному по содержанию, а придаточное главному — по форме. Коммуникативная значимость элементарных предложений рассматриваемого типа определяется разной степенью их информативной значимости. Препозитивное главное предложение, бесспорно, содержит существенную информацию, сообщая о времени совершения действия придаточного предложения, но отнюдь не является коммуникативным центром всего сложноподчиненного предложения, поскольку основная нагрузка приходится на постпозитивное элементарное предложение. Именно оно осуществляет основную текстовую связь с предшествующим и последующим контекстом и сообщает самую важную информацию, без которой было бы невозможно дальнейшее развитие повествования. Постпозитивное звено образует рему высказывания, а препозитивное предложение выступает в качестве его темы (содержащаяся в нем информация квалифицируется как дополнительная).

Общей особенностью всех монофункциональных единиц, выявленных в рамках обстоятельственных сложноподчиненных предложений, является то, что они образуют один коммуникативный тип высказывания T — R, характеризующийся объективным порядком следования компонентов актуального членения при совпадении границ актуального и структурно-

го членения. Коммуникативная расчлененность монофункциональных единиц обусловлена структурно-семантической моделью предложения, допускающей лишь одну функциональную возможность ее реализации. Выявление разновидностей таких сложноподчиненных предложений и особенностей их структурно-семантической организации позволяет проводить актуальное членение изолированного предложения, поскольку монофункциональные единицы находятся в минимальной зависимости от контекста, который не может изменить стереотипности их коммуникативной организации.

Однако большая часть предложений может приобретать в процессе функционирования различное коммуникативное оформление и относиться, таким образом, к разряду полифункциональных единиц, содержащих в себе потенциальные возможности нескольких актуализаций. При этом в качестве компонентов актуального членения могут выступать части сложноподчиненного предложения, равные или не равные главной и придаточной частям. Границы актуального и структурного членения могут совпадать. Вхождение части сложноподчиненного предложения в тот или иной компонент высказывания предопределяется взаимодействием двух моментов: структурно-семантическими особенностями данного предложения и более гибким контекстуальным фактором.

Актуальное членение не столько противопоставляется структурному членению, сколько опирается на него и именно в структуре предложения находит свое выражение. Большая структурно-семантическая нагруженность модели сложноподчиненного предложения отражается в самых разнообразных конфигурациях тема-рематической организации, частным проявлением которой могут быть случаи со сложной ремой, сложной темой и антетемой высказывания. На этих трех типах мы и остановимся².

Рема в сложноподчиненном предложении с придаточным в постпозиции может включать в себя и главную, и придаточную части и образовывать тем самым сложный состав ремы высказывания, представляющий собой расширенную реализацию одного коммуникативного задания. Двуремные высказывания такого типа предстают как коммуникативно насыщенные высказывания. Например: «*They can't attack any other country until they finish with us and they can never finish with us... These people! will fight forever if they're well armed. No, you must not expect victory here, not for several years maybe. This is just a holding attack*» (E. Hemingway).

Все сложноподчиненное предложение распадается в этом случае на состав темы и два состава ремы, причем отдельным тема-рематическим отношением характеризуется только препозитивное главное предложение. В качестве его темы выступают именные формы, а исходным пунктом ремы высказывания являются личные формы глагола.

Зависимый характер придаточного звена отражается в актуальном членении первого уровня. Здесь отсутствует членение внутри постпозитивного предложения, которое предстает в качестве цельной характеристики или обоснования действия, выраженного в главном предложении. Тем самым подчеркивается отсутствие функционального равновесия элементарных предложений при сохранении высокой коммуникативной значимости придаточного в постпозиции. Схема актуального членения таких высказываний имеет вид: $T_{гл. ч.} - R_{гл. ч.} - R_{пр. ч.}$, где тема представлена именной частью препозитивного главного предложения. Границы ак-

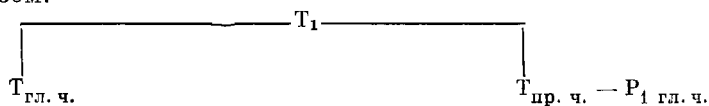
² О других случаях коммуникативного использования обстоятельственных сложноподчиненных предложений см. [16].

туального и структурного членения в этом случае не совпадают. Определяющим фактором, обуславливающим несовпадение границ, является контекст.

Части сложноподчиненных предложений, на базе которых формируются высказывания со сложной ремой, характеризуются признаком коммуникативной автономности, которая заключается в их способности реализовать определенную цель высказывания и выступать в качестве информационного центра сообщения. Отличительной особенностью высказываний такого типа является то, что рематическое придаточное предложение, которое носит присоединительный характер, может быть выделено в результате парцелляции. Эта возможность отражает сдвиги функциональной перспективы и является следствием ослабления синтаксической связи элементарных предложений. Высказываниями со сложной ремой становятся чаще всего сложноподчиненные предложения с постпозитивными придаточными причины, условия, уступки, образа действия.

Сложным составом темы характеризуются высказывания, образованные на основе сложноподчиненных предложений с интерпозитивным придаточным. При этом основная коммуникативная нагрузка приходится на главное предложение, которое распадается на состав темы и состав ремы. На границе между темой и ремой главного предложения находится интерпозитивное придаточное предложение, которое содержит дополнительные сведения об антедеденте, максимально сближается с ним и образует сложный состав темы высказывания. Например: «It was Otto Silenus's first important commission... Professor Silenus — for that was the title by which this extraordinary young man chose to be called — I was a «find» of Mrs Beste — Chetwynde's. He was not yet very famous anywhere, though all who met him carried away deep and diverse impressions of his genius» (E. Waugh).

Подчиняющее предложение в данном случае двусоставно, т. к. на первом уровне актуального членения имеет и тему, и рему, в то время как придаточное односоставно. Оно входит в тематическую сферу высказывания, а в качестве его ремы выступает постпозитивная часть главного предложения, следующая за интерпозитивным придаточным. Границы актуального и структурного членения, таким образом, здесь не совпадают. Схематически актуальное членение такого типа можно выразить следующим образом:



Комплекс «состав темы главной части + придаточная часть» образует сложный состав темы высказывания и противопоставляется остальной части подчиняющего предложения, которая снимает коммуникативное «напряжение», возникающее в пределах тематической части.

В тех случаях, когда основа и исходный пункт высказывания не совпадают, целесообразно ввести разграничение темы и антемы (предтемы), которая представляет собой психологическое подлежащее в чистом виде и определяется начальной позицией в сообщении [1, с. 111]. Например: «He had escaped that. But it felt like a sentence, not a pardon. By midday, when he had driven a third or so of the two hundred and fifty miles to Paris, I had still not recovered. All but the automation who drove down the endless miles of route nationale remained at Goet» (J. Fowles).

Интерпозитивное придаточное предложение максимально сближается с контактной группой обстоятельства времени главного предложения,

уточняя, дополняя заключенное в нем содержание, в сущности, дублируя его синтаксическую функцию. Вследствие этого их можно считать синтаксическими синонимами. Мы рассматриваем обстоятельство времени, открывающее сложноподчиненное предложение, как антитему, поскольку оно вводит более широкое смысловое понятие, а следующее за ним интерпозитивное придаточное предложение — как тему, т. к. оно суживает, ограничивает предмет сообщения до данного высказывания. Тогда схема актуального членения приобретет вид: АТ — Т — Р. Антитема выражена обстоятельством времени включающего главного предложения, тема — интерпозитивным придаточным времени, а рема — составом главного предложения без открывающего его обстоятельства времени, который несет основную коммуникативную нагрузку и реализует цель высказывания.

Своеобразие динамического построения сложноподчиненного предложения обуславливает наличие у него комплекса средств формального выражения актуального членения. Можно указать на следующие критерии, позволяющие выявить компоненты информационной структуры:

1) Порядок расположения элементарных предложений относительно друг друга. Постпозиция является, как правило, одним из средств выражения ремы, а препозиция часто указывает на то, что соответствующее элементарное предложение выступает в качестве исходного момента коммуникации и образует тематическую сферу высказывания. Вхождение интерпозитивного придаточного предложения, являющегося носителем дополнительной информации, в тот или иной компонент высказывания определяется тем, какую часть главного предложения оно определяет. В одном случае оно образует с ней сложный состав темы, а в другом — сложный состав ремы. Однако нужно признать, что порядок следования частей сложноподчиненного предложения не является универсальным критерием его актуального членения.

2) Тип связи, на основе которого объединены части сложноподчиненного предложения. В нерасчлененных структурах, образованных на основе соотносительного типа подчинения, связь носит предсказующий характер. Такие структуры образуют монофункциональные высказывания, с объективным порядком следования компонентов актуального членения, при совпадении границ актуального и структурного членения.

В расчлененных структурах, в основе которых лежит комплетивный тип связи, соединение элементарных предложений носит непредсказуемый характер. В этом случае распределение коммуникативных нагрузок не подкрепляется показателями статического аспекта, и определяющая роль в выявлении компонентов актуального членения принадлежит контексту. На базе расчлененных структур всегда образуются полифункциональные коммуникативные единицы.

3) Употребление того или иного союза, осуществляющего связь между элементарными предложениями. Особенно ярко это проявляется на примере причинных подчинительных союзов. Так, постпозитивные придаточные предложения, вводимые союзами *because, for*, всегда входят в рематическую часть высказывания, а придаточные с союзами *as, since*, для которых возможна лишь препозиция, образуют тематический зачин. На базе временных сложноподчиненных предложений с союзом *while*, также предложений следствия с составным союзом *so that* образуются только такие высказывания, которые отмечены двуплановым характером функциональной перспективы, отражающей функциональное равновесие составляющих предикативных звеньев.

4) Синсемантика препозитивной части сложноподчиненного предложе-

ния. Этот процесс ведет обычно к выделению элементарного звена, находящегося в постпозиции. Синсемантический характер препозитивного предложения может быть следствием его структурной незавершенности, показателями которой выступают союзы, корреляты, прилагательные и наречия в сравнительной степени, глаголы с нереализованной валентностью, формы сослагательного наклонения, требующие обязательного восполнения постпозитивным предложением. Синсемантия препозитивного главного предложения при его структурной завершенности может быть обусловлена более гибким фактором — контекстуальным. Препозитивное придаточное предложение может образовывать только выделенную рему.

5) Особенности распределения коммуникативных нагрузок в сложноподчиненном предложении в значительной степени определяются также средствами актуального членения, имеющимися у простого предложения: порядком слов внутри элементарных звеньев, артиклем, конструкциями с выделяющим рему оборотом, формами пассивного залога, средствами отрицания, усилительными частицами и модальными словами.

Все критерии актуального членения связаны друг с другом и проявляются в тесном единстве, поэтому для проведения объективного анализа необходимо опираться на весь арсенал средств, которые по-разному соотносятся на различных уровнях актуального членения. На высшем уровне главенствующая роль принадлежит средствам, специфическим для сложноподчиненного предложения, а на низшем уровне определяющими оказываются средства из арсенала простого предложения.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Слюсарева Н. А.* Проблемы функционального синтаксиса современного английского языка. М., 1981.
2. *Слюсарева Н. А.* О проблемах функциональной морфологии (на материале языка аналитического типа — английского). // ИАН СЛЯ. 1983. № 1.
3. *Страхова В. С.* О коммуникативном аспекте сложноподчиненного предложения // Язык и коммуникация: Сб. науч. трудов МГПИИЯ им. М. Тореза. 1977. Вып. 24.
4. *Хованская Э. И.* Категория связности и смысловое развертывание коммуникации // Лингвистические проблемы текста: Сб. науч. трудов МГПИИЯ им. М. Тореза. 1980. Вып. 158.
5. *Гальперин И. Р.* Текст как объект лингвистического исследования. М. 1981.
6. *Белошапкина В. А.* О понятии «формула предложения» на уровне синтаксиса сложного предложения // Единичи развух уровней граматического строя языка и их взаимодействие. М. 1967.
7. *Перепеченко Г. П.* Структурно-коммуникативные типы многозвенных сложноподчиненных предложений в современном английском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1973.
8. *Švoboda A.* Hierarchy of communicative units and fields as illustrated by English attributive construction // *Brno studies in English*. 1968. V. 7.
9. *Крылова О. А.* Понятие многоуровневости актуального членения и некоторые синтаксические категории (сочинение, подчинение, обособление, присоединение) // ФН. 1970. № 5.
10. *Матезиус В.* О так называемом актуальном членении предложения // Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
11. *Patek V.* Super-syntax as a potential typological parameter // *Travaux linguistiques de Prague*. 1971. V. 4.
12. *Золотова Г. А.* Роль ремы в организации и типологии текста // Синтаксис текста. М., 1979.
13. *Николаева Т. М.* Актуальное членение — категория грамматики текста // ВЯ. 1972. № 2.
14. *Хэллидей М. А. К.* Место «функциональной перспективы предложения» /ФПП/ в системе лингвистического описания //Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8 М., 1978.
15. *Николаева Т. М.* О функциональных категориях линейной грамматики //Синтаксис текста. М., 1979.
16. *Кормановская Т. И.* Сложноподчиненное предложение как единица коммуникативного синтаксиса (на материале современного английского языка): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1983.

ИСАЧЕНКО-ЛИСОВАЯ Т. А.

**НОМОКАНОН С ТОЛКОВАНИЯМИ ВАЛЬСАМОНА В ПЕРЕВОДЕ
ЕВФИМИЯ ЧУДОВСКОГО (КОНЕЦ XVII В.).**

Особенности языка и перевода

Статья посвящена изучению языка одного из интереснейших памятников конца XVII в. — так называемой Русской Кормчей V редакции и ее списков, стоящей за ней лингвистической традиции и школы перевода, а также общих особенностей развития языка второй половины XVII в.

Кормчие являются важнейшими памятниками средневекового правового сознания — одной из ведущих сфер общественного сознания в целом. Лингвистический анализ Кормчих книг может рассматриваться как необходимый этап и необходимый инструментарий к познанию соответствующих реалий.

Охватывая достаточно широкий диапазон понятий и явлений, относящихся к жизни и укладу средневекового общества, Кормчие дают обширный материал в языковом, и прежде всего, в лексическом отношении — с точки зрения процесса формирования русского литературного языка, возникновения терминологических систем философии, права, церковного права, выявления историко-лексикологического ресурса данного жанра для словарных и лексикологических работ.

Эпоха никоновской sprawy и последующие десятилетия XVII в. отмечены в русской культуре возрастающим интересом к проблемам текста, герменевтики и перевода. Это связано как с общими трансформационными процессами в структуре общества и общественного сознания, с поиском и выбором путей дальнейшего развития национальной культуры и национального языка, так и с частными, но определяющими обстоятельствами: воссоединение Украины с Россией, распространение в Москве «латинствующей» (киево-могилянской) учености, начавшаяся европеизация правящих кругов, обильное поступление новых источников как с Запада, так и с Востока, из монастырей и хранилищ Афона, Синая, Иерусалима [1]. Неудивительно, что справщики и переводчики никоновской и иоакимовской поры (1650—1690 гг.) активно обращаются к наиболее важным в идеологической практике текстам с попытками осуществить новый их перевод или новую редакцию, максимально приближенную к нуждам злободневной полемики и отвечающую синхронному состоянию языкового сознания. В 1674—1676 гг. под руководством Епифания Славинецкого (ум. 1676 г.) осуществляется новый перевод Евангелия, в 1678 г. заново переводится Апостол [рукописи Синодального, греческого собрания Государственного Исторического музея (ГИМ) под № 472, 473]. При этом греческий язык утрачивает свое монопольное значение как первоисточник текстов традиционного содержания. Один за другим появляются первые библейские переводы с польского: книга Иова, переведенная Моисеем Чудовским в 1671 г., Рифмотворная Псалтирь Симеона Полоцкого (1680 г.) и Псалтирь Авраамия Фирсова (1683 г.) [2].

В постоянной полемике и конкуренции с ширящимся потоком европейских переводов и соответствующих школ переводов [3] возникает и

активизирует свою деятельность чудовская (еллино-словенская) школа, во главе которой стоит все последующее время после смерти Славинецкого «последний поборник греческого учения в Москве» иеромонах Евфимий Чудовской [4].

Ученик Епифания Славинецкого, связанный, возможно, с ртищевской школой, Евфимий упоминается в качестве справщика Печатного двора, начиная с 1652 г., с перерывами — до 1690 г. При его непосредственном участии готовились к изданию: Ирмологий (1654), Скрижаль (1656), Требник (1658), Пролог (1659—1660), Чинovníк архиерейского священнослужения (1677), Устав (1682), Служебные Миней (1683).

Евфимий — переводчик важнейших идеологических трактатов. Ему принадлежат переводы трудов Дионисия Ареопагита (1675), Адриатиса Иоанна Златоуста (1678), Исповедания Петра Могилы (1685, изд. 1696) и мн. др. Он участвует в упоминавшихся работах по исправлению Библии (1674—1676), известен как автор оригинальных сочинений, преимущественно полемического содержания. В целом характер этих сведений подтверждает мнение А. В. Горского и К. И. Невоструева о Евфимии как об одном из наиболее интересных деятелей эпохи: «Для истории последних патриархов всероссийских необходимо знать, сколько новых переводов трудами этого инока и его школы приготовлено было к изданию и какое участие принимал он во всех вопросах церковных своего времени» [5, 1862, II/3, с. VII].

Среди многочисленных его переводных и оригинальных сочинений [5, 6] видное место занимают труды по новому переводу византийского канонического кодекса (окончательный вариант: 1693—1696 гг.). Они и являются непосредственным объектом данной публикации.

Ядром вновь созданной редакции стал новый перевод византийского канонического памятника — так называемого Фотиева Номоканона в XIV титулов [7] с не переводившимися ранее на Руси толкованиями Феодора Вальсамона [8]. Это позволяет выделить особую, V редакцию Русской Кормчей, и называть ее Евфимиевской по имени создателя. Систематическая часть — собственно номоканон — содержится в двух рукописях Синодального собрания Отдела рукописей ГИМ: Син. 475 и Син. 223. Хронологическая часть — полный текст правил с построчным комментарием — соответственно в списках Син. 464 и Син. 224—225 (Т. 1—2). Свообразным приложением к своду являются отдельно выполненные переводы: Апостольских постановлений (Зачинений) Климента Римского (Син. 474, 92), Синагмы Матфея Властаря (Син. 226), а также переписанный Евфимием Чудовским перевод «Епитом или Сокращений» Константина Арменуцула, выполненный в 1656 г. Епифанием Славинецким (Син. 129).

Время работы над переводом определяется из записи Евфимия в конце рукописи Син. 464: «сщная книга сїя каноны стыхъ апсль, и стыхъ селенскихъ и мѣстныхъ синодовъ и различная посланїя и словеса каноническая... съ толкованми изящнѣйшими и пространными бгомудраго стѣшаго Феодора валсамона патрїарха антїохїйскаго преведеса съ греческа на славенскїи дїалектъ в' прствующемъ великоградѣ Москвѣ въ обители великаго архїстратїа мїхаїла и великаго архїерея алеѣїя митрополїта, зовемѣи чудовѣ, в' лѣто (1691), мсца іюня въ 3ї (17) днѣ» (л. 849об). На поле, рядом с процитированной записью добавлено: «начаса преводитися ...по блсвенїю стѣшаго іоакїма патрїарха всероссїйскаго»,

а совершился при свѣтѣшемъ адриѣнѣ патрїарсѣ», т. е. речь идет о конце 80-х — нач. 90-х гг.

Кодикологическое и лингвистическое изучение рукописей Син. 475, Син. 223 позволяет внести ряд существенных уточнений в археографическую историю памятника. Прежде всего мы можем указать на две группы рукописей, одна из которых является хронологически старшей. Анализ показывает, что 1) обе выделенные группы связаны с последовательными стадиями работы Евфимия над созданием нового перевода Кормчей и отражают две редакции этого перевода; 2) рукописи младшей группы не восходят, как считалось прежде [9—11], ко времени Епифания Славинецкого и не могут быть атрибутированы последнему.

Исследование списков первой редакции (к ней относятся рукописи форматом в 4°, переписанные, согласно пометам Евфимия, не позже 1690 г. — Син. 465, в 1691 г. — Син. 464 и в 1692 г. — Син. 475 г.) выявило два основных почерка, в соответствии с которыми тетради названных рукописей делятся на черновики Евфимия и переписанные рукой, по-видимому, Флора Герасимова авторизованные чистовики этого перевода. К черновикам-автографам относятся тексты: Правила VII Вселенского Собора (Син. 465), Указатель к Номоканону (Син. 475, л. 1—11), Изказаніе о сщєнныхъ и бжественныхъ канонѣхъ (Син. 464, л. 4—5). Идентификация почерка произведена на основании сличения названных текстов с достоверно принадлежащими его руке предисловием к Сокращениям К. Арменопула и некоторыми другими текстами в составе Погодинского сборника (ГПБ, Пг. 1963, л. 125—126; л. 127—128).

Расхождения текста Евфимиевского (Евф.) перевода с текстом Первопечатной Кормчей (ПК) позволяют выявить различия в составе оригинала, которым мог пользоваться переводчик при работе над текстом.

В плане текстологии перевод Евфимия оказывается, как правило, ближе к древнеславянской редакции, значительно расходясь с сербской. Причины этого, кажется, ясны. Дело в том, что перевод Евфимия восходит, как и перевод Ефремовской Кормчей (Ефр.), к полному тексту правил, тогда как Рязанская Кормчая (Ряз.) восходит к Синописису Аристина, т. е. правила в ней даны в сокращении и, местами, в пересказе. К тому же греческий оригинал Светосавской Кормчей, лежащей в основе Рязанского списка, не известен.

Нет полной гарантии, что он вообще существовал, хотя такая возможность и признается большинством исследователей. Но мы не знаем подлинного объема работы над Кормчей, осуществленной на Афоне Саввой Сербским (ум. 1237 г.) или другим, заслоненным им славянским компилятором. Вопрос о промежуточных стадиях в истории так называемой Сербской редакции остается на сегодня открытым.

Дополнительного исследования требует вопрос: обращался ли реально Евфимий к каким-либо спискам Кормчей Ефремовского типа (кстати, наиболее реальным для него было бы, видимо, обращение к Ефремовскому списку — Син. 227)? В принципе, схождения Евфимиевской Кормчей с Ефр. вполне объяснимо просто точным следованием переводчика греческому оригиналу, общему для обоих переводов, тем более что древнеславянский перевод также является в системе своей пословным.

На то, что Евфимий мог справляться и с другими авторитетными для него источниками, указывает запись в конце предисловия к рукописи Син. 464: «сія книга бжєннаго теодора валсамона совершенною истолковавшаго все сщєнныя каноны (и книга бжєннаго монаха ѳанна зо-

нара) (скобки Евфимия. — И.-Л. Т.), колико нужна в' наученіе священныхъ, и въ исправленіе исповѣдающихся. и потребна еже имѣти ю дховникомъ, сказуетъ («кто-то», не сказано кто. — И.-Л. Т.) в книзѣ номоканонѣ собранномъ в' стѣи горѣ афонствѣй бгдохновенными ѿцы: кко не имѣяи сихъ книгъ, не поставляется еспь или іерей, паче же дховникъ» (л. 11). Данная запись помогает нам прояснить два обстоятельства. Первое — то, что, говоря о книге, без которой не поставляется ни епископ, ни иерей, ни духовник, Евфимий ссылается на книгу, «созданную в святой горе афонстей», однако имеет в виду не Светосавскую Кормчую, не Вальсамона, ни даже древний Постников Номоканон. Очевидно, речь здесь может идти лишь о позднем Епитимийникѣ (Номоканон при большом Требнике), а это показательно в плане выявления традиции, которой мог следовать переводчик (ср. украинские издания Малого Номоканона Памвы Беринды и Захария Копыстенского 1620 и 1624 гг.).

Второе — то, что объединяя имена Вальсамона и Зонары, Евфимий этим указывает на имеющийся перед ним греческий оригинал, в котором помещены толкования одного и другого канониста. И действительно, историкам известна комбинация подобного рода. Она встречается в девяти рукописях, отмеченных в работах Цахарие [12].

Исходным текстом для Евфимия на первой стадии работы было одно из парижских изданий Номоканона с толкованиями Вальсамона (1615, 1620, 1661 гг.), с возможным дополнительным обращением к хранившейся в Успенском соборе рукописи Богородицких правил греческого письма, появление которой на Руси связывают со временем митрополита Фотия (ум. 1431 г.).

Что касается непосредственного источника, использованного при создании второй, переработанной редакции (Син. 223—225), он может быть назван точно. Изучение текстов, а также предисловий переводчика в контексте прочих исторических свидетельств не оставляет сомнений в том, что Евфимий обращался к классическому двухтомному изданию Беверегия (Оксфорд, 1672).

Говоря об источниковой базе Евфимия, о рукописях и изданиях, содержащих греческий текст Номоканона Фотия с толкованиями Феодора Вальсамона, нельзя не учитывать также русские источники, предположительно находившиеся в руках переводчика — в том числе сохранившийся лишь частично (а может быть, и осуществленный лишь частично) перевод Максима Грека. В конце Син. 464 текстов сопровождается пометами: «сіе написася из маѣіма грека и из арменопола» (л. 841об) и «сіе до конца из маѣімова преводу грека» (л. 846). Последнее имеет важное методологическое значение. Примыкая, даже если чисто декларативно, к традиции Максима Грека в плане историко-каноническом, писатель тем самым сознательно относит себя к определенной традиции и в плане языковой и переводческой практики.

Систематизация выявленных различий текстологического характера полностью подтверждает выводы о различии оригиналов Евф. по сравнению с бытовавшими в XVII в. на Руси Кормчими древних переводов. В приведенных ниже примерах чтения Евфимиевской Кормчей и их греческие соответствия сопоставляются с Ефремовской Кормчей и соответствующими чтениями ее греческого источника. Греческий текст цитируется нами по изданию Радлиса и Потлиа [13], с сохранением принятых в нем обозначений для предшествующих изданий: Гервета 1561 г. (°E), X. Юстеля 1615 г. (°I), Велля и Г. Юстеля 1661 г. (°B), Вильяма Бевере-

гия 1672 г. (Вѣспр), а также по рукописным Vallicelliani F. 47, F. 10 (X в.— V) Patiniaci 172, 173 (вторая пол. IX в.— P) и Vindobon. hist. gr. 56 (XI в.), разночтения из которых параллельно Ефр. приведены В. Н. Бенешевичем в издании Древнеславянской Кормчей 1906 г.

В ряде случаев 1) текст Евф. согласуется с чтениями обоих греческих изданий (‘Е, Вѣспр), однако отличается от протографа древнеславянского перевода (V; P) дополнениями, приписанными на полях: подобаеъ защищати немощныя блженно мнящымъ еже даяти (глосса: неже емляти) VII.4, что соответствует ‘Е, Вѣспр: μαχαρίου ἡγουμένους το διδόναι, ἢ λαμβάνειν. Тогда как в Евф. и в рукописях V, P имеем: блажено изволѣвъ дакти и — соответственно, μαχαρίον ἡγούμενος τὸ διδόναι; 2) в других случаях восхождение к разным спискам греческого протографа подтверждается перестановкой отдельных слов в Евф. в сравнении с Ефр.: и ѿ клира или земледѣлателя кунити кнѣзь село VII, 12 = ‘Е, Вѣспр: ἐκ τοῦ κληρικοῦ ἢ τοῦ γεωργοῦ ἀνήσχηται ἀρχὸν τὸν ἀργόν. Тогда как в Евф. и P обратная последовательность: развѣ дѣлателя и клирика искоупити кнѣзь село ... = P, ἐκ τοῦ γεωργοῦ ἢ τοῦ κληρικοῦ; 3) часть разночтений свидетельствует о различии печатных греческих источников, которыми пользовался Евфимий на разных стадиях работы над переводом Кормчей (редакция, связанная с рукописями Син. 464, 465, 475, с одной стороны, и дополненная, переработанная редакция 1693—1696 гг. — рукописи Син. 224—225 — с другой стороны). Иными словами, речь в данном случае идет о различиях, заключенных в списках и изданиях греческого протографа. Например: великїи γβω васїлїи въ аскитскихъ своихъ канонѣхъ (исправлено: главизнах) γставляетъ.... VII, 21, толкование = ‘Е: ὁ μέγτε μεγάς Βασίλειος ἐν τοῖς ἀσκητικοῖς αὐτοῦ κανόσι διορίζεται...; Вѣспр: ἐν τοῖς ἀσκητικοῖς αὐτοῦ κεφαλαίοις διορίζεται; или другой пример: в’ последней воли (вариант: в’ последнѣмъ завѣщанїи) 2, 1, толкование, Син. 475 = ‘Е: βουλήσει; Вѣспр: διατοποσει.

Таким образом, что касается разночтений списков первой и второй выделенных групп, то они демонстрируют то различие, которое существует, с одной стороны, между текстами, лежащими в основе изданий Гервета и Юстелля (1561: ‘Е и 1615: ‘I), с другой — между ними и изданием Бевергия (1672: Вѣспр).

Интерес также представляют разночтения Евфимиевской Кормчей с чтениями Кормчих славянских редакций, не связанные с разночтениями греческих источников. В целях выяснения языка и перевода исследуемого памятника представляется целесообразным провести сопоставление Евф. (I) с параллельными чтениями Ефр. (II) и Ряз. (III):

(I)	(II)	(III)
4.4. еже подобати свѣ- щаемыми възвѣщати вѣрѣ	яко подобаеъ просвѣщеннымъ въз- вѣщати вѣру	яко подобаеъ крѣпящимъсѧ поучатисѧ исповѣдати вѣрѣ

греч. περὶ τοῦ χρῆσαι τοὺς φωτισμένους παραγγέλλειν τὴν πίστιν

6.2. о ѿемлющихъ ѿ цркви воскъ или елей	и о прїмающихъ ѿ цркви свѣщс или масло	ω вземлющихъ нѣчто ѿ цркви їлї воскъ їлї темькнѣ їлї масло ї ω живущихъ в снцѣ мкстѣхъ ї сѣгрѣшающихъ
---	--	--

греч. καὶ περὶ τῶν λαμβάνοντων ἰπὸ ἐκκλησίας κηρὸν, ἢ ἔλαιον.

На основе проведенных сопоставлений могут быть сделаны следующие предварительные выводы.

1. Обращает на себя внимание частотность лексических заимствований из греческого языка на месте древних калек. Как правило, это лексемы терминологического характера: *кльрикъ* вм. *причетникъ*; *маги* вм. *еълси*; *потіръ* вм. *чаша*; *сунагога* вм. *сборище*; *снодъ* вм. *соборъ*.

2. Значительный пласт разночтений Евф.—Ефр. составляют синонимические пары, оба члена которых описаны в исторических словарях (*анагема* — *проклатис*; *благодать* — *даръ*; *бракъ* — *женитва*; *достоинство* — *санъ*; *жизнь* — *животъ*; *нужда* — *бѣда* и мн. др.). Это позволяет ставить вопрос о специфике стилистического варьирования лексики в текстах XVII в. В частности, синонимические замены типа *одежда* вм. *риза*, *слоуга* вм. *служитель*, *прощеніе* вм. *простынь*, *сундукъ* вм. *ковчегъ* свидетельствуют о тенденции, даже у традиционалиста Евфимия, к демократизации (и секуляризации) лексики, вытеснению устаревших или изменивших стилистическую окрашенность древнеславянских слов.

3. Может быть выделен ряд случаев, когда переводчик, не предлагая новых вариантов, примыкает к чтениям ПК, несмотря на отрицательное в целом отношение к ней: а) ПК, в отличие от древнеславянского перевода, употребляет лексические грецизмы, они, как правило, сохраняются в новом переводе (*запръитенеѣ* — Ефр., *епітімія* — ПК = Евф.; *попъ* — Ефр., *презвитеръ* — ПК = Евф.); б) переводящий термин ПК не соответствует древнеславянскому по морфологическому облику, переводчик XVII века принимает морфологический вариант лексемы из ПК: *плодоносіе* — Ефр., *плодоношеніе* — ПК = Евф.; *чищеніе* — Ефр., *очищеніе* — ПК = Евф. Та же закономерность наблюдается в ситуации, когда речь идет о суффиксировании в Ефр. славянским формантом заимствованного греческого корня: *дикащица* — Ефр., *дѣаконісса* — ПК = Евф.

Сознательная ориентация на терминологичность переводящего слова заставляет Евфимия становиться на путь создания новых сложений, точно калькирующих оба элемента соответствующего греческого слова: *казити*, *обрѣзати* (Ефр.) — греч. *ἀκρωτηρίαζω* — *краерѣзати* (Евф.); *помощь* (Ефр.) — греч. *πρόσχασία* — *предстательство* (Евф.); *чтеніе* (Ефр.) — греч. *ἀνάγνωσις* — *прочитаніе* (Евф.).

Изучение словообразовательных моделей, активно используемых переводчиком, позволило выделить некоторые регулярные соответствия в грамматическом оформлении переводящих лексем:

последовательная передача греческих приставок соответствующими славянскими (*ἀνα-κρίνεισθαι*: *возъ-суждати*; *ἀνα-φέρειν*: *возъносити* etc; *κατα-χολοῦθειν*: *по-сѣловати*; *κατ-επιγούσασθαι*: *по-нуждающую* etc; *προσ-εδρεῖσθαι*: *при-сѣдѣти*; *προσ-φορά*: *при-нось* etc). Такая же регулярность наблюдается в передаче греческих префиксальных *ἐκ-*, *προ-*, *συν-*, *υπο-* и др. Частотный для философско-теологической лексики компонент *εὐ-* стандартно переводится *благо-*;

продуктивная модель конструирования переводящих терминов с суф. *-ство*. Среди последних немало традиционных образований, таких как *буйство*, *дѣтство*, *началство*, *общество*. Другая группа лексем — *костырство*, *шпынство*, *шутство*, *щапство* — носит как будто западно(южно)русский характер. Самый большой разряд составляют новообразования переводчика: производные от греческих основ (*επισκοπство*, *ἱκονομство*, *κυρατορство*), а также избыточные, не всегда мотивированные синонимы к старым славянским терминам (*преротство* «клятвопреступление», *распружество* «развод» и др.);

активность глагольных (и атрибутивных глагольных) форм с суффиксирующим формантом *-ств-*: *годствовати*, *догматствовати*, *игуменствовати*, *народствовати* и мн. др.

Особенно любопытны случаи, когда суффиксальный элемент *-ств-* и/или другие славянские форманты присоединяются непосредственно к греческой основе, оставляемой переводчиком без изменения. Тогда получаются «еллинословенские» слова-кентавры, такие как: (а) вышеуказанные существительные типа *кѹраторство*; (б) глаголы типа *канонствоватися* «руководствоваться правилами», *литургийствовати* «служить литургию» etc; причастия — *демонствѹющийся* «беснующийся» (исконно славянское *бесъ* заменено здесь в корне греческим *демонъ*), *клирїчествѹемый* «посвящаемый в клир»; *саватствѹющий* (ср. *соуботьствежѹишти* в Ефр.) и т. п.

Тенденции поморфемного перевода, определяющей своеобразие переводческой манеры Евфимия, может быть дано несколько объяснений. Во-первых, как свидетельствует история славянских переводов, поморфемный перевод применялся в случаях, когда переводчик не мог найти для греческого слова близкого по смыслу ему славянского, т. е. при расхождении культур. Как пишет, ссылаясь на К. Шумана, Е. М. Верещагин, «словообразовательные кальки характерны для следующих тематических областей: христианское вероучение, церковь, богослужение, церковные праздники, новое государственное и общественное устройство, право, нравственные отношения и т. д.» [14]. Легко видеть, что область церковно-канонической и юридической терминологии, с которой сталкивался Евфимий при осуществлении нового перевода византийского Номоканона, как раз и принадлежит выделенной выше сфере «расхождения культур». Более того, даже спустя два века после Евфимия, в пору расцвета русско-канонического права, переводчик «Номоканона» Фотия в XIV титуле с толкованиями Вальсамона В. А. Нарбеков, признавая несовершенство выполненного им перевода, писал: «... в свое извинение можем сослаться на трудность средневекового византийского текста и крайнюю по местам сжатость в изложении гражданско-византийских законов, нередко переполненных искусственными юридическими терминами, так что часто без спесения сжатых формул Вальсамонова текста и текста Номоканона с более широким уложением параллельных гражданских законов, а также без ученых комментариев нельзя бывает и понять их смысла...» [8, с. IX].

В гораздо большей степени те же трудности в передаче архиусложненной византийской терминологии стояли в XVII в. перед не имевшим специальной юридической подготовки справщиком Евфимием. В этом смысле следует признать, что используемый им прием поморфемного калькирования был, возможно, в ряде случаев оптимальным способом конструирования терминов, зачастую весьма далеких от русской жизни, ее культурной и юридической традиции.

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что Евфимий в своей переводческой практике строго следовал системе пословного перевода, с одно-однозначным соответствием переводимых и переводящих лексем, с поморфемным калькированием терминологической и общенаучной лексики, с сильно выраженной тенденцией к «грецизации» на всех уровнях результирующего текста.

На уровне лексики данная тенденция реализуется в обильном и не всегда мотивированном притоке иноязычных слов: *ваптисмата* вм. *погруженїя* Апс. 50; *виматъ* вм. *судъ* Апс. 74, толк.; *вревїя* вм. *книга*; *кїніксія* вм. *күтія* Апс. 4, толк.

На уровне синтаксиса это выражается в элементах греческого управления, греческой структуры фразы: (1) еще и даже до нѣтъ нѣдѣи архіереєвъ в' монашескѣи низходяще образ и т. д. — Соф. 2, Син. 464, л. 339 об = греч. *εἰ καὶ μέχρι τοῦ νῦν ἔνιοι τῶν ἀρχιερέων εἰς τὸ τῶν μοναχῶν κατιόντες σχῆμα* [13, т. 2, с. 707]; (2) понеже нѣдѣи клирикѡвъ презирающе каноническое зачиненіе... VII, 10 — греч. *ἐπειδὴ τινες τῶν κληρικῶν...*

На уровне акцентологии переводчик следует греческой системе ударений в заимствованных словах — и прежде всего в ономастическом лексическом слое: *κὴ ρῖλλα* — *Κόριλλος*; *Κυρίλλα* — *Κυρίλλου* VI, 1, л. 135 об; *Φίλιπα* — *Φίλιππον*; *Νικάνора* — *Νικάνορα*; *Παρμενά* — *Παρμενῶν* *Никѡлаа* — *Νικόλαον* VI, 16; *Пѣтра* — *Πέτρον* VII, 1.

На уровне орфографии наблюдается сильное влияние так называемого «гречизирующего» начерка (ср. [15]), переходящего места в пографемное воспроизведение облика заимствующего слова: *αξιωματѣ*, *βακχευματα*, *συλλογιστωвати*, *ταξѣωтъ*, *επισκοπεиѣтъ*; иногда с добавлением к греческой корневой морфеме славянских флексий: *αξιωματѣѣхъ* (м.р., мн.ч., м.п.), *επωркии* (ж.р., ед.ч., род.п.), *εμδαγκипатѡны* (м.р., мн.ч., им.п.); *спадѡны* (м.р., мн.ч., им.п.). О принципиальной значимости графического оформления слов и о смысловой нагрузке каждого соответствующего написания Евфимий специально писал в своем программном трактате 1692 г. «О исправлениях в преждепечатных книгах минеях» (ркп. ГИМ, Чудовское собрание, № 286; опубликован К. Т. Никольским в 1896 г. — [16]). Он обращает внимание на различное семантическое наполнение слов *θεος*, написанное через *ѣ* («змея») и *θεος*, написанное через *ѡ* («бог»), *миръ* через *и* и *мѣръ* через *ѣ* («космос» — «мир. свет»). Смыслоразличительное значение графем *и* и *ѣ* сохранялось, как известно, в русском литературном языке вплоть до начала XX в. и было реализовано, например, в противопоставлении названий романа Льва Толстого «Война и мир» и поэмы Вл. Маяковского «Война и мѣръ» [17].

Иногда Евфимий затрудняется в определении падежа заимствованного существительного — это находит отражение в заменах типа: *стыл архисмы* — *стаѡ хрисма*, здесь же наблюдаем колебания в написании букв.

Встретившиеся при изучении рукописей Евфимиевской Кормчей ошибки перевода могут быть классифицированы следующим образом.

Одну группу образуют ошибки, связанные с неверным прочтением исходной греческой лексемы (типа классической «райской пицци» и «огненного родства» — по ассоциации *γένεσις=γενής* [18, III, стлб. 139]: греч. *ἀκοινωνήτως* «не имеющий общения» Евфимий переводит словом *неправильнѡ* и далее по зачеркнутому исправляет его на слово *неканонически*. По ходу мысли переводчика остается предположить, что основу *κοινός* Евфимий прочитал как *καών*.

Подобную ошибку следует видеть и в случае, когда греческий глагол *νομοθετέω* «внушать, увещавать» Евфимий переводит *узаконитѣ*, по всей видимости, спутав его с греч. *νομοθετέω* «узаконивать». При этом более правильным является отвергнутый переводчиком древний перевод *оувѣщевати*.

Другая группа ошибок связана с неуместным, а иногда неправильным этимологизированием греческих основ. Ограничимся двумя примерами. В двенадцатом правиле Двукратного (Константинопольского) Собора говорится о прерогативе епископа в назначении священников к домовым церквам. Перевод Евфимия дает чтение: *безжребійству ювленнѡ юкѡ*

в'мѣстнаго епископа тым ѿдану — л. 331. Странным термином *безжребийство* передано здесь греческое ἀποκλήρωσις «назначение». Происхождение этого неологизма становится ясным, если вспомнить обычную для автора процедуру терминообразования: приставку передавать приставкой, суффикс — суффиксом, корень — корнем. Тогда ἀπο-κλήρ-ωσις естественно даст русское соответствие *без-жребий-ство*. Значение греческого ἀποκλήρωσις «назначать по жребию» действительно восходит к κλήρωσις «бросание жребия». Лексикализация ἀποκλήρωσις в значении «назначать» остается не понятой переводчиком.

Еще более ярко это непонимание проявляется в дополнительном конструировании к этому месту глоссирующего термина *ѿклиричество* — по той же морфемно-калькирующей модели. Ни семы «клирик», ни семы «от» в исходном греческом термине нет. Это типичный образец того, как переводчик пытается толковать свои, неверно понятые и неудачно сконструированные переводящие термины с помощью других, еще более невнятных по смыслу и неприемлемых по форме.

Наконец, третью группу ошибок составляют случаи синонимического употребления калек с расходящимися в специальном употреблении семмами: *с'попущеніемъ* вм. *с'дозволенія* из греч. μετὰ προτροπῆς Апс. 52, толк. (ср. чтение Правил в переводе 1876 г. — [19]: но и пресвитеры с дозволения епископа принимают помышления людей); *призваніи* вм. *оувѣщаніи* из греч. παράκλησις Апс. 31 (ср. чтение Книги правил 1839 г. — [20]: по единомъ, и второмъ, и третіемъ оувѣщаніи ѿ епископа).

Перевод Евфимия в смысле следования букве, скованности структурного построения фразы, засоренности грецизмами, темноты может рассматриваться в одном ряду с худшими переводами Симеоновской эпохи, явившимися шагом назад в сравнении с свободными и творческими в отношении к оригинальному тексту переводами Кирилла и Мефодия и их ближайших учеников.

Ошибки обусловлены в одних случаях недостаточным владением языком оригинала, в других — чрезмерным буквализмом в системе перевода, в-третьих — невысоким уровнем переводческого искусства, приводящим при морфологическом калькировании к «дементализации» переводческой процедуры. Последнее находит выражение в своеобразной диалектике: сочетания буквализма — и прозаива в толковании переводимых терминов, языкового традиционализма — и безудержного новаторства в словообразовании и терминовтвочестве. Темперамент переводчика усугубляет до крайности отмеченные качества.

Вместе с тем следует еще раз подчеркнуть, что черты усложненности перевода во многом детерминированы как типологическими особенностями толковых редакций перевода памятников традиционного содержания [21], так и непосредственно характером византийского исходного текста.

Острая полемика по вопросу о переводах, их лингвистической и идеологической ориентации показательна для культурной истории Руси XVII в. «Еллинословенская» школа перевода Елифанія Славинецкаго — Евфимія Чудовскаго, противопоставленная «латинствующей» и «протестантствующей» школам, имела большее, чем обычно считается, значение в истории языка и отечественной филологии. Было бы неверно оценивать данное направление как однозначно реакционное и тупиковое. Скорее, историк языка имеет здесь дело с ярким примером нарушения линейности, одномерности языковых трансформационных процессов, со своеобразной турбулентностью, характерной для послениконовскаго и раннепетровскаго

го времени, безусловно заслуживающей дальнейшего внимания и изучения.

Выявленные факты жизни, деятельности и творчества Евфимия Чудовского, создателя Русской Кормчей V редакции, позволяют судить о нем как об одном из плодотворнейших и оригинальных авторов и переводчиков последней трети XVII в., своего рода ключевой фигуре в истории русского канонического права. Им кончается история развития древнерусских Кормчих и открывается ряд переводов и изданий «Книги правил» нового времени.

Тенденция к расширению социальной базы, секуляризации правового сознания Руси отражается на лингвистическом уровне как последовательная тенденция к модернизации, унификации, демократизации языка и особенно лексической системы Кормчих.

Характерные для переводческой школы Евфимия пословная соотнесенность текстов и структурный изоморфизм переводимых и переводящих терминов при общей для традиционалистов ориентации на кодифицированный церковнославянский язык, максимально приближенный к византийско-греческим образцам, сочетаются на практике с многообразием средств варьирования и словообразовательных моделей.

Проблема открытости лексической системы Евфимия, отношения его к неологизмам, прямым иноязычным заимствованиям, элементам просторечия, стилистическим архаизмам связана со стабилизацией норм русского литературного языка. Представляя результат сознательного языкотворчества, эксперимент Евфимия показателен и в целом для исканий русских книжников в области лексического состава языка, путей и источников его пополнения для нужд возникающих и развивающихся стилей и жанров — в том числе формирующегося языка научной (юридической) прозы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Фонкич Б. Л. Греческо-русские культурные связи в XV — XVII вв. М., 1977.
2. Исаченко-Лисовая Т. А. Псалтирь Авраамия Фирсова 1683 г. Особенности языка и перевода // ИАН СЛЯ. 1984. № 3.
3. Исаченко-Лисовая Т. А. Две школы московского перевода второй половины XVII века // Международный симпозиум по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии: Тезисы докладов. М., 1984.
4. Флоровский А. В. Чудовской инок Евфимий. Один из последних поборников греческого учения в Москве во второй половине XVII века // Slavica. 1952. Roč. 19.
5. Горский А. В., Невоструев К. И. Описание славянских рукописей московской синодальной библиотеки. Отд. I—III. М., 1855—1862.
6. Викторов А. Е. Опись библиотеки иеромонаха Евфимия // Летописи русской литературы и древности. Т. 5. Отд. 3. М., 1863. С. 50—56.
7. Бенешевич В. Н. Канонический сборник XIV титулов со второй четверти VII в. до 883 г. СПб., 1905.
8. Нарбеков В. А. Номоканон константинопольского патриарха Фотия с толкованиями Вальсамона. Ч. 1—2. Казань, 1899.
9. Митрополит Евгений (Болховитинов). Исторический словарь писателей духовного чина. 2-е изд. Т. 1. СПб., 1827.
10. Архимандрит Саваа (Тихомиров). Указатель для обозрения Московской Патриаршей (ныне Синодальной) библиотеки. М., 1858. С. 221.
11. Описание рукописей синодального собрания (не вошедших в описание А. В. Горского и К. И. Невоструева)/Сост. Протасьева Т. Н. Ч. 1. М., 1970. С. 100.
12. Zacharia von Lingenthal. Geschichte des griechisch-römischen Rechts. Berlin, 1877.
13. Παλλη Γ. Α. Ποτλη Μ. Σύναγμα τῶν θεῶν καὶ ἱερῶν κανόνων τῶν τε ἀγίων καὶ πατρῶν, ἡ ἀποστολῶν... Τ. 1—5. Ἀθήνησιν, 1852—1859.
14. Вережагин Е. М. Из истории возникновения первого литературного языка славян. Варьирование средств выражения в переводческой технике Кирилла и Мефодия. М., 1972. С. 46.

15. *Костюхина Л. М.* Книжное письмо в России XVII в. М., 1974.
16. *Никольский К. Т.* Материалы для истории исправления богослужебных книг (Об исправлении устава церковного в 1682 г. и месячных миней в 1689—1691 г.) // Памятники древнерусской письменности. Т. 115. СПб., 1896.
17. *Панов М. В.* О культурно-историческом подходе к орфографии // Исследование по славянской филологии. Сборник, посвященный памяти академика В. В. Виноградова. М., 1974. С. 248.
18. *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. I—III. СПб., 1893—1912.
19. Правила св. апостол, св. соборов, вселенских и поместных и св. отец с толкованиями. Вып 1—3. М., 1876.
20. Книга правил. СПб., 1839.
21. *Алексеев А. А.* Переводческое наследие Кирилла и Мефодия и его исторические судьбы. Песнь песней в древней славянской письменности: Автореф. дис... д-ра филол. наук. Л., 1984.

ЮДАКИН А. П.

ЦИКЛИЧНОСТЬ ЯЗЫКОВЫХ ПРОЦЕССОВ: РОЛЬ ГЕНИТИВА И НАРЕЧИЯ В СТАНОВЛЕНИИ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО

Оформление классными показателями соответствующих разрядов слов в нахских и аваро-андо-цезских языках представляет пеструю картину. Классный показатель может быть префиксом или суффиксом, может быть одновременно в начале и исходе слова, внутри слова и в его исходе; ср. тивд.: *в-еххела-в* (I кл.), *й-еххела-й* (II кл.), *б-еххела-б* (III кл.) «длинный».

Исследования показывают, что в системе андийских языков категория именных классов имеет больший удельный вес, чем в нахских и цезских. Что касается существительного и глагола, здесь картина более или менее ясна: существительные не содержат переменных классных показателей, в глаголе категория класса во всех исследуемых языках угасает с небольшой разницей в темпах. В отношении прилагательного можно сказать следующее: в даргинском оно утратило категорию класса; в лакском его изменение по классам еще играет известную роль; в нахских и цезских языках изменение прилагательного по классам — живое явление, хотя большинство прилагательных по классам не изменяется. Как в классных, так и в неклассных качественных прилагательных цезских языков, по-видимому, осуществляется унификация по конечному гласному, ср. цез.: *игу* (I кл.) «хороший» (*йигу* — II кл., *бигу* — III кл. ед. ч. и I кл. мн. ч., *ригу* — IV кл. ед. ч. и II, III, IV кл. мн. ч.), *эзру* «старый». Большинство имен прилагательных в гинухском и гунзибском языках оканчивается на *-у*: гин. *рочіу* «холодный», *бохору* «высокий», *лғалғару* «узкий», гувз. *ичилу* «старый», *кіотіу* «хороший» и т. п. [1, 2].

В андийских языках адъективные имена, особенно прилагательные, не дают строгой системы в употреблении классных показателей: в отличие от всех других исследуемых дагестанских языков родительный падеж личных местоимений — классный; изменяются по классам указательные местоимения и порядковые (частично количественные) числительные. В большинстве андийских языков и в аварском классные показатели употребляются в прилагательном префиксально и суффиксально, а также как префикс, инфикс или суффикс; изредка (тиндинский язык) как инфикс и суффикс. Такой разнобой в употреблении классных показателей свидетельствует об особом статусе цезских языков. Преимущественное использование классных показателей в качестве префикса позволяет заключить, что прилагательные завершают процесс утраты морфологической категории класса, начавшийся с существительного. Чтобы внести ясность в эту проблему, необходимо решить следующее: почему классные показатели занимают конечное положение в прилагательных и причастиях, а в начальной позиции они сохраняются дольше, чем в конечной. Ответ может быть дан один: в цезских языках происходит дифференциация прилагательных по разрядам (качественные, относительные и притяжательные).

Рассмотрев происхождение имени прилагательного в указанной группе языков, мы надеемся показать, что становление прилагательных осуществляется в результате дублирования одних адъективных аффиксов другими с последующей дифференциацией значения прилагательных по суффиксам (что мы называем цикличностью языковых процессов). Дублирование одних аффиксов другими способствует сохранению категории класса в прилагательном. Генезис прилагательных благоприятствует становлению порядковых числительных и причастий, а взаимодействие причастия и глагола замедляет разрушение категории класса в глаголе благодаря проникновению неклассных форм в систему причастия, как ранее в систему прилагательного.

В андийских языках имеются две формы родительного падежа: род. I, классные экспоненты которого указывают на класс определяемого существительного, и род. II, окончание которого не обозначает класса определяемого имени. Например, в андийском род. I — *иму-в воцци* «брат отца» (*иму* «отец»), *иму-й йоцци* «сестра отца»; *иму-б кГоту* «лошадь отца»; род. II — *илу-лИи воцци* «брат матери» (*илу* «мать»). Во всех андийских языках окончание род. II восходит к местным падежам и имеет начальный согласный *лИ-* или *ль-* (в багвалинском *-льль-*) [3]. Использование местного падежа в значении родительного определяется всей системой языка (развитие посессивных отношений) и не в последнюю очередь семантикой классных отношений, ибо классные показатели реализуют двухстороннюю связь имен: указывают на зависимость одного имени (определения) от другого (определяемого) и отражают принадлежность определяемого к соответствующему классу имен. К тому же классные показатели указывают на принадлежность человеку предметов и животных, на качественный и относительный признаки предмета. Впрочем, чаще относительный признак передавался несогласованным определением в одном из косвенных падежей. Родительный падеж, развивающийся из местного, не отражает класса определяемого имени, но его преимущество перед классным родительным заключается в том, что он принимает на себя одну из функций последнего — обозначение принадлежности. Включение несогласованного родительного в падежную систему имен начинается, о чем свидетельствуют факты самих андийских языков, с категории вещи (с III класса в системе из трех грамматических классов): в ахвахском род. II употребляется в словах III класса и спорадически в словах II класса [4], в андийском, багвалинском, ботлихском, каратинском и чамалинском — в словах II—III классов, в тиндинском и годоберинском — в именах II—III классов, и в некоторых именах I класса [5]. Использование местного падежа в значении родительного вполне закономерно, если вспомнить, что во многих иберийско-кавказских языках местные падежи служат для обозначения местонахождения и принадлежности. Распространение в языке несогласованного род. падежа и окаменение (или отпадение) классных показателей в существительном позволяет говорить о классном род. падеже, потому что классный показатель уже не дублируется в определяемом и, следовательно, служит для выражения зависимости одного имени от другого, а не для координации имен.

В ряде андийских языков наблюдается омонимия суффиксов существительных и прилагательных. В каратинском: *гьекIва-цу-б* «человека» (классный родительный), *месед-и-лИ* «золота, золотой» (несогласованный родительный, образующий и относительные прилагательные), *гьеро-б* «красный», *хъайи-лИ* «синий». Суффиксы прилагательных параллельны генитиву существительных. Дифференциация зависимого имени по при-

надлежасти и появление суффиксального род. падежа (в нашем случае на *-лI*) способствовали передвижению классного показателя у соответствующих имен из препозиции в постпозицию. Возникает оппозиция двух форм род. падежей, первоначально имеющих близкое значение: принадлежности и относительного признака предмета (*гьекIва-цу-б*, *меседи-лI*). Но с разрушением категории именного класса появляется разряд прилагательных (преимущественно качественных) с классным показателем в конце слова (*гьеро-б*). Асимметрия формальная, и в значении существительных и прилагательных она приводит к разрушению омонимии и специализации род. падежей: классный родительный обозначает в основном принадлежность, несогласованный род. падеж — относительный и качественный признак предмета. Создается параллелизм форм, но не значений существительных и прилагательных (*гьекIва-цу-б // меседи-лI // гьеро-б // хъайи-лI*). При этом суффикс генитива превратился из формообразовательного суф. существительных в словообразовательный суф. прилагательных. Нетрудно предположить, что омонимия форм качественных прилагательных нестабильна и с образованием других разрядов прилагательных и наречий подвержена изменениям. Так, в говорах каратинского языка вторые формы качественных прилагательных (на *-лI*) дублируются суффиксальными классными показателями — свидетельство перехода слова в разряд адъективов, например, в арчойском и рачабалдинском говорах *хъайи-лI-о-б*, чабаноринском, маштадинском *хъейи-лI-о-б*, анчихском *хъе-лI-о-б* «синий» [6, с. 86]. Особенно показателен пример из анчихского говора, иллюстрирующий стяжение основы прилагательного. Гиперформы качественных прилагательных в говорах каратинского языка свидетельствуют о неравномерном угасании в языке категории класса и цикличности языковых процессов (дублирование одних аффиксов другими, сходными по значению). Ср. карат. *б-еххело-б* «длинный», *гьеро-б* «красный», *хъайи-лI* «синий» (иллюстрирует угасание категории класса) и рачабалд. *хъайи-лI-о-б* (иллюстрирует возрождение категории класса на основе формы неклассного род. падежа, ибо как переменные классные показатели, так и суф. *-лI* на определенном этапе развития языка выполняли роль генитива — соответственно, согласованного и несогласованного определения). В последнем примере, как и в период «расцвета» категории именных классов, классные показатели, вероятно, используются как согласовательные элементы, формирующие определение. В аварском языке классные прилагательные тоже образуются от род. падежа существительных: *месед-ил-а-б* «золотой», *хвал-ил-а-б* «смертный» [7—9].

Становление относительных прилагательных происходит на основе род. II падежа существительных, восходящего к локативу: первоначально это был разряд качественных прилагательных (ср. слова, обозначающие цвет), затем эта же модель используется для образования относительных и притяжательных разрядов (что дало языковедам повод называть их относительно-притяжательными прилагательными [10]). Наряду с ними разряд относительных прилагательных образуется на основе исходного падежа существительных, имеющего для андийских языков форму *-сс-*. В образовании этого разряда прилагательных также участвует локатив. Ср. в годоберинском *имучIу-ссу* «отцовский» (*имучIу* — местн. п. от *има* «отец»). Ботлихский язык выровнял систему, образовав относительные прилагательные посредством классных экспонентов: *имучIу-ссу-б* «отцовский», *ару-ссу-б* «здешний» (*ару* «здесь»). В токитинском диалекте каратинского языка прилагательные на *-isə(-sə)* имеют параллельные формы

с изменяющимся классным показателем [6, с. 93]. Таким образом, в ботлихском языке в известных случаях противопоставлены суффиксально притяжательные и суффиксально относительные классным или неизменяемым качественным прилагательным (*хьуча-б* «хороший», *иргха* «красный»). Не следует забывать, что в любом из исследуемых языков ситуация намного сложнее ввиду семантических напластований в прилагательных, возникших на основе генитива существительных.

В аварском языке оформляется и разряд притяжательных местоимений: классные формы род. падежа личных местоимений имеют оттенок принадлежности: *дир* «меня, мой», *дир-а-б* «мой, принадлежащий мне». В данном случае ослабленное значение принадлежности, выражаемое род. падежом личных местоимений, подкрепляется классными показателями. Ср. также *дие-се-б* «мне принадлежащий» — форму принадлежности, для которой исходной служит дат. падеж местоимения с афф. *-се-* относительных прилагательных и классным показателем.

В системе имени прилагательного андийских языков можно проследить кое-какие закономерности эволюции; вероятно, сходные процессы действуют в причастиях и числительных. Причастие в своем развитии очень тесно связано взаимными узами с прилагательным: в подавляющем большинстве причастия в андийских языках или образуются с помощью классных показателей, или имеют их в своем составе в качестве одного из замыкающих суффиксов, за исключением тех случаев, когда они образуются посредством суффикса относительных прилагательных (причастие наст. времени на *-исс* в чамалинском языке); иногда причастие буд. времени формирует суф. род. II: в каратинском *-лI-о-б*, чамалинском *-лI-а-б*. Эти формы, используемые также в качестве суффиксов порядковых числительных в указанных языках, следует признать более распространенными, регулярными. Сказанное о причастиях относится и к порядковым числительным, которые, вероятней всего, испытывают влияние причастных форм. Во всех андийских языках (кроме каратинского и чамалинского, где используется суффикс причастия буд. времени), в состав порядкового числительного «первый» входит суф. *-сс-*, причем в ботлихском с переменным классным показателем (*зъечIиссе-б-ассу-б*).

Взаимодействие прилагательных и причастий дает сложную картину развития адъективных разрядов слов, поддерживая противоположные тенденции: под влиянием классных прилагательных формируются причастия; суффикс неклассных прилагательных используется для образования причастий (причастие буд. времени на *-лI-о-б* в каратинском, на *-лI-а-б* в чамалинском, на *-лI-и-бу* в годоберинском), которые оформляются классными показателями и, судя по диалектам и говорам, способствуют становлению классных показателей в неклассном род. падеже; неклассные относительные прилагательные на *-сс-* проникают в сферу причастий (причастие наст. времени в чамалинском языке), привнося деструктивные элементы в систему причастий, преимущественно употребляющихся с классными показателями. Не менее сложным является взаимодействие прилагательных и наречий, но здесь процесс направлен в одну сторону: стимулируя развитие разрядов прилагательных, наречия не без влияния прилагательных превращаются в разряд неизменяемых слов (ср., например, употребление прилагательных без классных показателей в качестве наречий в ахвахском: *шодабе* «хороший» — *шо* «хорошо»; багвалинском: *ечуб* «плохой» — *еч* «плохо»). Наречие как часть речи в различных андийских языках знаменует различные этапы развития: в одних языках (андийский, годоберинский) качественные прилагательные и наречия образа действия

совпадают по форме, в других наречия образа действия формально обособляются от качественных прилагательных посредством унификации суффикса (ср. в каратинском: *хъогъоб* «хороший», но *таб-об* «мягкий» — *таб-а* «мягко»). Лишь немногие наречия образа действия в андийских языках имеют в суффиксе переменный классный показатель, а наречия места изменяются по падежам (в ботлихском и часть наречий образа действия имеет окончания местных серий). В аварском языке некоторые наречия места изменяются по классам и числам, имеют показатели трех местных падежей. Словом, о наречии как неизменяемой части речи в отношении андийских языков приходится говорить с осторожностью.

Цикличность в движении суффикса генитива существительных в связи с формированием частей речи, отмеченная нами в ходе исследования, интересное, но не уникальное явление. Повторяемость процессов — это, вероятно, одно из фундаментальных средств развития языка: дублирование мн. числа в бацбийском отмечал Ю. Д. Дешериев [11, с. 58], цикличность эргатива в даргинском подметил С. Абдуллаев [12, с. 122—123], о вдвойне производных формах в чеченском писал Н. Ф. Яковлев [13, с. 149].

Но развитие суффикса генитива представляет особый интерес, потому что речь идет не о простой повторяемости формантов, а о преобразовании всей грамматической системы группы языков. На протяжении всего исследования мы рассматривали андийские языки вместе с аварским. Для него характерны процессы, протекающие в андийских языках, хотя он и стоит несколько особняком от них, в частности, в аварском устранен из системы склонения классный род. падеж или, может быть, унифицирован неклассный генитив, к тому же суффикс генитива неясного происхождения (показатель локатива третьей серии *-лъ*). В свое время Л. И. Жирков предложил объяснять формы аварского глагола как именные падежные формы, образованные от корня глагольной семантики [14]. Ср.: *цГал-ул-а* «читает» — *цГал-ил-а* «будет читать» и *васа-с-ул* «сына» — *ганчI-ил* «камня» (показатель род. падежа существительных совпадает с суф. глаголов). Учитывая, что неклассный род. падеж восходит к локативу и что в развитии грамматики большинства иберийско-кавказских языков он играет значительную роль, это предположение кажется основательным. Помимо того, что говорилось о локативе выше, в чамалинском языке глагольная или именная форма в местном падеже служит наречием образа действия [15]. Во многих иберийско-кавказских языках глагольные формы, употребляющиеся как причастия, могут склоняться и иметь, в частности, также формы местных падежей. Так, в гинухском (одном из цезских языков): *акъей-къо* «когда пришел» (*акъа* «приходить», *-къо* — показатель одного из местн. падежей), *эсиро-къо* «когда спросил» и т. п. Строй языков эргативной типологии, в которых род. падеж используется для образования различных категорий — как именных, так и глагольных — можно охарактеризовать как эргативный с элементами посессивности, если не упускать из виду, что первоначальное значение принадлежности генитива видоизменяется в зависимости от того, какую систему (именную или глагольную) он формирует¹. В случае же необходимости подкрепить в существительном ослабленное значение принадлежности образуется новый генитив или прежний генитив дублируется другими средствами, имеющими близкое или сходное значение.

В цезских языках, лакском и даргинском многие вопросы генезиса прилагательных решаются не так однозначно, как в аварском и андийских.

¹ Здесь речь идет не о превращении посессивной конструкции предложения в эргативную [16], а о наличии элементов посессивности в языках эргативной типологии.

Прежде чем перейти к рассмотрению цезских языков, обратим внимание на одно явление в андийских, которое может пролить свет на развитие прилагательных в лакском, даргинском и цезских языках. Это — элемент *-сс-*. Он встречается: 1) в слове «первый» (которое образуется не так, как остальные порядковые числительные), кроме чамалинского, выровнявшего систему (в каратинском существуют параллельные формы с суффиксами *-лI-о-б* и *-ссе-б*); 2) в некоторых андийских относительных прилагательных; 3) в аблативе (*-сс*) багвалинского языка; 4) в системе прилагательных аварского языка (в упрощенной форме *-се-б*); 5) в упрощенной форме *-с* формирует систему прилагательных и причастий цезских языков; 6) участвует в образовании даргинской видо-временной системы; 7) используется в качестве суффикса прилагательных и причастий лакского (*-сса*) и даргинского языков (*-си*) (ср. суф. прилагательных в ботл. *-ссу-б*, год. *-ссу*, тинд. *-сса* и лак. *-сса*, а также в авар. *-се-б*, багв. *-сс*, анд. *-сси*, цез. *-си* и дарг. *-си*).

Система локативов объединяет нахско-дагестанские языки, однако обнаруживает тенденцию к разрушению. Система же элативов иллюстрирует сходство и различие указанных языков (ср. чеч. *-ра*, инг. *-ре*; год. *-ру*, ботл. *-ру*, *-ку*, анд. *-ку*, багв. *-сс*; *-с* в некоторых цезских языках). Сравнение системы аблатива позволяет сделать вывод, что, во-первых, андийские языки занимают промежуточное положение между нахскими и цезскими и, во-вторых, суф. прилагательных *-сс//с* имеет генетическую общность с суффиксами аблатива или стимулирует его развитие.

Теперь мы постараемся показать, что генезис прилагательных в цезских языках представляет собой аналогию процессов, происходящих в андийских, со смещением в одну фазу, точнее — со смещением акцента с локатива на аблатив. В андийских языках стандартная серия локатива состоит из трех падежей — эссива (падеж покоя), латива (направ. падеж) и элатива (аблатива): год. *руши-кь-и* «под деревом»; *руши-кь-а* «под деревом»; *руши-кь-и-ру* «из-под дерева». Таким образом, *-кь-* маркирует серию со значением «под», латив *-а* противопоставлен эсиву *-и-*, аблатив *-ру* строится на эсвиве. Но эта модель разрушается уже в рамках андийских языков. Число падежей в серии уменьшается до двух (тиндинский); реализуется тенденция к совмещению функций эссива и латива, которые вступают в оппозицию с аблативом. Эта тенденция в цезских языках усиливается; в цезском языке еще семь серий по четыре падежа (в систему включается транслатив). Нет противопоставления латива эсиву, а между показателем серии и аблативом выпал суффикс эссива. Следовательно, в отношении цезских языков можно говорить о противопоставлении не серий, а падежей. Ср. анд. *лълъен-лI-и* «в воде» (эссив), *лълъен-лI-и* «в воду» (латив), *лълъен-лI-и-ку* «из воды» (аблатив); год. *лълъен-лI-и*, *лълъен-лI-и*, *лълъен-лI-и-ру* (в андийском и годоберинском эссив и латив совпали, но противопоставление по эсиву еще сохраняется); цез. *лъа-лъ*, *лъа-лъ-ер*, *лъа-лъ-ай* (*лъи* «вода»); хварш. *лъе-лъ*, *лъе-лъ-гъул*, *лъѣ-лъ-й* (с тем же значением). В гунизбском уже семь серий по два падежа: падеж покоя, часто обозначаемый показателем серии (без буферного гласного между согласными эссива и аблатива), и падеж удаления на *-с*, присоединяемый прямо к показателю серии, теперь уже имеющему значение эссива.

Переход от системы локатива как основы для формирования некоторых грамматических категорий к системе аблатива в цезских языках углубляется, между тем как в даргинском в основе образования серий местных падежей оказывается уже не местный, а направ. падеж, присоединяемый к форме им. падежа или к косвенной основе в форме эргатива. Таким обра-

зом, направ. падеж образует третью основу (после основ им. и эрг. падежей) в системе склонения даргинского имени. Более того, теперь изменился и порядок следования морфем в сериях местных падежей: аблатив по-прежнему следует за локативом, но последний присоединяется к основе существительного в форме направ. падежа. Возможна другая трактовка этого явления: в результате падения значения локатива в системе языка произошло сближение в слове локатива и директивных падежей, а в результате перераспределения функций эссива и латива (заметим, что в цезских языках эссив и латив совпадали по форме) за счет латива произошло расширение основы существительного: дарг. *vaɟla-li-zi-b-ɟɟI* «в сторону леса» (-ли- и -зи- — показатели эргатива и латива, образующие основу существительных; -б- и -ɟɟI- — показатели эссива и латива); *ɟta-li-ɟi-b-ad* (-ли- и -ɟi- — показатели эргатива и латива; -б- и -ad- — показатели эссива и аблатива). Таким образом, даргинский язык иллюстрирует цикличность латива; форманты направ. падежей (-ɟi-, -зи-, -y-, -ɟli-, -ɟli) полностью не формализуются, сохраняя свое значение [17].

Систему прилагательных цезских языков можно представить в следующем виде: 1) прилагательные с классными показателями, развитие которых в андийских языках объяснено выше; 2) хварш. *л-ыхала* «длинный»; 3) гин. *алдийу* «белый»; 4) гин. *регвей* «маленький», хварш. *утгей* «красный»; 5) хварш. *алукла* «белый»; *гыква* «шлохой»; 6) цез. *сасахъоси* «утренний» (*сасахъ* «утро») (примеры 2 — 5 объясняются ниже).

Во всех цезских языках есть две формы род. падежа: одна из них употребляется перед именем в именительном, другая перед именем в косвенном падеже, в гунзиском функцию род. II выполняет твор. падеж. Широкое распространение суф. -ла в адъективных именах невозможно объяснить процессами, происходящими в цезских языках параллельно с андийскими. Если генитив и влияет на распространение имен с суф. -ла, то это все же второстепенное явление. Во-первых, суффиксы род. II в цезских языках различны: цез. -(o)з, хварш. -ло// -ла, гин. -зо, бежит. -ли. Более того, система местных падежей цезских языков не располагает суф. -ла. Значительное распространение имен с суф. -ла свидетельствует о его более древнем происхождении. Сравнение фактов андийских (анд. *б-εххула*, ботл. *б-εххила*, год. *б-εххила* «длинный») и цезских языков [хварш. *л-ыхала*, бежит. *б-ахало*, гунз. *ыхэл* «длинный», *ичил(у)* «старый»], в которых суффикс имеет измененную или усеченную форму, свидетельствует о том, что в цезских языках суф. -ла органически вошел в систему языка. И действительно, применив процедуру, использованную выше, мы убедимся, что суф. -ла восходит к одной из серий местных падежей (андийский, годоберинский). Но для нашего исследования большую объяснительную силу имеют факты цудахарского диалекта даргинского языка, в котором аффиксом исходных падежей является -ла, соответствующий акушимско-урахинскому -ад: *ита-ла* «оттуда», *хъули-ла* «из комнаты, из дома». Впрочем, не исключаем взаимодействия двух процессов в цезских языках.

Гин. *алдийу* «белый», хотя и представляет собой новообразование, но все же построенное по модели имен на -ла, в чем убеждает наличие в гинухском причастий наст. времени на *гъо // -йо* (ср. бежит. *гъалдийо*, гин. *алдийу* «белый» и гин. *руйо // ругъо* «делающий» от глагола *рува* «делать»), восходящих к локативу на *гъо*. Следовательно, в цезских языках используются модели с локативом для образования адъективных имен. Гин. *регвей* «маленький» и хварш. *утгей* «красный» необъяснимы фактами этих языков, но наличие в хваршинском параллельной формы *утлана* «красный», а также согласного -в- в *регвей*, сигнализирующего о чередовании

у > в перед гласным суффикса (* *регу-ей*, так как в цезских языках наблюдается унификация прилагательных по конечным гласным -у, реже -и), дают возможность обращаться к фактам других языков. Суф. -ей указанных прилагательных совпадает с суффиксом аблатива седьмой серии цезского языка.

Таким образом, мы ставим перед собой задачу показать, что в цезских языках имя прилагательное формируется преимущественно на основе аблатива (меньше — латива) в противоположность андийским языкам, где в образовании имени прилагательного большую роль играл локатив. Если нам удастся найти объяснение хотя бы одному факту, общему для цезских языков и объясненому своим происхождением аблативу, можно считать доказанным происхождение суф. прилагательных -ей от аблатива существительных.

То же самое можно сказать относительно суф. -а прилагательных. Формально он сходен с суффиксом архаического эргатива, локатива, латива и аблатива. По мнению исследователей, эргатив участвует в образовании косвенных падежей существительных, входит в состав наречий и т. д. и, наоборот, местные падежи участвуют в образовании адективных пмен [18, 19]. В цезских языках отмечается совпадение эссива и латива в одной форме и уменьшение значения локатива в системе языка (ср. также в даргинском наречия месга *дура* «снаружи», *гылаи* «вперед» и направления *урга* «в середину», *ита* «туда», *иша* «сюда»). Обратим внимание на совпадение суффиксов прилагательных и глагола в следующих хваршинских словах: *илу-кI-а* «белый», *гыкве-а* «плохой» и *агы-кI-а* «поднять» (-кI- суф. каузатива, -а показатель инфинитива), *л-акв-а* «видеть». Совпадение суффиксов прилагательных указанной модели и глагола — типичное явление для цезских языков. Но известно, что дательно-направ. падеж может участвовать в образовании инфинитива [20].

Значит, реально образование прилагательных на -а цезских языков обязано развитию значения аблатива или латива. В даргинском прилагательные типа *цIуб / цIуб-а* «белый» (краткие и полные формы) ничем не отличаются от прилагательных, восходящих к лативу (*ург-а* «в середину, средний»; *га-л-а* «вперед, передний»; *гле-л-а* «назад, задний»). Но, как уже было сказано, в системе даргинского языка большое значение приобрели направительные падежи. Следовательно, если бы удалось доказать, что в системе цезских языков аблативу принадлежит ведущая роль в образовании прилагательных, пришлось бы признать, что прилагательные на -а также восходят к аблативу (т. е. суф. -а прилагательных различных языков — результат наслоения различных значений; в андийских языках он формализуется под давлением эссива, в цезских обязан своим происхождением аблативу, в даргинском — лативу). В кубачинском диалекте даргинского языка имеются прилагательные типа *цIуба-зи-б(-е, -й)* «белый» [12, с. 134], в которых афф. -а дублируется направительным аффиксом -зи- и восстанавливается изменение по классам.

Но в системе цезских языков аблатив действительно играет большую роль. Во всех цезских языках род. I оканчивается на -с и совпадает с аблативом (кроме цезского и хваршинского). Род. II варьируется от языка к языку, но здесь четко прослеживается система: окончание дат. падежа сходится с окончанием род. I в согласном звуке (формы разошлись во избежание омонимии) (правило 1), при этом в хваршинском совпадают окончания датива и латива (правило 2). Восходит к лативу и твор. падеж гунзибского языка, который используется в значении род. II. Следовательно, в цезских языках род. II и дат. падежи возникли не без влияния

латива, но затем их окончания специализировались для передачи различных значений (например, в гинухском языке дат. падеж на *-з* в функции род. II изменил окончание *-з* на *-зо*); подобная специализация окончаний возможна и в гунзибском, где твор. падеж на *-д* в некоторых случаях встречается в форме на *-до*. В цезском род. II на *-(о)з*, вероятно, связан с транслативом *-äzä / -аза*, но прилагательные на *-си* в косвенных падежах меняют его на *-зо*. К стати, несовпадение род. I с аблативом в цезском и хваршинском языках может свидетельствовать в пользу того, что род. I влиял на становление аблатива *-с*, т. е. против нашей гипотезы о влиянии аблатива на статус прилагательных в системе языка. Но, во-первых, не следует забывать, что специализация в значении суффиксов с их последующей формальной дифференциацией возможна лишь при широкой омонимии. Во-вторых, любой процесс определяется многими факторами, испытывает влияние всей системы языка. Так, в хваршинском род. I на *-с* противостоит аблатив на *-з* (*и*), а причастие и прилагательные оформляются афф. *-со*. Казалось бы, аблатив не имеет отношения к образованию прилагательных; в результате употребления род. падежа в атрибутивной функции развились прилагательные на *-со*. Но тогда для гинухского языка, в котором род. I на *-с* и аблатив на *-с* образуют систему, а прилагательные и причастие на *-с* не имеют распространения, пришлось бы отрицать участие род. падежа в процессе образования прилагательных. На истинное положение вещей указывают факты гунзибского и бежитинского языков. В гунзибском афф. *-с* оформляет род. I, аблатив и адъективные слова, включая порядковые числительные. То же самое наблюдается в бежитинском языке, в котором, к тому же, наряду с род. на *-с* в атрибутивной функции употребляются прилагательные на *-со*. Использование суф. *-с // -со* в прилагательных и причастиях указывает на то, что процессы, связанные с расширением функций прилагательного в цезских языках, аналогичны процессам в индийских языках.

Следовательно, в отношении цезских языков можно признать ведущую роль аблатива в образовании прилагательных, при участии латива (т. е. в цезских языках начинает действовать система, установившаяся в даргинском). Схематически сказанное можно представить в следующем виде:

1. аблатив → род. I	}	формирование	}	формирование
2. латив → датив → род. II		прилагательных		порядковых
		и причастий		числительных

Роль эссива в индийских языках уменьшается, если принять во внимание редукцию аффикса эссива и прилагательных $MI-u > MI$ в указанной группе языков. В этом отношении образование полных форм прилагательных в цезских языках (*-с // -со*) и дублетных форм аблатива в гунзибском (*-с // -са*) свидетельствует о возрастающей роли аблатива в системе цезских языков. Следовательно, становится понятным распространение окончания *-ей* у прилагательных в хваршинском и гинухском, совпадающего с окончанием аблатива цезского языка или восходящего к нему. Наличие в гинухском форм эмфатических прилагательных, параллельных основным формам, как раз и свидетельствует о том, что распространение прилагательных на *-с // -со* не имеет прямолинейного характера, но освоение в языке осуществляется в несколько этапов, отражающихся в дублетных формах прилагательных. Ср. в гинухском *эги // эгвей*, а также амфатическую форму *эгункIа (<*эгинукIа)*.

Суф. *-си* прилагательных и причастий цезского языка, даже если он заимствован, органически входит в систему адъективных имен цезских

языков (но, скорее всего, суф. *-си* — общедагестанский). Используется в цезских языках и модель «суффикс эссива + суффикс прилагательных», но в истории прилагательных цезских языков этой модели не принадлежит решающее место (впрочем, ср. образование причастий наст. времени в цезском языке присоединением *-си* к основе, усложненной показателем эссива *-хо*).

Наиболее полно система прилагательных представлена в даргинском языке: 1) часто используется суф. *-ла*, являющийся архаизмом и образующий прилагательные от существительных и наречий: *тамаша* «удивление» — *тамашала* «удивительный»; *дура* «вне, снаружи» — *дурала* «внешний, иностранный» (в чапшинском диалекте суф. *-ла* встречается с наращением *-си*); 2) исследованный выше суф. *-а* основы: *цГуба* «белый», *хьанцIа* «синий, голубой»; 3) суффиксы *-л* // *-ил* и *-си* взаимозаменяемы: *кьабул* // *кьабул-ил* // *кьабул-си* «любимый»; 4) суф. *-н* // *-ан* // *-ен* образует относительные прилагательные: *сирхIан* «сургинский». По мнению С. Абдуллаева, суф. *-ан* восходит к причастию глагола *эс* «сказать, сделать» [12. с. 87]. Трудно сказать, так ли это, но суф. *-ан* широко распространен как суффикс причастия и в других языках (например, нахских). Суф. *-си*, *-л* // *-ил*, *-ан* // *-ен* используются также для образования причастий. Следовательно, в системе прилагательных даргинского языка есть новообразование — суффикс относительных прилагательных, правда, имеющий ограниченное употребление. В целом система прилагательных даргинского языка содержит все элементы, исторически участвовавшие в образовании прилагательных аваро-андо-цезских языков, и, таким образом, грамматическая система даргинского языка в той или иной степени является преобразованием трех систем — локатива (эссива), аблатива и латива под влиянием род. падежа.

Существенным моментом является изменение семантики прилагательных. В андийских языках основными разрядами являются: 1) качественные и притяжательные (классные формы) и 2) притяжательные и относительные (производные от генитива с суф. *-лI*) прилагательные. При этом формы с классными показателями вытесняются в разряд наречий (ср. год. *шуб* «хороший, хорошо») или осваиваются как причастия. В цезских языках разряд качественных прилагательных составляют те, которые на предыдущем этапе формировались посредством афф. принадлежности *-ла*; разряд относительных-притяжательных прилагательных составляют новообразования с суф. *-си* // *-со*. Адъективное значение форм с классными показателями передается забвению, и они входят в парадигму спряжения. В даргинском и эти последние используются как качественные прилагательные.

Таким образом, в аваро-андо-цезских языках прилагательные с трудом разграничиваются на разряды по формальному признаку. В даргинском тем более целесообразней делить прилагательные не по формальному признаку, а по их значению (кроме относительных на *-ан*).

В даргинском и лакском, сравнительно с другими дагестанскими языками, регулярно противопоставляются краткие и полные формы прилагательных (дарг. *ахъ* // *ахъси* «высокий», *бугIяр* // *бугIярсI* «холодный»); качественным прилагательным составляют оппозицию наречия образа действия, что является одним из признаков прилагательного как вполне сформировавшейся части речи (*ахъ* // *ахъ-си* // *ахъ-ли* «высокий» и *ахъ-ли* «высоко», где афф. *-ли* совпадает с показателем деепричастий); прилагательные, оформленные суф. *-си*, изменяются по числам (во мн. числе суф. *-си* соответствует *-ти*).

Возможно, в даргинском языке происходит становление полноценных притяжательных прилагательных и местоимений на основе род.-направ. падежа: *ди-ла-л* «мой собственный». *Али-ла-си* «принадлежащий Али» (ср. с фактами аварского языка). И хотя подобные формы более свойственны литературному языку, дублирование аффиксов имеет регулярный характер. Порядковые числительные образуются суффиксально лишь в маркитинском, гунизбском и лакском языках, в остальных языках их образует причастие от глагола «сказать».

Нахские языки, пожалуй, лучше изучены, чем дагестанские, но именно они создают трудности при их сравнительно-историческом исследовании. Попытаемся доказать, что в нахских языках протекают процессы, аналогичные тем, которые характеризуют дагестанские языки.

Изменение системы от локатива к аблативу и лативу нами отмечалось для цезских и даргинского языков. Как и в том случае, отметим для бацбийского языка в системе склонения построение аблатива на лативе и локативе: *дад-(е)-го-рѣ* (исходный I от *дад* «отец» построен на лативе); *дад-(е)-гуи-хъ-рѣ* (исходный II построен на локативе с предшествующим лативом). Для системы косвенных и местных падежей бацбийского языка основой именной парадигмы является род. падеж (в нашем примере *дад-ѣ*). Рассмотрим место род. падежа в грамматической системе нахских языков.

Систему прилагательных бацбийского языка исчерпывающе можно представить следующим образом: 1) *дад-ѣ* «отца, отцовский, принадлежащий отцу» (род. п. в атрибутивной функции), *хен-ѣ* «(из) глины, глиняный»; 2) *в-аккх-ѣ* // *в-аккх-уй* «большой, старший»; 3) *кIоах-ѣ* «копхозный», *ІарчI-й* «черный», *гIаз-ѣ* «хороший»; 4) *мата-а-рѣ* «мясной», *хъун-й* «лесной» — *хъун-а-рѣ* «лесистый», *къар-о-лѣ* «дождливый», *тха-лѣ* «сегодняшний»; б) *лекI-ур* «лезгинский», *пицI-ул* «деревянный».

Как и для дагестанских языков, включая лезгинские, для нахских языков характерно употребление род. падежа существительных в атрибутивной функции [11, с. 182; 21] первоначально для обозначения принадлежности (*дад-ѣ*) и относительного признака предмета (*хен-ѣ*). Использование генитива для обозначения качественного признака предмета сопровождается закреплением его как словообразовательного аффикса прилагательного, что приводит к ослаблению категории класса в прилагательных: ср. *в-аккх-ѣ*, где классный показатель дублируется аффиксом генитива, образующим определения, которые на начальном этапе составляли разряд притяжательных прилагательных и впоследствии были переосмыслены как качественные прилагательные, и *гIаз-ѣ*, образуемое суффиксально.

Употребление одной формы генитива в трех значениях (признак качественный, относительный и по принадлежности) вело к формированию суффиксов прилагательных, служащих для разграничения этих значений: *матх-й* // *матх-арѣ* «солнечный» (*матх* «солнце»), но *хъун-й* «лесной», *хъун-арѣ* «лесистый». Строго говоря, при совпадении разрядов прилагательных в одном аффиксе при нечетком разграничении их значения качественные прилагательные отличает возможность изменения по степеням сравнения. Существует еще один способ дифференциации имен прилагательных — использование в этих целях суффиксов, заимствованных из родственных или неродственных языков. Очевидно, что заимствованные суффиксы органически вписываются в систему языка, ибо они используются для разграничения процессов, происходящих в самом языке. Так, в бацбийском языке наряду с исконными суф. *-арѣ* // *-орѣ* и др., которые не

всегда различают качественные и относительные прилагательные, употребляются заимствованные из грузинского языка суф. *-ур* // *-ул*, образующие преимущественно разряд относительных прилагательных: *лекI-ур* «лезгинский», *пицI-ул* «деревянный». Неудивительно, что заимствования и по фонетическому составу сходны с суффиксами бацбийского языка (ср. *-ор-ѐ* и *-ур*). Заимствования осваиваются и оформляются соответствующим образом как бацбийские прилагательные (ср. *-ул* // *-ул-ѐ*). В систему прилагательных бацбийского языка входят и слова, оформленные направительным суф. *-иэ*, хотя он более приспособлен для образования глагольных времен [13, с. 38, 53: 22].

Ю. Д. Дешериев отмечает, что в бацбийском косвенные падежи образуются на основе генитива [11, с. 62]. Заметим, что в основе склонения нахских языков лежит вторичный генитив: бацб. *дад* «отец» (им. п.), *дад-ѐ* (род. п.), *дад-е-н* (дат. п.), *дад-(е)-го* (направ. I п.) (основу косвенных падежей образует гласный звук *-е* вторичного род. падежа). Первичный генитив нахских языков претерпел существенные изменения. В чеченском встречаются его фонетические варианты *-ан*, *-ен*, *-он*, *-ун*, *-н*, но часто гласные произносятся со слабой назализацией, что в письме не отражается, и, следовательно, генитив оканчивается на гласный: в ингушском генитив имеет исходом *-а*, *-и*, *-н*, в бацбийском в результате ослабления конечного *-н* появились назализованные гласные: чеч., инг. *в-оxx-а* «большой», бацб. *в-аккx-ѐ* «большой», чеч. *дик-а* «хороший, хорошо» — *оx-а(н)*, *оxу-н* «пашущий»; инг. *дик-а* «хороший, хорошо», *латт-а* «стоящий»; бацб. *гIаз-ѐ* «хороший» — *гIаз-и-и* «хорошо» — *тег-б-уй* // *тег-б-уйн* «делающий». Дублетные формы качественных прилагательных в бацбийском языке *в ккx-ѐ* / *в-аккx-уй* возникли явно под влиянием причастных форм.

Из сравнения примеров ясно, что род. падеж участвует в образовании прилагательных и наречий (которые в чеченском и ингушском языках совпадают по форме) и причастий (о порядковых числительных ниже). Таким образом, род. падеж является основой для образования адъективных слов. Подобную схему мы отмечали и для дагестанских языков.

В нахских языках также наблюдается циклическое явление род. падежа. Сравним склонение нижеследующих слов в некоторых падежах чеченского языка:

им. <i>ахархо</i> «земледелец»	<i>бода</i> «мрак»	<i>кxоъ</i> «три»	<i>итт</i> «десять»
род. <i>ахархо-чу-н</i>	<i>бода-н-ан</i>	<i>кxа-т-н-ан</i>	<i>итт-ан-н-ан</i>
дат. <i>ахархо-чун-н-нч</i>	<i>бода-н-на</i>	<i>кxа ан-ни</i>	<i>итт-ач-ни</i>
твор. <i>ахархо-чун-н-на</i>	<i>бода-н-ца</i>	<i>кxа-ан-ца</i>	<i>итт-ан-ци</i>

Если в косвенных падежах слова *бода* можно было бы считать наречием основы *-н*- соединительной согласной, то склонение слов *ахархо* и *кxоъ* убеждает, что склонение имен строится на основе род. падежа, но в таком случае окончание генитива в слове *кxоъ* повторяется дважды.

В склонении зависимых числительных также наблюдается наложение двух род. падежей: чеч. *ши говр* «две лошади», *ши-н-а говр-ан* «двух лошадей» (ср. *хи* «вода» — род. п. *хѐ* / *хи-н*). Очевидно, что в суффиксе порядковых числительных также следует усматривать дублирование генитивов: первое *-а* относится к основе числительного, второе *а-* указывает на адъективный характер слова: *кxоъ* «три» — *кxо-а-лгI-а* «третий». *йалх* «шесть» — *йолх-а-лгI-а* «шестой» (ср. бацб. *кxа-лгI-ѐ* «третий» при *кxо* «три»; *кxа* — косвенная основа). Циклическость род. падежа просматривается и в образовании качественных и относительных прилагательных

ных с помощью суф. *-рѣ*, *-лѣ*, согласные которых по происхождению являются показателями, соответственно, исходного падежа и инессива (*-э* в составе суф. *-гѣ* представляет собой показатель направ. I падежа: *цIе-г-ѣ* «красный» [11, с. 185—187]). Эти суффиксы не выступают в чистом виде, при их присоединении между основой существительного и суффиксами появляются гласные *-а* или *-о*, представляющие собой род. падеж существительных или показатели качественных прилагательных (ср. инг. *дик-а* «хороший», род. п. *юрт-а* «села») и бацб. *в-аккх-ѣ* «большой»), сами же суффиксы оформлены адъективным показателем *-ѣ*, восходящим к род. падежу существительных. Таким образом, бацбийский язык ушел еще дальше даргинского в разграничении разрядов прилагательных, развил согласование определения с определяемым (ед. ч. *-ѣ*, мн. ч. *-ѣ*), хотя специализация аффиксов прилагательных в бацбийском далеко не завершена.

Итак, для трех групп языков мы показали параллельное развитие прилагательных на основе род. падежа, происхождение которого для различных групп различно (и, следовательно, суф. *-а* качественных прилагательных может восходить к локативу, аблативу, лативу, генитиву). Он обязан своим происхождением местному, отложительному или направительному (в некоторых лезгинских языках) падежам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бокарев Е. А. Глнухский язык // Языки народов СССР. Т. IV. Иберийско-кавказские языки. М., 1967. С. 442.
2. Бокарев Е. А. Гунабский язык // Языки народов СССР. Т. IV. Иберийско-кавказские языки. М., 1967. С. 478.
3. Гудова Т. Е. Андийские языки // Языки народов СССР. Т. IV. Иберийско-кавказские языки. М., 1967. С. 274.
4. Магомедбекова З. М. Ахвахский язык // Языки народов СССР. Т. IV. Иберийско-кавказские языки. М., 1967. С. 340.
5. Гудова Т. Е. Годоберинский язык // Языки народов СССР. Т. IV. Иберийско-кавказские языки. М., 1967. С. 312.
6. Магомедбекова З. М. Каратинский язык. Грамматический анализ, тексты, словарь. Тбилиси, 1971.
7. Мадиева Г. И. Морфология аварского литературного языка. Махачкала, 1981. С. 76.
8. Бокарев Е. А. О классных показателях в аваро-андо-цезских языках // Язык и мышление. Т. X. М.—Л., 1940.
9. Гудова Т. Е. К строению показателя грамматических классов в аварском языке // Языки Дагестана. Вып. II. Махачкала, 1954.
10. Гаджиева Дж. Р. Имя прилагательное в аварском языке. Махачкала, 1979. С. 27.
11. Дешериев Ю. Д. Бацбийский язык. М., 1953.
12. Абдуллаев С. Грамматика даргинского языка. Фонетика и морфология. Махачкала, 1954.
13. Яковлев Н. Ф. Морфология чеченского языка. Грозный, 1960.
14. Жирков Л. И. Развитие частей речи в горских языках Дагестана // Языки Северного Кавказа и Дагестана. Вып. I. М.—Л., 1935.
15. Магомедбекова З. М. Чамалинский язык // Языки народов СССР. Т. IV. Иберийско-кавказские языки. М., 1967. С. 395.
16. Мецацинов И. И. Проблемы развития языка. Л., 1975. С. 164—200.
17. Абдуллаев З. Г. Даргинский язык // Языки народов СССР. Т. IV. Иберийско-кавказские языки. М., 1967. С. 512.
18. Бокарев Е. А. Эргативный падеж в языках цезской группы горских языков Дагестана // Языки Дагестана. Вып. II. Махачкала, 1954.
19. Климов Г. А., Алексеев М. Е. Типология кавказских языков. М., 1980. С. 227.
20. Бокарев Е. А. Локативные и нелокативные значения местных падежей в дагестанских языках // Язык и мышление. Т. XI. М.—Л., 1948. С. 67.
21. Дешериев Ю. Д. Сравнительно-историческая грамматика нахских языков и проблемы происхождения и исторического развития горских кавказских народов. Грозный, 1963. С. 419.
22. Дешериева Т. И. Исследование видо-временной системы в нахских языках (С привлечением материала индосистемных языков). М., 1979.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Будагов Р. А. Сходства и несходства между родственными языками. Романский лингвистический материал / Отв. ред. Степанов Г. В. М.: Наука, 1985. 272 с.

Новая книга Р. А. Будагова производит сильное впечатление. И прежде всего потому, что автор, рассматривая казалось бы очень конкретные вопросы о сходствах и несходствах в грамматике близкородственных (романских) языков, в действительности сосредоточил свое внимание на методологических проблемах современного языкознания. Эти проблемы, обсуждающиеся с присущей Р. А. Будагову фактологической и библиографической эрудицией, лингвистической точностью, стилистическим изяществом и полемической страстностью, не могут оставить равнодушным языковеда любой специализации и любой научной школы. Ценность книги Р. А. Будагова состоит также в том, что выбранные автором дискуссионные проблемы немедленно вызывают в памяти читателя и другие острые вопросы современной лингвистики. Учитывая это обстоятельство, я позволю себе обсуждать книгу в широком контексте теории и практики нашей науки.

В начале первой главы «Общие проблемы» Р. А. Будагов напоминает о том, что «для лингвиста язык — это прежде всего... „практическое действительное сознание“ (К. Маркс и Ф. Энгельс), „важнейшее средство человеческого общения“ (В. И. Ленин)» (с. 6—7). Трудно, конечно, представить себе советского языковеда, который подвергал бы сомнению этот основной постулат марксистско-ленинской лингвистической методологии, — постулат, с изложения которого начинается формирование лингвистического мировоззрения будущих языковедов и учителей-словесников [1]. Однако детальное обсуждение поднятого Р. А. Будаговым вопроса о соотношении общественных функций и онтологической сущности языка с его семиотическим устройством, а также социально-историческим аспектом и художественными функциями является исключительно актуальным. Это четко обнаруживается, если мы обратимся к разному рода прикладным лингвистическим исследованиям, выполняемым в рамках важных народнохозяйственных и

культурно-социологических проектов. Дело в том, что за решение лингвистических вопросов здесь берется зачастую математика, физики, инженеры, физиологи, психиатры, логики, специалисты по педагогике, не до конца отдающие себе отчет в том, что центральная социальная (коммуникативно-экспрессивная) функция языка может реализовываться только с помощью двусторонних психических объектов-знаков. Речь идет о таких объектах, которые одновременно замещают в сознании коммуникантов как предметы внешнего мира (референты), так и соответствующие этим последним физические сигналы. Пренебрегая важнейшим свойством асимметрии знака, многие незадачливые разработчики информационно-лингвистических систем вместо того, чтобы моделировать семиотические объекты естественного языка, рассматривают их как унитарные сущности, которые можно якобы «резать на куски», «склеивать» и т.п. При таком подходе создать информационно-лингвистические системы, естественно, никому не удавалось.

К сожалению, не только в прикладных, но и в теоретических исследованиях отмечается пренебрежение к знаковой специфике естественного языка, обеспечивающей его основную функцию — быть универсальным средством хранения и передачи информации. Примером этого могут служить те лингвистические сочинения, в которых, как указывает Р. А. Будагов (с. 7—9), обнаруживаются неправомерные попытки отождествить логику и естественный язык, искусственные языки, представляющие собой закрытые номенклатуры или исчисления, и открытый естественный язык (с. 81—82). Эти понятия, являющиеся, вероятно, результатом неучета хрестоматийного положения об асимметричном дуализме языкового знака (с. 81), идут вразрез с одним из главных положений марксистско-ленинской теории познания (о нем нам напоминает Р. А. Будагов на с. 46 и 137). Согласно этому положению, «...если бы форма проявления и сущность вещей непосредственно совпа-

Дали, то всякая наука была бы лишняя...» [2]. О реализации этой идеи в языковедческих исследованиях должен помнить каждый языковед, будь то теоретик или практик.

Чем же все-таки объяснить тот факт, что лингвисты недостаточно помогают представителям других дисциплин в разработке важных научных и научно-технических проблем, находящихся на стыке языкознания и других общественных, а также естественных и технических наук? Ответ на этот вопрос мы находим (хотя и в неявном виде) в рецензируемой книге Р. А. Будагов называет три исследовательских позиции, которые выберут современные языковеды. «Одни ученые, — пишет автор, — выдвигая свою концепцию, свое понимание языка и его функции..., как бы приглашают коллег принять участие в диспуте. Это — позиция дискуссий. Другие стремятся „усовершенствовать“ уже существующие теории языка, внося свой посильный вклад в процесс приближения к истине. Это — позиция совершенствования. А вот ученые „третьего типа“ хотят... затмить своих предшественников..., изобразить их в смешном виде, приписать им нелепые идеи...» (с. 5). Эту позицию Р. А. Будагов называет вслед за К. и Ф. Вёллиными «позицией затмения».

«Распределение» лингвистов по трем указанным позициям существовало, разумеется, во все времена. Однако вызывает беспокойство тот факт, что первые две позиции, требующие от языковеда систематических и глубоких знаний и постоянной внутренней потребности к кропотливому поискам истины, к сожалению, не пользуются среди наших лингвистов, особенно молодых, слишком большой популярностью. Действительно, решимся ли мы утверждать, что самобытные, оригинальные и фундаментальные монографии таких наших современников, как И. М. Дьяконов, Г. П. Мельников, Ю. С. Степанов, О. Н. Трубачев, А. М. Щербак (этот список можно, разумеется, продолжить), стали настольными книгами каждого нашего языковеда? Не говоря уже об открытиях, сделанных молодыми отечественными учеными [3—6]. Такие открытия остаются, к сожалению, долгое время неизвестными нашей широкой лингвистической общественности. Зато бойко расходятся сочинения, реализующие «позицию затмения». Такие сочинения чаще всего не содержат оригинальных теоретических осмыслений собственных экспериментальных результатов, а являются пересказом ставших популярными в данный момент идей некоторых наших современников (скажем А. Вержбицкой либо Ч. Филлмора) или уже умерших филологов-классиков» (скажем, М. М. Бахтина).

Само собой разумеется, что навык чтения литературы по специальности, в том числе на иностранных языках, является обязательным условием деятельности лингвиста. Однако это условие нельзя считать достаточным для того, чтобы получить новые лингвистические результаты. Таким условием является владение как традиционными, так и новыми методами, позволяющими лингвисту самостоятельно добывать и анализировать достаточно большие массивы языковых и речевых фактов. Ведь, как подчеркивает Р. А. Будагов, «...лингвистическая теория, не опирающаяся на конкретный материал разных (разрядка наша. — П. Р.) языков, обычно оказывается мертворожденной теорией» (с. 267).

Пренебрегая этой простой истиной, некоторые языковеды заражаются «импортной чумой», о которой говорил на XXVII съезде академик А. П. Александров [7], и сосредотачивают свои усилия на неразборчивом пересказывании сочинений модных зарубежных авторов, внося в лингвистический оборот много случайной и малоценной научной информации (об этом подробно говорит Р. А. Будагов на с. 91, 130—131 своей книги). В связи с этим вспоминается предостережение директора Центра прикладных исследований США Р. Тройке по поводу возможностей прикладного применения модных в 70-е годы идей трансформационной грамматики. Р. Тройке писал: «...интересно отметить, что трансформационные лингвисты, которых общественное мнение обычно связывает с компьютерами, практически не имеют отношения к машинному переводу» [8]. Кстати, какой большой урон понесла бы наша информационная индустрия, если бы развитие машинного перевода пошло по туиковому пути генеративной грамматики, пути, на который необдуманно направляли нашу инженерную лингвистику поклонники идей Н. Хомского. Таким образом, бездумное внедрение модных идей далеко не безобидно. Помимо путаницы в планировании научных исследований и других издержек, о которых говорится в рецензируемой книге (с. 14, 32, примеч. 3 и 4, 59, 139—141 и др.), неразборчивое и поспешное поглощение модной терминологии и информации ведет к пивелировке и игнорированию полезных научных результатов, которые получены у нас в стране. А это, в свою очередь, может повлечь опережающее использование наших результатов за рубежом [9—10]. Всех этих вопросов, правда, в ретроспективном плане, касается Р. А. Будагов в заключающем рецензируемую книгу Приложении: «Мы должны знать историю советского теоретического языкознания» (с. 255—268).

Большой интерес для каждого языкове

да и особенно для романиста представляются главы II—IV, посвященные проблемам сравнительно-сопоставительного изучения словообразования, а также синтаксиса предложения и словосочетания в романских языках, вопросам модальности, дейксиса, функциям артикля.

Обращая внимание не только на сходства, но и на тонкие различия между романскими языками в семантико-синтаксической трактовке главных грамматических категорий романского имени и глагола, Р. А. Будагов поднимает важный методический вопрос об определении меры схождения и расхождения между отдельными романскими языками. При этом автор указывает, что механический подсчет черт, которые являются общими для той или иной пары романских языков, не может дать исчерпывающего ответа на вопрос о том, насколько рассматриваемые два языка близки друг другу по сравнению с другими романскими языками. Необходимо учитывать, говорит автор, «у д е л ь н ы й в е с каждой подобной „черты“ в системе каждого языка» (с. 136). Но по какому принципу нужно определять этот вес? Следует ли применять с этой целью информационные измерения текста [11] или нужно искать решения в диахроническом и глоттохронологическом сравнении этих черт с аналогичными чертами древних романских языков и реконструируемой протороманской речи? Ответа на этот вопрос мы пока не имеем.

Хотя в целом текст книги подготовлен к печати достаточно тщательно, можно указать на отдельные опечатки в примерах и именах собственных. Часть из них приводит к смысловым неувязкам. Ср., например: рум. *Mos Goriot* (с. 158, примеч. 93), букв. «стакан Горлио» вм. *Moș Goriot* «папаша Горлио»; франц. *j'armerai* (с. 240) «я вооружу», очевидно, вм. *j'aimerai* «я полюблю», поскольку дальше в тексте идет *je vais aimer*, а не *je vais armer*; исп. *estoy trabajo* (с. 34) вм. правильного *estoy trabajando* «я работаю»; нем. *enziclopädischen* вм. *enzyklopädischen* (с. 52, примеч. 36); Л. Брумфида (с. 78, примеч. 81) вм. Л. Блумфида. Целесообразно было бы везде пользоваться при записи румынских примеров современной орфографией, т. е. писать *voi cînta, stăpin, stăpîni, pămînt* и др. вм. *voi cânta, stăpân, stăpâni, pămînt* (с. 111, 117, 158).

Разумеется, большинство этих замечаний адресовано не столько автору, сколько

ко техническому редактору и рецензентам книги.

Подводя итог, хочу еще раз сказать, что книга Р. А. Будагова представляет собой большой вклад в отечественную романистику и теорию языка.

Пиотровский Р. Г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Программы педагогических институтов. Введение в языкознание (для специальности № 2103 «Иностранные языки»). М. 1983. С. 5—6.
2. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. II. С. 384.
3. Arapov M. V., Cherc M. M. *Mathematische Methoden in der historischen Linguistik*. Bochum, 1983.
4. Т. Садыков. Моделирование киргизской именной морфологии: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1981.
5. Спивак Д. Л. Лингвистика измененных состояний сознания. Л., 1986.
6. Spivak D. L. Artificially induced altered states of consciousness (observations during insulin therapy) and their linguistic correlates // *Human physiology*. 1980. № 1—2.
7. Обсуждение Политического доклада Центрального Комитета КПСС XXVII съезду партии и отчетного доклада Центральной ревизионной комиссии КПСС. Речь товарища Александра А. П. // Правда. 1986. 27 февр.
8. Troike R. The future of MP // *American journal of computational linguistics*. 1976. V. 13. № 6. P. 45.
9. Knowles F. E. Recent Soviet work on computer techniques for representing natural language meaning // *Informatics*. 1979. 5.
10. Beöthy E., Almann G. *Das Piotrowski-Gesetz und der Lehnwortschatz* // *Zeitschrift für Sprachwissenschaft*. 1982. Bd. 1. Hf. 2.
11. Piotrowski R. G. *Text—Computer—Mensch*. Bochum, 1984.
12. Hall R. A. Jr. *Proto-Romance morphology*. Amsterdam, 1983.
13. Väänänen I. *Preroman—protoroman—latin vulgaire* // *Neuphilologische Mitteilungen*. 1984. Bd. LXXXV. Hf. 1.
14. Piotrowski R. G., Bektaev K. B., Piotrowskaja A. A. *Mathematische Linguistik*. Bochum, 1985.

Рецензируемая книга тематически и идейно связана с монографией [1]. Однако по сравнению с последней проблема функциональной стратификации языка ставится здесь более широко и решается на материале многих языков в современном их состоянии и в исторической ретроспективе (соответственно этому книга делится на две главы: главу I — «Варианты функциональной стратификации современных языков» и главу II — «Вопросы реконструкции функциональных парадигм»).

В основе исследования лежит единая научная концепция, предполагающая общность исходных понятий и принципов. Одно из основных понятий — функциональная парадигма — было определено еще в [1] как «модель, отражающая иерархическое построение системы форм существования конкретного языка» [1, с. 4]. В рецензируемой книге это понятие развито и «наполнено» типологически разнообразным языковым материалом.

В качестве исходных установок при изучении функциональной парадигмы авторы принимают следующие положения: (1) функциональная парадигма многих современных языков динамична, компоненты ее подвижны в социальном и территориальном отношениях; чтобы выявить все существенные свойства таких динамичных парадигм, необходимо (2) сочетать собственно лингвистический анализ с анализом историко-культурных и социальных условий, в которых функционирует язык в ту или иную эпоху, и (3) привлекать для изучения максимально широкий спектр данных, включая тексты разнообразных жанров, свидетельства современников, оценки фактов языка говорящими и т. п. Ориентация на такой комплексный подход к изучению функциональной стратификации языков как на современном этапе их развития, так и особенно в прошлом их состоянии характерна для всех разделов книги.

Авторам удалось установить ряд общих закономерностей, присущих функциональным парадигмам различных языков. Для современного состояния парадигм характерны такие черты: 1) отсутствие жестких границ между различными формами существования языка; 2) интенсивное взаимодействие литературного языка, территориальных и социальных диалектов и связанная с этим постепенная утрата узкоспецифических черт; 3) образование промежуточных подсистем (полудиалектов); 4) мощное влияние литературного языка на все другие подсистемы, нивелировка их; 5) возрастание полифункциональности литературных

языков; 6) территориальная и социальная вариативность литературных языков, связанная с расширением и качественными изменениями состава их носителей, и некот. др.

Наряду с этими общими свойствами функциональных парадигм каждый из авторов демонстрирует и специфические черты тех или иных языков (или групп языков) в их функциональном членении.

Так, Н. И. Толстой, давая сравнительную характеристику функциональных свойств современных славянских литературных языков, кладет в основу этой характеристики систему признаков, в которой находят отражение два типа противопоставлений: 1) синхронии и диахронии (ср. признаки группы А и Б, учитывающие соответственно отношения литературного языка с другими формами существования национального языка и особенности его исторического развития и 2) языка и культуры (ср., с одной стороны признаки групп А и Б и, с другой, групп В и Г: последние описывают культурный и этнический контекст существования литературного языка). Прилагая эти признаки к различным славянским литературным языкам, автор показывает их несходство по соотношению с диалектной базой, по степени близости к народно-поэтическому койне, по наличию / отсутствию разговорно-обиходной разновидности, территориальных вариантов, по степени нормативности и стабильности нормы и т. п.

В связи с указанной системой признаков, необходимых для описания функционального членения различных языков, возникают два вопроса: 1) не следует ли среди этих признаков предусмотреть не только территориальную вариативность литературного языка (см. п. А4 на с. 15), но и вариативность социальную? Ведь в современных условиях, как пишет и сам автор, «число носителей литературного языка [во многих странах. — К. Л.] очень резко возросло» (с. 21), что обуславливает, несомненно, большую его гетерогенность, чем при сравнительно узком круге носителей. Это порождает и второй вопрос: 2) не следует ли учесть в качестве одного из признаков, по-разному характеризующих различные литературные языки, такой: стабильность / нестабильность во времени социального состава носителей литературного языка? Очевидно, что литературный язык с традиционно устойчивым социальным составом носителей более гомогенен, чем литературный язык, состав носителей которого меняется во времени [2].

Неоднородным состав носителей лите-

ратурного языка может быть и синхронно. В этом отношении интересный случай несовпадения лингвистического и социального статусов языка демонстрируют современные урду и хинди: если, как показывает В. А. Червышев, в лингвистическом плане это «две [литературные.— К. Л.] формы единого разговорного языка», то в плане социальном они «все более выступают как два самостоятельных языка, на которых говорят различные, весьма значительные группы главным образом городского населения» (с. 26).

Динамичность, неустойчивость функциональной парадигмы современного английского языка в США подчеркивает А. Д. Швейцер. Из анализа различных территориальных, социальных, этнических и др. форм существования американского варианта английского языка (более подробно этот анализ представлен в [3]) он делает вывод о том, что «для системы этих форм в целом характерно состояние „неустойчивого равновесия“, отсутствия четких границ между ее компонентами», вследствие чего в современных условиях «явно ощущается ограниченность объяснительной силы статических моделей языковой ситуации, которые должны быть дополнены ее динамическим описанием» (с. 53).

Л. И. Баранникова обсуждает вопрос о месте разговорной речи (РР) в функциональной парадигме русского языка. Дискуссионность этого вопроса хорошо известна: одни исследователи считают РР одним из функциональных стилей литературного языка (см., например [4]), другие указывают на самостоятельность и «самодостаточность» этой языковой подсистемы [5, 6]. Автор противопоставляет РР как речь «принципиально устную» (с. 62) всем функциональным стилям литературного языка и показывает, что предпосылки к формированию нового типа речи, «который сочетал бы в себе живость, непринужденность, творческую активность просторечия и набор необходимых средств... для выражения более сложных [чем бытовые.— К. Л.] понятий» (с. 58), были уже в начале XIX в., однако полностью РР как самобытная разновидность русского литературного языка оформилась позднее. Носителями ее являются культурные слои общества, и это отличает русскую РР от похожих форм существования других языков.

Так, например, она не похожа на разговорную форму чешского литературного языка, для которой характерна кодифицированность, и в то же время функционально не совпадает с обиходно-разговорным чешским языком (*obecná čestina*): как показывает Г. П. Нецимекко, *obecná čestina* используется «большой частью чехословацкого населения» (с. 70), незав-

симо от социальных и культурных различий говорящих. Характерными для чешской языковой ситуации Г. П. Нецимекко считает следующие процессы: 1) пивелировку региональной маркированности языковых разновидностей; 2) укрепление позиций литературного языка в коммуникативной сфере официального общения; 3) возрастание значимости устной коммуникации (с. 76—79), а также тенденцию к взаимопроникновению различных подсистем чешского национального языка, что обуславливает появление «смешанных текстов», где литературная лексика соединяется с фонетическими и морфологическими элементами обиходно-разговорного языка (с. 82 и сл.).

Заметим, что указанная тенденция в большей или меньшей степени характеризует развитие многих современных языков, даже таких, в которых сильны традиции достаточно жесткого разграничения языковых средств в зависимости от территориальной и социальной неоднородности говорящих. Например, в современной Японии, — пишет В. М. Алпатов, — «благодаря влиянию школы и средств массовой коммуникации системой литературного языка в той или иной степени владеют практически все» (с. 87). Исследователь указывает, что коммуникативная роль диалектов и полудиалектов уменьшается и что подавляющее большинство сфер и ситуаций общения обслуживается литературным языком, в котором наблюдается варьирование — в зависимости от формы реализации (устная и письменная разновидности) и от типа ситуаций (ситуации с определенным и ситуацией с неопределенным адресатом значительно различаются, в частности — по набору используемых форм вежливости, составляющих, как известно, специфическую черту японского языка [7]).

Знакомство с разделами о функциональном членении современных адыгских языков (З. Ю. Кумахова и М. А. Кумахов), таджикского (А. А. Керплова), суахили (И. С. Рябова) и хауса (В. Я. Порхомовский) убеждает в том, что характер функциональной парадигмы языка в значительной мере обусловлен уровнем культурного и социального развития общества, обслуживаемого данным языком, а также глубиной и разработанностью книжно-письменной традиции: чем «молочнее» эта традиция, тем менее определены отличия литературных форм языка от диалектных и полудиалектных, тем слабее внутренняя функционально-стилистическая дифференциация литературного языка. Ср. в этом отношении наблюдения З. Ю. и М. А. Кумаховых над современными адыгскими языками, где «между диалектом и разговорной речью нет чет-

ких границ» (с. 100), где «представители интеллигенции (причем не только сельской) в качестве повседневной, обиходно-разговорной речи широко используют диалект» (с. 101) и где литературные языки «оформились прежде всего как языки художественной литературы» (с. 103), а другие их стилистические разновидности (ср. научный, официально-деловой, публицистический стили) развиты, по видимому, в меньшей степени (авторы статьи об адыгских языках оставляют в тени вопрос о том, каковы функции адыгских литературных языков сейчас). Весьма показательна также трехчленная парадигма таджикского языка (литературный язык, диалекты, разговорный наддиалектный язык) с достаточно высокой коммуникативной и социальной значимостью диалектов: на диалектах говорят представители не только сельского, но и городского населения.

По поводу используемого в разделах о таджикском и адыгских языках термина «разговорная речь» следует заметить, что он имеет иное содержание, нежели тот же термин, применяемый, скажем, в отношении соответствующей разновидности русского языка. В последнем случае это разновидность литературного языка [никакой связи с диалектами, тем более, бесспорной, как полагают З. Ю. Кумахова и М. А. Кумахов (с. 99), у русской разговорной речи нет]; в первых же двух мы имеем дело с особой наддиалектной формой устной речи, не входящей в систему литературного языка. Это различие в достаточной степени не подчеркнуто в разделе об адыгских языках.

Ситуации в суахилиязычных (Танзания и Кения) и хаусаязычных (Нигерия и Нигер) странах характеризуются социальной ограниченностью круга лиц, владеющих литературной формой этих языков, их этнической неоднородностью, а также наличием индигенизированных вариантов языка.

В качестве общего замечания к главе первой следует сказать, что редактор книги избрал, на мой взгляд, не самый лучший вариант композиции этой главы: разделы, написанные Н. И. Толстым, Г. П. Нецименко и, отчасти, Л. И. Баранниковой, посвященные функциональной типологии славянских языков, имеют ряд точек сопоставления, в связи с чем естественно было бы поместить эти разделы друг за другом, а не «прославить» их разделами, описывающими совершенно иные (и, кроме того, различающиеся между собой) языковые ситуации в Индии и в США. То же относится и ко второй половине этой главы: параграфы о суахили и о хауса, близкие по материалу и по выявленным закономерностям в функционировании этих языков, разобщены, как и

параграфы об адыгских и о таджикском языках.

Вторая глава посвящена проблеме реконструкции функциональных парадигм. Авторы этой главы опираются на положение, согласно которому «общая типология языковых ситуаций должна быть ориентирована не только на современные закономерности, но и на функциональные системы, существовавшие в более ранние исторические эпохи» [1, с. 9].

Для разделов, составляющих эту главу книги, характерны две особенности: с одной стороны, авторы показывают, что, несмотря на ограниченность сведений о прошлом состоянии языков, реконструкция их функциональных парадигм не только возможна, но и вполне успешно осуществляется. С другой стороны, обращает на себя внимание трезвость в оценке возможностей такой реконструкции, понимание ограниченности результатов, получаемых на этом пути исследования (см. в этом отношении с. 7—9, 160—161, 164, 168, 180 и др.).

Общими для эволюции функциональных парадигм многих языков оказываются такие черты: 1) развитие этих парадигм от двучленной структуры (обработанные/необработанные формы языка) — к трехчленной (литературный язык — диалект — полудиалект) и далее к многочленной: каждый из двух компонентов исходного противопоставления (обработанные/необработанные формы) претерпевает дальнейшее расслоение, функциональную, социальную и территориальную дифференциацию; 2) развитие от четкого размежевания различных подсистем, что было характерно для функциональных парадигм в прошлом, к размыванию их границ, к их взаимопроникновению.

Авторы некоторых разделов обращаются к довольно отдаленным эпохам развития языков (ср. изучение А. Г. Беловой функционального членения арабского языка I тысячелетия н. э. и М. Н. Славянской — языковой ситуации в Греции III в. до н. э.). Тем не менее, анализ сохранившихся текстов, а также широкого культурного и социального фона, на котором происходило взаимодействие различных форм этих языков, позволяет сделать определенные выводы о строении соответствующих функциональных парадигм [в арабском — четырехчленная парадигма: древнеарабские диалекты — городские полудиалекты — эпиграфический язык — поэтический язык; в греческом — множественность признаков, по которым обработанные формы языка противопоставлялись необработанным (по типу репрезентации: письменная/устная; по соотношению диалектов: аттический диалект как социально наиболее престижный, «эталонный»/все остальные диалекты;

но социальной дифференциации носителей: язык образованных/язык низов, язык культурных центров/язык периферии)].

Авторы параграфов о немецком (Н. Н. Семенов), португальском (Е. М. Вольф), французском (И. И. Чельшева) и нидерландском (С. А. Миронов) языках исследуют примерно один и тот же период в развитии этих языков — XV—XVI вв. Этот период был отмечен рядом значительных изменений в социальной жизни многих европейских государств и народов, и эти изменения не прошли бесследно для развития соответствующих языков. Так, Н. Н. Семенов в статье, которая содержит положения, представляющие общетеоретический интерес (таковы, например, сформулированные автором требования к стратегии восстановления функциональных парадигм языка: см. с. 157—159, 168), воссоздает картину соотношения различных форм существования немецкого языка, привлекая к анализу не только данные текстов и словарей, но и сведения, характеризующие культурно-исторические условия развития языка. Е. М. Вольф показывает, что миграционные процессы, в центре которых находился Лиссабон XVI в., а также инфильтрация в португалоязычную среду определенных социальных групп испанцев способствовали сосуществованию разных форм португальского литературного языка и активному испанско-португальскому двуязычию в некоторых социальных слоях и в литературе (см. с. 172 и сл.). Социальные факторы обуславливали также дифференциацию португальского языка этой эпохи: в нем выделялись общий язык, образованный язык, специальные языки, местные говоры и пиджинизированные формы просторечного и арготического характера. И. И. Чельшева отмечает сосуществование во Франции XV в. двух литературных языков — французского и латыни, при этом французский язык постепенно вытеснил латынь и приобрел свойства полифункционального коммуникативного средства. Автор обращает внимание также на изменения в статусе диалектов: утрачивая узколокальные черты, территориальный диалект феодального общества превращается в территориально-социальный диалект (с. 216). С. А. Миронов при восстановлении функциональной парадигмы нидерландского языка XVI—XVII вв. приходит к выводу, что, в отличие от средненидерландского периода, когда существовала двухкомпонентная парадигма (литературный язык — диалекты), в это время «уже складывается трехчленная функциональная парадигма, выделяющая три страта: низший — диалект..., промежуточный — городское койне..., и

высший — литературный язык» (с. 229). При этом городское койне и литературный язык выступают в нескольких ареальных и региональных разновидностях.

Раздел о функциональной парадигме древнеуйгурского языка (автор — Э. Р. Тенишев) несколько отличается от остальных статей рассматриваемой главы тем, что автор уделяет основное внимание анализу собственно языкового материала и, в частности, структурных свойств древнеуйгурского литературного языка. Реконструкция литературного языка и территориальных диалектов осуществляется на базе письменных источников, по которым Э. Р. Тенишев устанавливает наиболее характерные черты выделяемых стратов. Закljučая статью, Э. Р. Тенишев пишет о том, что восстановление функциональной парадигмы языка «не отличается чем-либо существенным от реконструкции языковых элементов в обычном смысле (так же, как и сама процедура реконструкции)» (с. 201). Этот вывод кажется противоречащим тому, что сказано Н. И. Толстым: «если, применяя сравнительно-исторический метод [в исследовании внутренней структуры языков.— *И. Т.*], мы в абсолютном большинстве случаев исходим из прасостояния», то «при изучении функциональной стратификации языка... исходной основой (моделью), как правило, служит современное состояние» (с. 13). Независимо от того, кто из этих двух авторов прав (предпочтительной все же представляется точка зрения Н. И. Толстого), подобное противоречие едва ли допустимо в работе, опирающейся на единую теоретическую концепцию в отношении объекта и методики исследования.

Логика построения второй главы также вызывает некоторые возражения. Разделы о немецком и нидерландском языках, близкие по материалу и наблюдаемым закономерностям в соотношении компонентов их функциональных парадигм, разобщены. То же следует сказать относительно разделов о португальском и французском языках. Вместе эти четыре раздела характеризуют функциональное членение языков западноевропейского ареала приблизительно в одну и ту же эпоху и в сопоставимых социальных условиях. Решение редактора «вклинить» между этими разделами статьи, посвященные греческому и древнеуйгурскому языкам, не представляется убедительным.

В заключении предпринята успешная попытка наметить основные виды функционального членения языков. Единство принципов изучения и последовательность их применения при анализе функциональных парадигм конкретных языков дают возможность выявлять если не

универсальные, то во всяком случае достаточно типичные черты этих парадигм.

Подытоживая рассмотрение коллективного труда «Функциональная стратификация языка», следует подчеркнуть, что эта монография является еще одним шагом на пути изучения функционального многообразия языков. Дальнейшие исследования в этом направлении, «каталогизация» функциональных парадигм разного типа, их сравнительное изучение создадут необходимые предпосылки к построению функциональной типологии языков. Начало этой типологии положено рецензируемой книгой.

Крысин Л. П.

ЛИТЕРАТУРА

1. Типы наддиалектных форм языка. М., 1981.
2. Русский язык и советское общество. Кн. I—IV / Под ред. Панова М. В. М., 1968.
3. Швейцер А. Д. Социальная дифференциация английского языка в США. М., 1983.
4. Сиротинина О. Б. Современная разговорная речь и ее особенности. М., 1974.
5. Русская разговорная речь. М., 1973.
6. Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н. Русская разговорная речь. Общие вопросы, словообразование, синтаксис. М., 1981.
7. Алпатов В. М. Категория вежливости в современном японском языке. М., 1975.

Топоров В. Н. Прусский язык. М.: Наука. [Т. 1]. 1975. 399 с.; [Т. 2]. 1979. 352 с.; [Т. 3]. 1980. 384 с.; [Т. 4]. 1984. 439 с.

Прусский язык, принадлежащий к западнобалтийским языкам, вышел из употребления примерно в начале XVIII в. [1, с. 26]. Первые попытки создания научного словаря этого языка были предприняты еще в прошлом веке. За небольшим словарем, приложенным к грамматике Г. Нессельмана [2], последовал словарь, составленный тем же автором [3] и содержащий, помимо лексики, известной по памятникам, некоторые топонимы и диалектизмы. Словари прусского языка, включающие ряд сведений по этимологии, имеются у Э. Бернекера [4], Р. Траутмана [5], Я. Эндзелина [6] и В. Мажюлиса [7]. Следует упомянуть также исследование топонимов, принадлежащее Г. Герулису [8], и работу Р. Трутмана по личным именам [9].

В. Н. Топоров указывал в предисловии к первому тому, что за этим томом следуют еще три, а также том, в котором будут «подведены итоги исследований в области сравнительно-исторической грамматики и лексики прусского языка». Последний том должен также включать «ряд соображений о месте этого языка среди других балтийских, об отношении к славянскому этнолингвистическому комплексу, о связях с другими н.-е. языками» и о других темах, существенных для понимания прусского языка и народа (с. 3). Однако вышедший четвертый том словаря содержит заключительную часть глоссы на *k-* и только первую часть слов на *l-* (до **laid-ik-*). Таким образом, работа явно должна превысить

по объему запланированные пять томов. Сказанное отнюдь не упрек в адрес автора, являющегося, на наш взгляд, одним из самых эрудированных лингвистов современности, а доказательство его желания как можно полнее и подробнее описать прусский язык и через него носителей этого языка — пруссов.

Работа В. Н. Топорова замечательна тем, что она содержит большое число слов, реконструированных на основании польских, немецких и других источников. Таким образом, словарь не только представляет во всей полноте лексику прусского языка, но и приводит данные предшествующих работ в соответствие с результатами новейших исследований. Поскольку носителей прусского языка уже нет, ученым приходится довольствоваться попыткой разгадать прусскую орфографию. В. Н. Топоров пишет, что «отношение графики и фонетики, буквы и звука продолжает оставаться камнем преткновения при решении слишком многих конкретных вопросов прусской грамматики и этимологии» (1, с. 9).

Твердой уверенности В. Мажюлиса и других ученых в адекватности прусской орфографии фонетическому строю языка В. Н. Топоров противопоставляет мнение автора этих строк о неоднозначном отношении между графическим и звуковым рядом, о «посулировании большой степени свободы между ними, допускающей многочисленность вариаций, вплоть до случаев, граничащих с произволом» (1, с. 10). Сам В. Н. Топоров пытается

маневрировать между этими двумя крайними точками зрения, хотя и говорит о предпочтительности более широкого взгляда на данную проблему. Пока, однако, «более... широкий взгляд еще не получил прав гражданства» (1, с. 10): автор указывает, что такой взгляд на графику приводит на путь, который чреват дополнительным риском, но оправдан самой природой наблюдаемых фактов. Было бы нецелесообразно отказываться от такого подхода, хотя он уводит нас в область предположений, а не точных выводов. Следует подчеркнуть, что неполное и не совсем последовательное соответствие орфографии фонетике — всеобщее явление. Подобный взгляд на орфографию обосновывается в наших работах [10—13]. Например, в [10, с. 305] указывается, что даже соблюдение последовательных орфографических принципов не означает с обязательностью правильной передачи звукового состава слова. Дж. Левин возражает на это: «Подобное утверждение может иметь смысл, только если мы определим текст как фонологическую, фонетическую или морфологическую транскрипцию» [14, с. 204]. По его мнению, ни один серьезный исследователь текста не может дать такого определения. Дж. Левин продолжает: «Единственным показателем правильности записи является именно последовательность орфографической системы, особенно если изучаемый текст — первое воплощение последующих орфографических установлений» [14, с. 204]. Таким образом, по Дж. Левину, автора этих строк нельзя признать серьезным исследователем текстов, поскольку он исходит из того, что прусский текст был именно своего рода попыткой фонетической транскрипции. Кажется весьма странным, что у пруссов мог существовать некий абстрактный код, не имевший ничего общего с реальной фонетической системой (нельзя не учитывать, например, что по крайней мере катехизис народу читали вслух). Конечно, нам никогда не приходило в голову апализировать текст без обращения к действительным фактам звукового состава языка. В то же время здесь уместно сослаться на старолатышские тексты (хотя, как известно, двух одинаковых случаев не бывает). По Аугстгалну, которого цитирует Озол [15, с. 76], наиболее характерной чертой ранних латышских текстов являлась передача всех окончаний с кратким гласным через *e*. Если следовать Дж. Левину, надо заключить, что это «правильное» окончание: оно последовательно встречается во всех текстах и в самой этой встречаемости есть система. Иными словами, внутренняя реконструкция на основании текстов показывает, что такое окончание существовало. В от-

личие от Дж. Левина, мы считаем, что латышские тексты не являются по замыслу кодом какого-либо рода, а представляют собой попытку передать фонетическую действительность языка. При исследовании этой фонетической действительности имеет смысл исходить в первую очередь из фактов современного латышского языка, а уже потом — из старолатышских текстов. Итак, в отличие от Дж. Левина, мы считаем, что В. Н. Топоров вправе приводить в словарной статье транскрипцию слова или даже давать варианты этой транскрипции. Подобная практика имеет прецедент, установленный Э. Стергевантом [16]; его хеттская грамматика снабжена указателем слов, в котором за слоговой транскрипцией следует и фонетическая запись слова.

Статьи «Прусского словаря», которые могут быть примером стремления автора выявить варианты транскрипции, поражают своей подробностью и свидетельствуют о необычайной эрудиции В. Н. Топорова в области этимологии, мифологии, общей культуры. В качестве иллюстрации можно привести этимологию слова *clōkis* «медведь», которому автор посвящает почти девять страниц (4, с. 69—78). Словарная статья открывается обсуждением контекста, в котором слово *clōkis* представлено в Эльбингском словаре (оно значится там под номером 655, а соответствующий контекст задается словами 656. *Caltestisklok* «Czidelber», 657. *Wilks* «Wulf», 658. *Lape* «Vochz» и др.). Статья содержит отсылки к топонимам *Tlokunpelk*, *Tlokove*, *Lokow* и др., почерпнутым из [8]. Топонимический материал показывает, что развитие слова шло следующим путем: **ilokis* — **klōkis* — **lokis*. Возможно, литов. *lokjys* «медведь» происходит из **klākis* (< **tlākis*) с исчезновением *k*- в анлауте в результате диссимиляции. В. Н. Топоров упоминает также приводимое В. Кипарским [17] замечание Б. Блока о том, что в некоторых диалектах американского варианта английского языка [k] и [t] перед глухим [L] свободно варьируют; носители языка не различают [tL] и [kL].

По мнению автора этих строк [11, с. 123], в прусском мог существовать только один латеральный взрывной, который воспринимался одними посетителями немецкого языка как велярный, а другими как дентальный.

Далее в рассматриваемой словарной статье отмечается, что **clōkis* может вводиться к **tlāk*, а значит, его нельзя связывать с литов. *lākti*, лтш. *lakt* «лизать». Славянское соответствие представлено серб.-хорв. *лакка* «волос, шерсть»; ср. также русск. *волкодлак*, *волколак(а)* «оборотень, человек, превращающийся в вол-

ка». Подобные соответствия позволяют толковать прусск. **llokis* как «обладающий шкурой (шерстью)». Удаётся реконструировать праформу **tlak-l*dlak-*, которую, в свою очередь, можно сопоставить с реконструкцией и.-е. **ǵk̑-s* или **ǵk̑-s-o-s*, **ǵk̑-to-s* «медведь» [18, с. 875]. К этой и.-е. форме возводятся др.-греч. *árktos*, хет. *hartagga-*, имя древнегреческой богини охоты Артемиды (В. Н. Топоров приводит также варианты этого имени, встречающиеся в лидийских надписях, — *Artimús*, *Artimul*, *Artimu-k*) и т. д. Др.-греч. *Arkades* сравнивается затем с хет. *hartagga-* «человек-медведь, медвежий человек». В. Н. Топоров указывает, что славянские и балтийские данные дают основания считать, что славяне и балты верили в мифического медведя-оборотня и что им был известен ритуал «медвежьих людей» (людей, облаченных в медвежьи шкуры). В. Н. Топоров приводит также родственное древне- и средне-нрландское *art* (ср. нипр. *arth*, бретон. *krabanarz* «bear's-breest») и ряд других родственных слов кельтских языков. Он отмечает, что баск. *hartz* «медведь» может быть заимствованием кельтского слова. Кроме того, он цитирует др.-инд. *íkṣa-*, авест. *arša*, родственные слова из иранских и дардских языков, арм. *arj* и алб. *ari*.

По В. Н. Топорову, «объяснения и.-е. слова для медведя до сих пор страдали недостоверностью в том, что касается происхождения этого слова или, по крайней мере, его семантических мотивировок». Так, название медведя связывалось с др.-инд. *rákṣas* «разрушение» или с авест. *raš-* «вредить, нанести ущерб». Как конкурирующие решения этимологии имени *Artemis* выступают указание на связь с обозначением медведя **art-* и указание на связь с др.-греч. *ártamos* «мясник», «повар». В. Н. Топоров полагает, что включение в данную группу слов и.-е. **ǵdkos*, слав. **dlak-* и, таким образом, прусск. **llokis* (а соответственно, и литов. *lokys*, лтш. *lācis*) могло бы позволить думать об исходной внутренней форме со значением «обросший шерстью» или «косматый» (хотя существует возможность обратного хода развития — от «медведь» к «свойственный, присущий медведю» и затем к «медвежья шкура»). По мнению автора словаря, неясность и.-е. этимологии вынуждает предположить возможность заимствования, например, из месопотамского источника. Исходной, вероятно, была форма *ereqi* или *ereqat*, воспринятая уже во втором тысячелетии до н. э.

Возвращаясь к идее разрушения, связываемой с образом медведя, В. Н. Топоров замечает, что в своей недавней работе [19] Р. Эккерт разобрал устойчивые фразеологические сочетания, в ко-

торых слово, обозначающее медведя, сочетается со словами «ломать» и «драть». Ср., например, *Ogonь пошел медведя жечь, медведь пошел людей ломать*. Обсуждая эту проблему, В. Н. Топоров высказывает предположение о том, что литов. *lokiamušys* «медведеубийца» позволяет реконструировать «перевернутую» схему: *lokys* «медведь» и *mūšti* «бить». Связь образа медведя с идеей разрушения подтверждается и вост.-литов. *luðkyti* (ср. также *lo'kyti*) «разбивать лед, чтобы ловить рыбу» и в особенности приставочными глаголами *ap-luðkyti* «бить», *pri-luðkyti* «задавать трепку», *su-luðkyti* «побить».

Для того чтобы читатель мог составить представление о полноте описания, данного в словаре, укажем, что В. Н. Топоров отводит словарной статье **clockis* девять страниц и цитирует в ней около ста пятидесяти работ. В статье Э. Френкеля о литов. *lokys* «медведь» [20], занимающей чуть более столбца (около половины страницы,) цитируется восемнадцать работ. Около страницы посвящает И. Тишлер [21] хет. *hartagga-*, определяемому им как «Raubtier» (автор отмечает, что это слово обычно этимологизируется как «медведь»). В статье И. Тишлера всего около двадцати ссылок; в ней приводится только стандартное написание хеттского слова, тогда как В. Н. Топоров перечисляет варианты клинописной записи (*har-tág-ga-aš*, *ha-ar-taq-qa*, *har-ta-ka-aš*) и цитирует отрывок из хеттского ритуального ритуала: ... *har-tág-ga-aš-ma-aš-ta ša-ra-a ar-ki-iš-ki-it-ta* «... медведь взбирался на вас». Этот отрывок он даже со составляет с мотивом влезания на дерево графа Шемёта из рассказа П. Мериме «Локис». В. Н. Топоров обращает внимание и на тот факт, что хеттское обозначение *LÜ.MES UR.MAH* «человек-медведь» — своего рода параллель обозначениям сходных ритуальных персонажей в соответствующих хеттских текстах, ср. *LÜ.MES UR.BAR.ĀA* «люди-волки».

Все это свидетельствует о том, что работа В. Н. Топорова — много больше, чем словарь; это прекрасное справочное издание по сравнительной мифологии.

Великоленная статья посвящена прусской глагольной частице *-lai-* (маркирующей опатив и кондиционалис) (4, с. 418—436 [примеч. перев.]). Тщательный анализ глагольных форм на *-sei* и *-lai* позволяет В. Н. Топорову вслед за Х. Стангом [22, 23] предположить, что «формы на *-sei* семантически более п е з а в и с и м ы и обнаруживают свою опативность чаще и чище». Семантика форм на *-lai* затемнена и существенно варьирует в зависимости от окружения. Распределение частиц можно проиллюстрировать следующими примерами: *Twais swints Emgels*

baīsei sen mām «Твой святой ангел да будет со мной» (реальный пример с глаголом в опативе) и **As madli tien, kai twais swints Engels baulai (boūlai) sen mām* «Молю тебя о том, чтобы был со мной твой святой ангел» (реконструированное предложение, смонтированное из реально засвидетельствованных частей). В первом случае глагол в опативе стоит в главном предложении, во втором — в придаточном.

Далее (с. 429) В. Н. Топоров пишет, что обычно связь между славянским **li* и балтийским **lai* отрицается в силу слишком существенных различий по смыслу. Действительно, славянское **li* чаще всего появляется в вопросительных предложениях, а балтийское **lai* в пермиссивных или волютивных. Однако при внимательном взгляде на факты обнаруживается, что в балтийских языках имеются переходные явления, напоминающие случаи использования славянского **li* в вопросительных предложениях. В славянских языках, в свою очередь, **li* нередко употребляется в функции, сходной с функцией балтийского **lai* или даже абсолютно аналогичной ей.

В латышском, например, *lai* употребляется как в независимых, так и в подчиненных предложениях, для выражения сомнения; ср. соответственно: *Kuo lai daru* «Что мне делать» и *Es nezinu kuo lai es iesāku* «Не знаю, с чего начать». Такое употребление согласуется с употреблением русской частицы *ли*, служащей в некоторых сочетаниях, первоначально вопросительных, для выражения сомнения, удивления и т. п.» [24, с. 206]. Недалеки от этого и другие функции **li*. Ср. уступительную функцию *ли* в древнерусском: *Въ градѣ(ѣ) въ немѣ(ѣ) же живещи и въ имѣехъ окръстныхъ поштити ли единого члвка бояштя ся Бѣ* (Изборник Святослава, 1078, 76), где *ли*=*хотя* (*бы*). Ср. также употребительное латышское выражение, например, *Lai diena, lai nakts man jāstrada* «День ли, ночь ли, мне надо работать (даже если сейчас день...)» и т. п.

Для балтийских языков актуален также вопрос о соотношении служебного *lai* с «однокоренным» глаголом — лтш. *lais*, литов. *léisti* «разрешать». Каким путем шло развитие: превратился ли полнозначный глагол в союз, частицу, междометие или частица была «достоена» до этого глагола, — остается неясным. Весьма неясен и вокализм и-е источника *lais/léisti*; его, может быть, удалось бы объяснить, если исходить из того, что глагол развился из частицы, к которой был присоединен вербализатор *-d*. В связи с этим В. Н. Топоров приводит возможное хетское соответствие — глагол *lāmi, lāši, lai* «освобождать», вероятно (прямо это не утверждается), с корнем *la-*

Довольно подробно обсуждается и возможность того, что хет. *ēšlit, ēšlut, ašal-lu* «ich will sein» и образования на *-li* в других и-е языках (тохарском, армянском, славянских, валлийском, корнском) могут быть связаны с балтийскими формамп.

Обсуждение прусск. **lai-* занимает восемнадцать страниц и, несомненно, является самым подробным во всей соответствующей литературе. Укажем, что и Эндзелин [6], и Станг [22] посвящают этой проблеме две страницы, а в [23] она излагается на четырех. Мы упоминаем здесь об этом лишь для того, чтобы показать, что словарь В. Н. Топорова может служить и справочником по сравнительной грамматике балтийских — равно как и других индоевропейских — языков.

Единственное, что может вызвать критические замечания в этой статье, — слишком незначительное различие рассматриваемых модальных значений. Это позволяет предполагать, что сходство в употреблении слав. **li* и балт. **lai* — результат естественного независимого развития языков соответствующих групп, а не следствие генетического родства. Но как бы то ни было, исторических доказательств, подтверждающих либо генетическое родство форм на *-li*, либо их независимое развитие в славянских и балтийских языках, нет и, видимо, не будет.

На с. 126 первого тома словаря В. Н. Топоров замечает, что прусская глагольная форма 1-го л. мн. ч. наст. вр. *asmai* совпадает с формой 1-го л. ед. ч. наст. вр. *asmai*, «что само по себе удивительно». Далее он пишет, что хотя в [5, с. 274] и [6, с. 105] допускается влияние форм 1-го л. ед. ч. на формы 1-го л. мн. ч., это «также кажется страннным». В нашей работе [11, с. 239] тоже отвергалась возможность такого влияния одной формы на другую. Здесь, однако, нам хотелось бы отказаться от своего прежнего взгляда и высказать мнение, что форма 1-го л. ед. ч. *asmai* и форма 1-го л. мн. ч. *asmai* — это одна и та же форма. В связи с этим отметим, что в ряде английских диалектов форма *am* употребляется вместо формы *are* в сочетании с местоимениями *we, ye* и *they*; ср. *wэм* «we are» (по [25, с. 296—297]). В нашей ранней работе перечислялись языки, в которых формы 1-го л. ед. ч. и 1-го л. мн. ч. не совпадают, но теперь мы полагаем, что если та или иная черта представлена в большом числе языков, то это само по себе еще не составляет весмого довода в пользу изучаемого явления [26, с. 17—18].

Заключая этот краткий обзор, мы хотели бы указать на наш комментарий словаря, данный в [27, с. 248—249]. В [11, с. 412—418] содержится наша оценка первого тома словаря. По завершении сло-

варь В. Н. Топорова станет, несомненно, одной из самых существенных этимологических работ в балтистике. В будущем ни одна сравнительно-историческая работа по индоевропеистике не сможет считаться законченной, если автор ее не обратится к рецензируемому словарю.

Шмальstieg У. Р.

Перевела с английского *Полинская М. С.*

ЛИТЕРАТУРА

1. *Mažiulis V.* Prūsų kalbos paminklai. Vilnius, 1966.
2. *Nesselmann G. H. F.* Die Sprache der alten Preussen an ihren Ueberresten erläutert. Berlin, 1845.
3. *Nesselmann G. H. F.* Thesaurus linguae prussicae. Berlin, 1873.
4. *Berneker E.* Die preussische Sprache. Texte, Grammatik, etymologisches Wörterbuch. Strassburg, 1896.
5. *Trautmann R.* Die altpreussischen Sprachdenkmäler. Göttingen, 1910.
6. *Endzelins J.* Senprāšu valoda, Rīga, 1943 (перепечатано: *Endzelins J.* Darbu izlase. V. IV. 2. Rīga, 1982).
7. *Mažiulis V.* Prūsų kalbos paminklai. II. Vilnius, 1981.
8. *Gerullis G.* Die altpreussischen Ortsnamen. Berlin-Leipzig, 1922.
9. *Trautmann R.* Die altpreussischen Personennamen. Göttingen, 1925.
10. *Schmalstieg W. R.* An Old Prussian grammar. The phonology and morphology of the three catechisms. University Park—London, 1974.
11. *Schmalstieg W. R.* Studies in Old Prussian. A critical review of the relevant literature since 1945. University Park—London, 1976.
12. *Schmalstieg W. R.* Old Prussian and Hittite orthographic variants: A parallel // *Ponto-Baltica*. 1981. V. 1.

13. *Schmalstieg W. R.* // *General linguistics*. 1982. V. 22. № 3. Rec.: *Mažiulis V.* Prūsų kalbos paminklai. II.
14. *Levin J. F.* Graphology and sound change in Old Prussian // *Papers from the 5th International conference on historical linguistics* / Ed. by Ahlqvist A. Amsterdam, 1982.
15. *Ozols A.* Veclatviešu rakstu valoda. Rīga, 1965.
16. *Sturtevant E. H.* A comparative grammar of the Hittite language. Revised edition. New Haven, London, 1951.
17. *Kiparsky V.* Altpreussische Miscellen // *Donum Balticum* / Ed. by Ruķe-Draviņa V. Stockholm, 1970.
18. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. B. 1. Bern—München, 1959.
19. *Eckert R.* Die lexikalische Verknüpfung von russ. *dratъ*, *lomatsъ* «reissen, schinden» und *medvedъ* «Bär» und lett. *Lāčplēsis* // *Baltistica*. 1980. V. 16. № 2.
20. *Fraenkel E.* Litauisches etymologisches Wörterbuch. I—II. Heidelberg—Göttingen, 1962.
21. *Tischler J.* Hethitisches etymologisches Glossar. Innsbruck, 1977.
22. *Stang Chr.* Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen. Oslo—Bergen—Tromsø, 1966.
23. *Stang Chr.* Das slavische und baltische Verbum. Oslo, 1942.
24. Словарь современного русского литературного языка. Т. 6. М.—Л., 1957.
25. *Wright J.* The English dialect grammar. Oxford, 1905.
26. *Schmalstieg W. R.* Indo-European linguistics. A new synthesis. University Park—London, 1980.
27. *Schmalstieg W. R.* Baltic etymological dictionaries // *Das etymologische Wörterbuch: Fragen der Konzeption and Gestaltung* / Hrsg. von Bammesberger A. Regensburg, 1983.

Михальченко В. Ю. Проблемы функционирования и взаимодействия литовского и русского языков. Вильнюс: Мокдас, 1984. 224 с.

Рецензируемая книга заполняет ощутимый пробел в социолингвистической литературе. Изучение функционирования и взаимодействия языков в различных регионах СССР позволяет выяснить соответствие основных параметров языковой жизни тенденциям общественного развития. Уже появились работы, посвященные проблемам двуязычия и многоязычия, языковым процессам и общест-

венным функциям языков в Азербайджане, Узбекистане, Туркмении, Казахстане, Таджикистане и Молдавии. Что же касается языковой ситуации в республиках Прибалтики, то она до сих пор не подвергалась монографическому исследованию. Перед нами первый опыт в этой области. Отметим, что значение труда В. Ю. Михальченко выходит за рамки региональной социолингвистики, в нем

своеобразно интерпретируются и приобретают новое освещение фундаментальные проблемы социалингвистической науки.

Структура монографии оптимальна: первую главу автор посвящает литовскому языку — основному компоненту социально-коммуникативной системы Литовской ССР, вторую главу — взаимодействующим компонентам социально-коммуникативной системы (литовско-русскому двуязычию). Этим книга В. Ю. Михальченко выгодно отличается от большинства социалингвистических исследований, авторы которых вводят читателей в проблему национально-русского двуязычия, не осветив исторического развития национального языка, своеобразных традиций его функционирования в данном регионе. Изучение общественных функций литовского языка в диакронии позволило В. Ю. Михальченко глубоко и всесторонне осветить его роль в различных сферах использования в настоящее время.

Во введении автор затрагивает редко привлекающий внимание исследователей вопрос о том, что означает владеть (свободно владеть) языком. По его наблюдениям, «свободно владеть» языком в большинстве случаев воспринимается как «свободно, легко, без затруднений говорить, общаться», т. е. фактически свидетельствует о психологическом состоянии билингва, а не о результатах его речевой деятельности» (с. 24). В связи с этим автор рассматривает различные отношения к оценке «свободно», зависящие от возраста и образовательного статуса носителей языка.

Для получения объективных данных социалингвистического обследования необходимо, как отмечает автор, использовать различные приемы, которые дополняют и контролируют друг друга. Следуя этому принципу, В. Ю. Михальченко вносит определенный вклад в дальнейшее усовершенствование социалингвистических методов.

Автор производит деление сфер функционирования языков на две группы — аморфные и дифференцируемые — «в зависимости от наличия или отсутствия особых языковых образований, специфичных для сферы, характера использования речевых средств и социально-языковых результатов их развития» (с. 15). К аморфным средствам относятся торговля, транспорт, сельское хозяйство и др., к дифференцированным — наука, производство, художественная литература, массовая коммуникация, бытовое общение. Однако трудно согласиться с утверждением автора о том, что каждой сфере из числа «дифференцированных» обязательно должен соответствовать особый стиль и если массовая коммуникация,

например, не имеет «до сих пор» своего стиля, то она в недалеком будущем его приобретет (с. 19).

Для описания языковой жизни Литовской ССР используется введенный в свое время А. Д. Швейдером термин «социально-коммуникативная система» (далее — СКС). Надо отметить, что автору действительно удалось представить систему взаимодействия литовского языка с другими языками в дореволюционной и Советской Литве.

В 1-й главе В. Ю. Михальченко рассматривает развитие функциональных вариантов литовского литературного языка в связи с соответствующими сферами его функционирования.

Автор дает углубленный анализ функционирования литовского языка в различные исторические периоды (дописьменный, донациональный, национальный).

Литовский язык в своем историческом развитии прошел долгий путь, контактируя со славянскими языками — русским, украинским, белорусским, носители которых издавна проживали на территории современной Литвы, а также с немецким и польским (тесные связи с немецким и польским государствами способствовали распространению контактов с этими языками еще до XVI в.).

Литовско-славянское языковое взаимодействие привело, как указывает автор, к заимствованию русским языком литовских слов, обозначающих «реалии социальной и культурной жизни», а также реалии материальной культуры, специфические для литовского народа, например, *даржина*, *дякло*, *клуна*, *ном*, *пиркойта* и др. (с. 31).

Нельзя согласиться с балтийским происхождением восточнославянского *клуна* «помещение для молотбы и хранения хлеба в снопах и зерне; рига». Такова этимология М. Фасмера [1], возводившего *клуна* к лит. *klūonas* «ток; белпльня за сараем; навес», лит. *klūōns* «ток, гумно» и отвергавшего заимствование из польского (*klunia*, *klonia* «амбар из сосновых бревен, место для почлега»). Но М. Фасмер не принял во внимание общирность распространения этого слова (кроме украинского и белорусского, в центральных русских говорах, на Дону и на Кубани, на Урале и в Сибири до Амура; см. [2]), а также наличие фонетических вариантов *клунь* и *клунья* с тем же значением. Это позволяет связать *клуна* с праславянским **klon'a* (производным от глагола **kloniti*; см. [3]) и считать его исконно славянским образованием.

Реформы, узаконившие язык господствующей верхушки, неизбежно вели к изменению роли языков в общественной и культурной жизни Литвы, в этом ярко обнаруживалась социальная обусловлен-

ность развития литовского языка» (с. 33).

Сложная языковая ситуация сохранялась длительное время. Рост национального самосознания литовского народа способствовал развитию литовского литературного языка, расширению сфер его использования и функционально-стилистической дифференциации.

Прогрессивные ученые дореволюционной России выступали против запрета печатания книг на литовском языке. Вспомним о выдающемся русском языковеде акад. Ф. Ф. Фортунатове, который был наиболее авторитетным литуанистом начала XX в. и непримиримым противником практиковавшегося русским царизмом подавления национального достоинства литовцев. Неоднократно выступления Ф. Ф. Фортунатова против ограничений в праве преподавания литовского языка и запрещения латинско-литовского шрифта, как и вся его деятельность в защиту литовской культуры,нискали ему горячую благодарность передовой литовской интеллигенции (см. [4]).

Утверждение литовского языка в качестве государственного в буржуазной Литве (1919 г.) явилось толчком к развитию социальных функций литовского литературного языка во всех сферах общественной жизни. Однако этот период характеризуется резким сужением функций языков национальных меньшинств, чаще — запретом их преподавания в школе, «что порождало отсутствие гармонии между исторически сложившимися этническими условиями и СКС, усугубляло национальную рознь, делало СКС неадекватной нуждам развития народов, населяющих Литву» (с. 38—39).

В настоящее время из 22 сфер, выделяемых исследователями, литовский язык применяется в 20. Расширение общественных функций языка способствовало интенсификации формирования его норм — фонетических и морфологических, лексических и синтаксических.

Большим достижением развития литовского литературного языка в советский период явилось упрочение и обогащение функциональных стилей. В работе все стороны освещаются научный, публицистический, научно-учебный и другие стили литовского языка.

Во 2-й главе освещается ряд важных проблем функционального и языкового взаимодействия компонентов социально-коммуникативной системы. Автор устанавливает зависимость «подъемов» к «спадам» использования русского и литовского языков в досоветской Литве от языковой политики государства. Так, русский язык широко использовался в период запрета печати на литовском языке (1863—1904 гг.) и наоборот — литовский язык вытеснил все другие языки в бур-

жуазной Литве. «На фоне этих крайностей — языкового шовинизма и национализма, — пишет В. Ю. Михальченко, — наиболее ярко и выпукло видны достижения реализации принципов ленинской национально-языковой политики, нашедшей такое решение проблем языковой жизни многонационального государства, при котором диалектически сочетаются общее и частное, национальное и интернациональное, причем общее и интернациональное обеспечивается применением в разных сферах языка межнационального общения, а частное, национальное — использованием литовского языка в разных сферах общественной и культурной жизни литовского народа» (с. 107). Результатом ленинской национальной политики явилось распространение двуязычия, которое возникло в связи с необходимостью общения людей разных национальностей в трудовой и культурной деятельности. Этнические условия в республике также способствуют активному развитию двуязычия, в котором видное место отводится русскому языку — средству межнационального общения.

Второй параграф главы посвящен лингвистической характеристике взаимодействующих компонентов СКС. Сравнительный анализ структур литовского и русского языков позволяет автору судить о потенциальной интерференции родного языка в русской речи литовцев на всех уровнях. Таким образом достигается максимальное упорядочение данных произведенного В. Ю. Михальченко анализа фактической интерференции: выявляются случаи, не предсказанные в поле потенциальной интерференции, а предсказанные ошибки дифференцируются с целью определения различных ступеней литовско-русского двуязычия. При этом автор исследует (что крайне редко практикуется в трудах по социолингвистике) соответствие фактического знания русского языка запланированному школьной программой уровнем знаний и определяет трудности освоения русского языка литовцами разных возрастных групп. Проработав эту работу, В. Ю. Михальченко внесла ценный вклад в оптимизацию преподавания русского языка литовцам.

Подробный лингвистический анализ ступеней двуязычия дополняется социальными характеристиками функций каждого языка. Комплексный подход позволил автору глубоко и всесторонне изучить социолингвистическую проблему языкового взаимодействия.

Материал был собран методом эмпирического обследования с привлечением документальных источников — данных переписей населения об уровне владения русским языком в республике, о социальной структуре населения в районах об-

следования и т. п. Основным источником информации явился опросный лист (с. 139), включающий 25 вопросов. Ответы (открытые и закрытые) представляют полную демографическую характеристику информантов и позволяют установить, какой язык псользуют билингвы в различных сферах деятельности: на производстве, в семейном общении, в беседах с друзьями и соседями, читая книги и журналы, слушая радио, просматривая кинофильмы и телепередачи, ведя официальную и неофициальную переписку и т. д. В этом перечне отсутствует почему-то чтение газет. А ведь, исходя из того, что в обследованном Зарасайском районе большим тиражом на русском языке выходит местная газета (с. 147), следует предположить, что ее читает немалое число литовцев-билингвов. В опросном листе имеются вопросы о формах и степени владения вторым языком («говорит, читает, пишет: свободно, с затруднениями»), хотя возможны ответы «не читает» и «не пишет», не предусмотренные опросным листом.

Располагая обширным социолингвистическим материалом, автор, к сожалению, рассматривает варьирование социально-коммуникативных ситуаций лишь в зависимости от двух параметров — территориального и возрастного. Однако немаловажную, нередко даже доминирующую роль в распространении национально-русского двуязычия играет образовательный статус. Анализ влияния образовательного уровня литовцев на распространение литовско-русского двуязычия позволил бы исследовать процесс формирования билингвизма в различных социально-профессиональных слоях населения.

Кроме указанных выше, отметим еще некоторые недочеты актуального и в целом тщательно выполненного исследования В. Ю. Михальченко.

1. Общность балтийских и славянских языков в области фонетики, грамматики и лексики (насчитывается около 200 слов, свойственных исключительно им) возникла не просто «в силу тесных торговых и культурных сношений» (с. 109); она объясняется либо генетически (если следовать весьма распространенной гипотезе балто-славянского единства), либо (согласно вполне вероятной ареальной гипотезе) тысячелетним контактом между славянскими и балтийскими племенами, приведшим к образованию славяно-балтийского языкового союза.

2. Произвольного употребления того или иного языка, немотивированного перехода от одного языка к другому даже при «стихийном билингвизме» (с. 153) не бывает. Варьирование языка, начиная

с кодового переключения и кончая отдельными ипозычными вкраплениями всегда осознанно используется говорящими для достижения наибольшего коммуникативного эффекта. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования как советских, так и зарубежных социолингвистов и психолингвистов.

3. Кальки с русского, о которых идет речь на с. 207 (*iprasti prie — priprasti prie* — «привыкнуть к чему-л.»; *ilgai prieš — gerokai prieš* — «долго до чего-л.» и др.), отнюдь не синтаксические, как утверждает автор, а фразеологические.

4. В некоторых количественных показателях наблюдается разноречие, который объясняется обращением к разным источникам.

Вызывает недоумение неточность возрастная градация билингвов по ступеням двуязычия: 1 ступень (с. 160) — возраст 7—10 лет, 2 ступень (с. 170) — возраст 9—12 лет, 3 ступень (с. 178) — возраст 15—18 лет, 4 ступень (с. 186) — возраст 18—23 лет. Выходит, что девятилетние и десятилетние, а также восемнадцатилетние попали в две возрастные группы, тринадцатилетние же и четырнадцатилетние никуда не попали.

5. Работе ощутимо недостает социолингвистической карты. Обширный материал, собранный и обработанный автором, можно было бы представить визуально — как наглядную языковую картину различных районов Литовской ССР.

Наши замечания не умаляют достоинств содержательного труда, в котором ставятся и решаются ряд важных проблем социальной лингвистики. Разработанные В. Ю. Михальченко методы и приемы могут быть с успехом использованы для изучения языковой ситуации в других республиках. Результаты исследования послужат прочным основанием для языкового планирования в Литовской ССР и для оптимизации преподавания русского языка.

Копыленко М. М., Саина С. Т.

ЛИТЕРАТУРА

1. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. II. М., 1986. С. 255.
2. Словарь русских народных говоров. Вып. 13. Л., 1977. С. 313.
3. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 10. М., 1983. С. 66—68.
4. Березин Ф. М. Русское языкознание конца XIX — начала XX вв. М., 1976. С. 76—77.

Собрание деловых текстов XVII в. Владимирского края, подготовленное в Секторе лингвистического источниковедения и исследования памятников языка Института русского языка АН СССР, существенно отличается от изданий других памятников делового языка, ранее подготовленных в этом секторе.

Памятники делового языка Владимирского края — бывшей Ростово-Суздальской земли, составлявшей в прошлом ядро Северо-Восточной Руси, представляют для исследователя большую ценность, т. к. на этой территории перекрещивались северновеликорусские и южновеликорусские языковые черты. Испытывая влияние московского говора, речь Владимирского края играла существенную роль в том «сплаве» диалектных систем, в результате которого в XVII — начале XVIII вв. начинается процесс складывания норм единого общерусского национального языка.

Второй особенностью издания является его содержание. Почти все предыдущие издания рукописных памятников данного периода объединяют одни и те же разновидности деловых жанров — грамотки, отказные книги, таможенные книги, вести-куранты. Разнотипные документы представлены лишь в «Московской деловой и бытовой письменности XVIII века» [1], включающей в себя наряду с частной перепиской и акты документы. В издании деловой письменности Владимирского края жанровая принадлежность документов значительно разнообразнее. В него вошли такие деловые тексты, как частные письма (грамотки), отказные книги, челобитные, сказки, памяти, поручные записки, а также такие оригинальные документы, как приходо-расходные книги, посевные, ужиные, опытные, умолотные книги и памяти, расходные книги, досмотренные книги и некоторые другие документы, образцы которых ранее лингвистически удовлетворительно не издавались.

В рецензируемом издании решена важная задача — достоверное отнесение публикуемых текстов к местной речевой среде: в большинстве случаев принадлежность писцов к местным жителям не вызывает сомнений. Поэтому следует согласиться с авторами в том, что «вошедшие в настоящую книгу тексты являются оптимальными с точки зрения исследования живой народной речи Владимирского края XVII века, а в ретроспективном плане и более раннего времени» (с. 4).

Лексический состав изданных памятников тематически многообразен и отражает предметно-бытовую лексику, упот-

ребляющуюся в живой речи Владимирского края. В приходо-расходных книгах многочисленны названия продуктов питания: *барыш* и *пивные дробины* (79, 410об)¹; взято с *медовых ставок* на сытнинном воску три рубля (там же); собрано... с *пивных варь* квочных денег одиннадцать рублей (там же); в *дрожденики солоду* пятнадцать маленок да овса маленка *змелью* восемь маленок и *дрождеи* купленных пошло в *браги* (81, 37б). Привлекает внимание явно местное *дрожденик* — название напитка, приготовляемого на дрожжах, пехмельной браги, разновидности кваса.

Разнообразны и выразительны названия надворных и производственных построек, помещений, устройств, стройматериалов: починывали *заплоту* в ректе... (80, 968об); куплено на *водоливы* S бревен (80, 969об); куплено на *винокурню* и на *пивоарню* и в запасные *анбары* рогож... (там же).

Разнообразна эта тематическая группа лексики также и в отказных и отдельных книгах: а на дворѣ *гаром изба столовая* а перед нею *сѣни*... да кѣльѣ да назади другая изба а перед нею *сѣни*... погреб а на нем *напогребница струб* еловой крыт *дранцами* на двѣ *житницы* да три *кошущи* (1, 4); *гаром горница с кожанотоу на подклетех* да *повалуша* да меж ими *сени*... да *мылна* (2, 105).

Интересно слово *повалуша*, которое в одном и том же тексте зафиксировано и как *повалиша* с пометой в примечаниях «так в ркп», что свидетельствует о сомнениях издателей в правильности его фиксации в тексте. Однако в словаре В. Даля отмечены не только оба эти варианта, но и *повалиша* с пометой «стар.». *повалуша* — сев., *повалушь* — ряз., *повалишь* — пен. — в значении «общая спальня, особ. летняя, холодная, куда вся семья уходила на ночь из топленной избы, из чистой горницы, *повалиться*, т. е. спать; она бывала вверху». Фиксация данного слова во владимирских памятниках уточняет его распространение и диалектную характеристику.

Перечисляя приобретенные вещи, матерпалы, пивентарь, авторы записей указывали их назначение и цель покупки. Это дает возможность уточнить, а иногда и выявить семантику соответствующих названий. Например: куплено досок на втулки к бочкам да гвозден и рогож и *скал* ко втулкам задылыват (заделывать — ?) пивные бочки (80, 970об) [*скала* — «береста для обертки втулок (бочок)» с целью уплотнения заделки бочек];

¹ Здесь и далее первая цифра обозначает номер памятника, вторая — лист.

он же ... чинил 11 кубов мѣдных ветхих платил заплатам мѣди пошло в починку КЗ Оуитов (80, 974). В. Даль приводит глагол *платить, платать* — «чинить, латать, класть или нашивать заплаты, доскутья» с пометой «ож.». Представляет интерес фиксация этого глагола в речевизируемых памятниках, где он употреблен в расходной тетради суздальского кружечного двора.

Как и следовало ожидать, разнообразно представлена в памятниках сельскохозяйственной лексики в посевных, ужи́нных, опытных и умолотных книгах и памятях (*ужин, умолот, посѣвъ, при-молот, вымолот, плужной жребий, выгарь, паренча, пустошь* и др.).

В изданных текстах содержится богатый материал по историческому словообразованию. Широко представлено словообразовательное варьирование, отражающее сосуществование в языке параллельных разноструктурных образований от одних и тех же основ и являющееся результатом взаимодействия разных говоров, в результате чего происходила дифференциация и специализация словообразовательных средств общенародного языка к их отбор в соответствии со складывающейся национальной нормой.

Показательны в этом отношении синонимические словообразовательные типы имен существительных с отвлеченным значением с формантами *-ние, -ость, -ство, -ота, -ка*, нулевым суффиксом и др., равно широко представленные во всех типах документов: *клич — кликота, насилие — насильство, несправа — несправление, немочь — немогута (морф -ута!), одежда — одение, отпис — отписка, поделька — поделье, починка — починок — почин, прозвание — прозвище, произвол — произвольство, насилка — насилье, отделка — отдел* и т. д.

Богато представлены производные имена существительные со значением лица, образованные с помощью суф. *-ик/-ник/-овник*: *калачник, кирпичник, кожевник, конюшник; часовник; -чик/-щик: заводчик, заказчик, извозчик, откупщик, табачник (от табак), ящик и др. суф.: ездок, житарь, жнец, пастух, ходок, рыбак.*

Интересны в словообразовательном отношении отдельные прилагательные: *возовый, завозный, баточный, достальной, золотый, избный, кружовой, кормный (кормный боров), непятный, побольший (побольшая бочка), огурный, понитошный (сужно), скаловый, сошный.*

Показательна развитая словообразовательная синонимия прилагательных: *бараний — баранный — барановый, бревенный — бревенчатый, конский — конинный, кирпичный — кирпичичий, конопляный — конопляничный, кормный — кормовой* и т. д.

Посредством субстантивации прилагательных создан ряд терминов: *купчая, закладная, въездное, годовое, живущее, зажимов, праздничное* и др.

Содержательна в языке памятников всех разновидностей морфологическая информация.

Широко отражен, в частности, процесс продолжающегося, как видно, в XVII в. распада древнерусской системы склонения и формирования современных надежных парадигм.

Особенно информативны в этом отношении прихода-расходные книги, челобитные и грамотки, которые в силу разнообразия содержания и меньшей стандартизации включают многочисленные конструкции, обороты, словосочетания с косвенными падежами имен существительных. Наряду с исконными (древнерусскими) флексиями в них отражены новые окончания, явившиеся результатом процесса взаимовлияния типов и вариантов именного склонения. Так, обращает на себя внимание, что в дат.п. мн.ч. существительных с бытнейшей основой на *-о* чаще выступает исконное окончание *-ом(ъ)*, ср.: *извоицикомъ* дано (83, 100об), дано *работникомъ* (там же), *погонцомъ* (84, 38об), *поденичкомъ* (там же), *кирпичникомъ* (80, 969), *целовальникомъ* и *сторожомъ* (128, 83) и т. д.

В то же время параллельно с исконными окончаниями, хотя и реже, встречаются и новые, современные окончания, причем разные окончания могут быть даже у одного и того же слова, ср.: дана *сторожамъ* (87, 39об), *сторожамъ* трем *члвкомъ* (80, 972об), быблским *дворамъ* и *гулмамъ* и *конопляничкомъ* и *огородамъ* (10, 232об), дано *шерстобитамъ* (87, 16об), выдано ... *служебникамъ* и ... *работникамъ* (87, 20об.); ср.: *лошедьмъ* (24, 15об) и *лошадемъ* (75, 25) и т. д.

В рецензии на «Памятники южнеликорусского наречия. Таможенные книги» В. В. Иванов также отмечает последовательное отражение на письме окончания *-ом* в дат. мн. [2]. Им было, однако, подмечено, что эта флексия, как правило, является безударной, и в таком случае ей, как и флексии *-а*, можно дать фонетическое объяснение для южного акающего говора. «Но как быть с *к двумя котломъ*, если *-ом* под ударением?» — задается справедливым вопросом рецензент. — Достаточно ли таких редких фактов, чтобы утверждать сохранение в живом языке старой формы дат. мн.?» [2, с. 135].

Приведенные примеры по дат. мн. из владимирских памятников, представляющие собой далеко не единичные случаи и относящиеся к среднерусскому говору, показывают явное безразличие оконча-

ния -ом к ударению: ср., с одной стороны, *косцѣм, сторожѣм, властѣм, кузнецѣм* и др., а с другой — *сторожем, дворѣм* и т. д.; то же варьирование наблюдается и в безударном положении — *конопальником* и *огородамъ* — даже в одном предложении. Эти важные данные владимирских памятников, как кажется, снимают вопрос рецензента «Таможенных книг» и дают в руки исследователя новый материал, документирующий этапы формирования современной системы склонения.

Такое же варьирование старых и новых окончаний наблюдается и в других падежных формах: [предл. п. мн.ч.: в *приказах* (262, 7 и др.), был в *сторожах* (86, 48об); тв.п. мн.ч.: с *обыски* (301, 45об), з *долгами* (276, 21об)].

Все тексты рецензируемого издания широко отражают варьирование в род.ед. исконной флексии -а и флексии -у [*овса* (26, 21об) и *овсу* (62, 32)], при этом легко прослеживается, какие по семантике имена чаще выступают с новым, вариантным окончанием -у, в основном существительные с вещественным и отвлеченным значением, а также со значением неделимого целого, что в дальнейшем, как известно, стало нормативным. Процесс этот в XVII в. был живым и активным. Это отразилось в текстах делового языка, независимо от их локализации и, как справедливо отмечают исследователи, «обнаруживает наддиалектность и единство нормативных тенденций» [3, с. 125], что одинаково отражается на статусе морфологических вариантов как в московской деловой письменности, так и в местном делопроизводстве.

Приведем примеры из челобитных, приходо-расходных книг и грамоток. в текстах которых варьирование форм на -а и на -у отражено особенно широко, что объясняется, видимо, особенностями их содержания — большим разнообразием синтаксических конструкций, меньшей стандартизацией, более слабой выучкой их авторов.

В челобитных и розысках: пособлял от *ускопу* (157, 117), до твоего *указу* (там же), для *сыску* (158, 162); в приходо-расходных книгах: куплено сто *курничу* (83, 96), куплено *дубнику* (там же), от *воску* (83, 105об), *гороху* (83, 73об); в грамотках: ис Патриархова *розряду* (268, 13), со всего *собору* (268, 13), *грабежу* (291, 35), привез ... *пуху* (523, 67).

Наряду с флексией -у встречается и исконная флексия -а, ср.: куплю ... *хлѣба* (85, 38), овин *овса* (там же); хлеба прислать и *запасу* (267, 12).

Хотя и реже, чем в род., отмечена флексия -у и в предл. падеже. ср.: в *лугу* (85, 36^а об), в *долгу* (85, 37об), в *бою* и *грабежу* (261, 6).

В сравнении с фактами, уже описан-

ными в литературе [3, с. 124], формы предложного на -у в рецензируемых памятниках разнообразнее и многочисленнее, а потому этот материал должен привлечь к себе внимание исследователей.

Встречаются также случаи аналогичского выравнивания падежных флексий, не ставшие нормой, но интересные с точки зрения борьбы тенденций, отражающие сложный процесс ломки старой системы падежных флексий и то своеобразное динамическое равновесие в системе именного склонения, которое имело место в разговорном языке. ср.: всякими *пытки* (157, 136), вч. *пытками* (под влиянием склонения на -о); о *пропажех* (126, 57) вч. *пропажах* (по той же причине); с *коими* (275, 20) вч. исконного *коии* и ставшего нормативным *коими* (под влиянием склонения с -основами); об *отставки* (297, 41) вч. *отставке* (в результате влияния мягкого варианта на твердый); *рублѣв* (80, 975об и др.) вч. исконного *рубль* и ставшего нормативным *рублей* (под влиянием й-основ); *матере* (307, 52) вч. исконного и ставшего нормативным *матери* (под влиянием склонения основ на -а).

Отметим отдельные фонетические явления, получившие отражение в памятниках. Представляет интерес характер безударного вокализма в живой речи жителей Владимирского края, отразившейся довольно полно в письменных текстах.

Так, орфография памятников отражает аканье, о чем свидетельствуют как прямые подтверждения — многие случаи написания буквы а вместо о в безударных слогах, например: *ачаг* (82, 160), на *дарогу* (84, 48), *розабрали* (140, 108), *изтило* (84, 330б) [ср., высказала гедрь *папа* и *попу* говорил (215, 6)], так и косвенные — написание о (ω) вместо безударного а: три *судока* (87, 37), *колашники* (136, 198), *отлас* (140, 108).

Отражение на письме слитных согласных выглядит непоследовательно: с одной стороны, встречается *возжи* (87, 40об, 162, 1), *приказчик* (6, 542), *прикачик* (29, 5об и др.), *лещ* (87, 37—38), где, независимо от варианта написания, отражен долгий шипящий, что в будущем стало нормой литературного языка; с другой — *дрожди* (81, 374 и др.), *дрожденик* (81, 376, 377) с утратой конечного фрикативного элемента, что считается характерным для некоторых говоров Вологодской области [4]. Отражение этого фонетического явления в указанных примерах из владимирских памятников (в двух разных приходо-расходных книгах) должно привлечь внимание исследователей фонетики и диалектологов.

Из синтаксических особенностей можно отметить конструкции «инфинитив — + им.п. существительных ж.р. на -а»,

часто встречающуюся в документах издания, особенно — в челобитных, сказках, памятях, грамотках, что говорит о ее широком распространении в живом языке. Видимо, эта синтаксическая конструкция была явлением наддиалектным — это вытекает из показателей письменных памятников: чтобы та выпис переписат (165, 423), грамота отпустит (303, 47), доведетца взят грамота (280, 250б) и т. д.

Любопытно, что порой рядом, в одной грамотке употреблены и ставшие нормативными в литературном языке обороты с вып. падежом, ср.: велено дат другую грамоту (281, 260б). написанную грамотку отдат (там же).

В текстах грамоток встретилась конструкция со вторым дательным падежом: чтоб им быт в Покровском мистрь строичком (268, 13). Синтаксические исследования о вторых косвенных падежах построены в основном на данных книжного языка, и выводы о времени их утраты и замены творительным предикативным делаются без учета фактов живого народно-разговорного языка. Как видно, в XVII в. по крайней мере, второй дательный еще употреблялся в живой речи складывающегося среднерусского говора.

То же следует сказать и о творительном причине, утрата которого к XVII — XVIII вв. констатируется обычно на основании данных книжно-литературного языка. В рецензируемых памятниках он отмечен: крестьянин пострьломъ ли умер ли нтъ... того мы не ведаемъ (135, 206).

Тексты памятников содержат также важные и редкие синтаксические факты, характерные особенности предложного и беспредложного управления, особенности согласования, значений падежей, предлогов и союзов, а также других средств связи частей сложного предложения, порядка слов и т. д.

Приведенные факты составляют незначительную часть лингвистического материала, который имеется в памятниках делового языка Владимирского края.

Издание снабжено полным указателем слов, дающим возможность найти в тексте каждое употребление каждого из слов. К сожалению, принципы написания, а часто и реконструкции заглавных слов словоуказателя не сформулированы, а их построение зачастую вызывает сомнения или возражения. В указателе слов заглавное слово дается в написании, максимально приближенном к орфографическим нормам современного русского языка. Реальные написания в текстах, нередко далекие от этих норм, в словоуказателе не нашли отражения. Вопрос о целесообразности подачи всех вариантов написания слова в указателях к текстам

рассматриваемого типа остается дискуссионным. С одной стороны, подача многочисленных вариантов написания существенно увеличила бы объем словоуказателя, с другой стороны, именно отклонения от орфографических норм, как известно, больше всего говорят об особенностях живой речи и потому важны для исследователя. Так, в словоуказателе не нашли отражения написания *шубной* (77, 4 и др.), *кафтан* (77, 36 и др.), *пшаница* (77, 30 и др.), *чалю* (140, 108), *сенокос* (267, 12), *лошад* (140, 108), *отнелъ* (194, 5), *рундушное* (89, 1330б), *праздничного* (87, 15), *збегались* (186, 1), *товарищемъ* (205, 31), *зветы* (266, 11), *чесноку* (87, 16), *кашохлабей* (140, 108) и т. п. [в словоуказателе — *шубный*, *кафтан*, *пшеница*, *чело*, *сенокос*, *лошадь*, *рундучный*, *праздничное*, *сбегаясь* (?), *товарищ*, *взять*, *чеснок*, *кашелебей*]. Приставка *роз-*, типичная для всех видов издаваемых памятников, в безударном положении регулярно передается в словоуказателе как *раз-*, например, слово *рописка* 8 раз в тексте употреблено с *роз-* и ни разу с *раз-* (в словоуказателе же дано *рописка*). В то же время в словоуказателе находим как *внук*, так и *мнук*, как *дьякон*, *дьячок*, так и *диак*, *диакон*, *диачок*.

Можно отметить и несколько «технических» недочетов, касающихся указателя слов. Назовем некоторые из них: *дрожденик* отмечено в словнике 1 раз — в прих.-расх. книге 81, л. 376, в то время как в тексте оно встречается еще раз на л. 377, при этом в словнике оно дано с буквой *я* после *д* (*дрождяник*), а в тексте оба раза с *е* (*дрожденик*); *полсвязки* — в словнике указан помер памятника — 86, л. 17, но в тексте этой прихода-расходной книги такого листа вообще нет (нумерация начинается с 43 л. и далее идет по порядку). То же можно сказать и о слове *овчинник* (л. 640б).

Однако названные нами недочеты не снижают в целом высокого лингвистическо-лексического уровня рецензируемой книги, которая принесет большую пользу в изучении истории русского языка.

Гейгер Р. М., Улаханов И. С.

ЛИТЕРАТУРА

1. Московская деловая и бытовая письменность XVII века. М., 1968.
2. Иванов В. В. // ВЯ, 1984. № 5. Рец. на кн.: Памятники южновеликорусского наречия. Таможенные книги. М., 1982.
3. Глинкина Л. А. К проблеме грамматической нормы в деловой письменности XVII в. // Восточные славяне. Языки. История. Культура. К 85-летию академика В. И. Борковского. М., 1985.
4. Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка. М., 1983. С. 236.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

16 января 1986 г. в Институте русского языка АН СССР состоялись семнадцать ежегодные чтения, посвященные памяти академика В. В. Виноградова. Открывая заседание, зам. директора Ин-та В. П. Вомперский подчеркнул важное значение Виноградовских чтений, развивающих идеи выдающегося ученого и являющихся знаменательным событием как для научной жизни Ин-та, так и для развития отечественной русистики в целом. Чтения 1986 г. были посвящены проблеме изучения языка как деятельности (система — говорящий — адресат — ситуация).

В докладе «Как реконструировать промежуточный язык?» директор Ин-та чл.-корр. АН СССР Ю. Н. Караулов (Москва) обратился к вопросу об основе для возможной реконструкции промежуточного языка, обозначая этим термином явление, которое стоит между звуковой, внешней речью и специфическим языком (или языками) мозга в процессе интеллектуальной деятельности и ее вербализации. Для обозначения этого явления в литературе используются такие термины, как «смешанный код», «внутренняя речь», «универсальный предметный код» и др. Множественность терминологических номинаций имеет известные преимущества в том смысле, что различные наименования, характеризующие объект с разных сторон, выявляют его существенные свойства, которые и суммарно, и попарно обнаруживают крайнюю противоречивость. Ключом для разрешения этих противоречий является оценка внутреннего кода как смешанного. В нем есть сторона, обращенная к звуковой речи, и сторона, обращенная к интеллекту. Докладчик отметил, что единицы промежуточного языка поддаются обобщению и типизации; усреднение и описание их нормативных свойств и представляет собой его реконструкцию. В качестве основы для подобной реконструкции в докладе рассматривались следующие объекты, дающие представление

о единицах промежуточного языка: 1) сжатие, компрессия текста; 2) спонтанная разговорная речь; 3) анализ «потока сознания» в художественной литературе.

В докладе «Язык, деятельность, социальная память» А. А. Леонтьев (Москва) указал на необходимость разграничения понятия (и теории) речевой деятельности и теории речевых актов, выдвинутой Оксфордской школой лингвистического неопозитивизма. Последняя интерпретирует язык исключительно как прагматическое орудие intersubjectной коммуникации. А. А. Леонтьев высказал мысль о том, что следует понимать язык как систему значений, могущих выступать в форме как языковых, так и предметных значений. В теорию языка, подчеркнул докладчик, целесообразно ввести понятие социальной памяти (одним из носителей которой является язык) и ее психологического эквивалента — образа мира, через которое удобно анализировать когнитивный аспект языка.

В докладе О. А. Лаптевой (Москва) «Социально-личностные факторы речи и теория литературного языка» постулировался тезис, согласно которому сложившаяся к настоящему времени теория литературного языка представляет собой по существу целостный комплекс самостоятельных направлений, объединенных разными гранями функционального подхода к литературному языку. О. А. Лаптева проследила историю возникновения и развития теории литературного языка в советском языкознании, уделяя особое внимание вкладу В. В. Виноградова в формирование и становление этой теории. В докладе рассматривались группы факторов, влияющих на организацию языковых средств; было показано, как факторы дифференциации литературного языка соотносятся с его разновидностями.

Доклад Т. Г. Винокур (Москва) «Функциональные разновидности речевого поведения» был посвящен лингвистическому обоснованию понятия «речевое поведение». Применяемое в психологии

речи, психолингвистике, отчасти — в социолингвистике как термин, оно в то же время используется в смежных областях (в том числе в интралингвистике) нетерминологически. Рассмотрение его в аспекте стилистики с коммуникативно-социологической точки зрения (что влечет за собой этнокультурные ограничения; ср. термны «речевая деятельность», «речевое общение») дает возможность установить и описать характеристики феномена «уменьше/неуменьше» говорящего и приспособить выбор речевых средств (а слушающего — понять и оценить его) к условиям речи, что зависит от постоянного социального статуса участников речевого акта. Соответствующий термин предполагает процессуальное содержание понятия с включением в него момента вербальной реализации.

В докладе Е. М. Вольф (Москва) «Дескриптивная ситуация и оценочное значение» развивался тезис о том, что наряду с дескриптивной картиной мира в сознании носителей языка существует также ценностная картина. Ценностные представления постоянно отражаются в оценочных высказываниях, причем оценка со знаком «плюс» или «минус» может быть встроена в семантику слов (*интересный, скучный*), может также выражаться специальными модальными оценочными словами (*к сожалению, к счастью*) или входить в пропозициональную структуру глагола (*огорчаться, хвалить*). Кроме собственно оценочных высказываний, существуют высказывания квазиевочные (типа *X одержал победу*). Е. М. Вольф отметила, что имеются разные способы вводить в текст «оценочную перспективу», которая предопределяет расположение элементов со знаками «плюс» или «минус» в дальнейшем контексте.

Ю. Д. Апресян (Москва) в докладе «Прагматическая информация для толкового словаря» охарактеризовал пять типов лексикографически существенной прагматической информации: 1) прагматические стилистические пометы, включая оценочные; 2) прагматические признаки лексемы типа дерформативности; 3) нетривиальные плюкутивные функции лексемы; 4) статусы говорящего и слушающего; 5) коннотации, культурный и образный мир лексемы. Докладчик подчеркнул, что в структуре словарной статьи толкового словаря для прагматической информации должна быть выделена особая зона. Кроме обзора названных типов информации, в докладе была дана характеристика прагматической информации вообще, вне зависимости от ее лексикографической значимости.

В докладе В. В. Лопатина (Москва) «Кваликативный потенциал словообразовательного форманта» речь

шла об особенностях функционирования «субъективно-оценочных» словообразовательных аффиксов, которые являются основным и наиболее регулярным грамматическим средством, формирующим прагматический компонент языка. Материалом для наблюдения послужили русские суффиксальные уменьшительно-ласкательные образования. Автор отметил необходимость изучения функций субъективно-оценочных образований в широком контексте с обязательным учетом речевой ситуации. Было показано, что данные прагматические языковые элементы играют существенную роль не только в отдельном высказывании, но и в больших по протяженности отрезках речи, охватываемых понятием текста, — вплоть до целого произведения.

Доклад В. Н. Белосова (Москва) «Кваликаторы: значение и назначение (на материале глагольной лексики)» был посвящен рассмотрению глаголов с широкой понятийной основой, в семантическую структуру которых наряду с обобщенным указанием на действие или состояние входят также оценочно-квалифицирующие семы. Компенсация информативной недостаточности кваликаторов осуществляется в результате взаимодействия трех факторов: обобщенного значения глагола, семантики конструкции и лексического значения сочетающихся с кваликатором слов. В докладе была намечена самая общая таксономия кваликаторов, открывающая достаточно широкие перспективы изучения лексико-семантического потенциала слов данного подкласса в целом, а также их грамматических свойств.

Е. Н. Шряев (Москва) в докладе «Роль конституции в разговорном коммуникативном акте» остановился на рассмотрении некоторых компонентов конституции, которые выступают в роли типических прагматических условий, необходимых для успешного начала коммуникативных актов разной модальной ориентации. Прагматические условия, подчеркнул автор, имеют настолько важное значение для разговорной коммуникации, что в ряде случаев специально оговариваются. Было доказано, что модальные слова *конечно, разумеется* и подобные им могут употребляться с целью подчеркивания нарушения прагматических условий общения.

В докладе Е. В. Красильниковой (Москва) «О системном описании русской разговорной речи» была высказана мысль о большей специализации средств выражения актуализационных значений в русской разговорной речи по сравнению с речью книжно-письменной. Автор показал, что для различения типов референции разных употреблений имени

существительного в тексте используются определенные противопоставления по роду, числу и падежу. Был сделан общий вывод о том, что в условиях разговорной речи усилено значение идентификации предметов в противовес задачам их родовой классификации.

Двум подходам к категории определенности был посвящен доклад А. Д. Шмелева (Москва) «Семантический и прагматический аспекты категории определенности». Логическая определенность имеет место в случае, когда логическая структура именной группы сама по себе (в отвлечении от коммуникативной ситуации) однозначно выделяет обозначаемый объект. При прагматическом подходе определенность связывается с известностью объекта адресату речи. Поскольку ни логический, ни прагматический подходы не в состоянии охватить все случаи определенной референции, универсальное определение предполагает учет обоих аспектов данной категории.

Смирнова Ю. А. (Москва)

С 29 октября по 1 ноября 1985 г. в Центральном научно-исследовательском институте АН ГДР в Берлине проходило заключительное заседание Редакционного совета коллективной монографии, посвященной развитию и функционированию национальных языков в странах социалистического содружества. Этот труд (рукопись насчитывает более 750 страниц машинописи) явился результатом реализации Международной целевой программы «Национальные языки в развитом социалистическом обществе». Координация данной программы была поручена Чехословацкой Академии наук, конкретно — Институту чешского языка ЧСАН, на директора которого была возложена выработка концепции исследований и содержания итоговой коллективной монографии. В соответствии с договоренностью программа была представлена к обсуждению в Президиум ЧСАН, который одобрил ее на своем заседании 12 февраля 1980 г. В план многостороннего сотрудничества академий наук европейских социалистических стран на 1981—1985 гг. данная программа была включена на заседании вице-президентов академий наук в апреле 1980 г. в Праге. На основании данного решения в работе над программой и в создании коллектив-

ной монографии участвовали языковеды из академических и некоторых университетских центров ГДР, ВНР, НРБ, ПНР, ЧССР и СССР.

На совещании в Берлине собрались только научные и исполнительные редакторы монографии: от ЧССР Я. Петр и И. Краус, от СССР Ю. Д. Дешериев и Т. Б. Крючкова и от ГДР В. Хартунг, А. Шёнфельд и Э. Изинг. Заседание открыл директор института — организатор совещания В. Баниер. В своем докладе он отметил роль международного сотрудничества в реализации целевой программы и значение, которое придает руководство Центрального научно-исследовательского института АН ГДР ее выполнению в связи с актуальными потребностями общества. Главный координатор программы Я. Петр во вступительном слове после краткого обзора итогов международного сотрудничества, достигнутых при осуществлении программы, сказал, что цель настоящего совещания заключается в том, чтобы сверить рукописи монографии, внести в ее русский перевод необходимые исправления и дополнения и утвердить ее на уровне Редакционного совета к сдаче в печать. Ю. Д. Дешериев отметил, что советская сторона представила перевод на русский язык почти всей рукописи монографии, и остановился на некоторых трудностях, которые встретились при переводе нескольких статей и его редактировании. В монографии используется методология и методика советской социолингвистики, в частности и ее понятийно-терминологический аппарат, которые в работе были развиты в соответствии с целями нашего исследования. Это позволило выполнить всю монографию на основе единых принципов марксистско-ленинской социолингвистики. В то же время были приняты во внимание и научные достижения социолингвистики в других странах, в особенности в социалистических, что отражено главным образом при подаче и оценке национального материала. В этом смысле в монографии содержится обобщающая картина новейших подходов к изучению социально обусловленных языковых явлений и их функционирования в социалистическом обществе.

На заседании редакторов монографии констатировалось, что программа «Национальные языки...» была завершена досрочно и что монография не отстывает сколько-нибудь существенно от задач, которые были определены ее планом в 1981 г., и соответствует требованиям, сформулированным в докладах главного координатора и редакторов различных разделов монографии на заседаниях в Либлице в 1981 г. и в Кишиневе в 1983 г.

Поэтому Редакционный совет в целом одобрил текст монографии, рекомендовав чехословацким редакторам внести в данный текст отдельные дополнительные изменения, упорядочить терминологию, систематизировать библиографию и дать к ряду статей ссылки на соответствующие места в других статьях с аналогичной тематикой. Монография выйдет на русском языке в издательстве «Академия» ЧСАН в Праге.

Редакционный совет монографии избран в следующем составе: главные редакторы Я. Петр и Ю. Д. Дешериев, редакторы 2-й части — Ю. Дешериев, 3-й части — В. Харгунг, 4-й части — И. Краус, ученые секретари редакции И. Краус и Т. Б. Крючкова. Окончательный вариант монографии содержит следующие части: Предисловие. Вводные замечания; 1-я часть: Социальные, теоретико-методологические и идеологические проблемы развития языка в странах социалистического содружества; 2-я часть: Мировая идеологическая борьба и языковая политика в условиях строительства и развития социалистического содружества; 3-я часть: Социальная обусловленность развития языка в социалистическом обществе; 4-я часть: Проблемы языковой культуры в социалистическом обществе; Заключение: Перспективы дальнейшей реализации языковой политики в социалистических странах.

Участники этого заседания Редакционного совета монографии отметили, что труд коллектива лингвистов из шести социалистических стран окажется полезным как для социолингвистов, так и для широкого круга читателей, что в монографии получили обобщение не только данные исследований, которые проводились в прошедшие десятилетия, но и новейшие достижения социолингвистики, что работа не только описывает состояние национальной и языковой политики на данном этапе развития общества, но определяет и направления ее дальнейшего развития в социалистических странах.

Петр Я. (Прага)

10—11 декабря 1985 г. в Ленинграде Лингвоэтногеографической комиссией Географического общества СССР было проведено совещание на тему «Актуальные проблемы русской лингвистической географии» (к 70-летию „Опыта диалектологической карты русского язы-

ка в Европе“). В его работе приняли участие 27 диалектологов из двух академических институтов и девяти вузов страны.

Совещание было открыто докладом О. Н. Моряховской (Москва) «„Опыт диалектологической карты русского языка в Европе“ и его роль в истории русской диалектологии», в котором было показано значение «Опыта» и в период его создания, и позже, когда развернулась работа по составлению диалектологических атласов русского языка; в докладе проанализированы принципы установления границ наречий, говоров и групп говоров в «Опыте» (ориентированном на типичные прогlossы конкретных явлений), дан сравнительный анализ «Опыта» с «Диалектным членением русского языка» 1964 г., созданным по материалам Диалектологического атласа русского языка (ДАРЯ) (с разработкой «усредненных» границ, отражающих характер изогloss отдельных пучков). Выступавшие А. С. Герд (Ленинград), И. А. Попов (Ленинград), Л. П. Комягина (Архангельск) и др. отметили, что в докладе хорошо раскрыто значение карты Московско-диалектологической комиссии (МДК) в истории науки и влияние ее на последующее развитие русской диалектологии; А. И. Лебедева (Ленинград) обратила внимание на большую точность некоторых границ на карте МДК, подтвердившихся на основании новых материалов (островок чухломского-галичского аканья). Все доклады на совещании продемонстрировали преемственность традиций отечественной лингвогеографии на современном этапе.

Доклады Ю. С. Азарх (Москва) и Н. Н. Шеничновой (Москва) — об актуальных проблемах интерпретации в ИРЯЗ АН СССР «Диалектологического атласа русского языка». В докладе Ю. С. Азарх «Диалектное членение русского языка по данным словообразования» обращается внимание на то, что противопоставленные различия в русском словообразовании проявляются в функциональной нагрузке, продуктивности и сочетаемости общерусских формантов. При едином наборе для разных диалектов аффиксальных элементов обнаруживаются существенные различия по говорам в норме употребления словообразовательных средств и функционирования словообразовательных типов. Такие диалектные различия выявляются при сопоставлении словообразовательной структуры идентичных лексико-семантических групп (ЛСГ) в частных системах. Н. Н. Шеничнова рассказала об автоматическом варианте ДАРЯ и возможностях комплексного использования ДАРЯ и его автоматического

варианта в диалектологических исследованиях. Оба доклада продемонстрировали сложность диалектного ландшафта и его интерпретации. При их обсуждении И. А. Попов, А. С. Герд, Л. А. Ивашко (Ленинград), С. М. Глускина (Псков), Ю. И. Чайкина (Вологда) и др. затронули ряд проблем, которые могут получить наиболее адекватное решение в «Лексическом атласе русских народных говоров» (ЛА).

В посвященном последней теме докладе И. А. Попова «Актуальное направление изучения лексики русских народных говоров» отмечалось, что на фоне значительных достижений областной лексикографии и лексикологии уязвимым остается ареальный аспект; устранить этот существенный пробел поможет ЛА, показав в пространственной проекции основные звенья словарного состава говоров, семантики, словообразования. Усилиями областной лексикографии создан фундамент для такой работы. Продолжение с практическим осуществлением ЛА приведет к невозможности его создания ввиду хронологического разрыва между тем, что собрано, и тем, что предстоит еще собрать, к тому же говоры все более нивелируются. Такая фундаментальная работа может быть выполнена в обозримые сроки усилиями диалектологических коллективов вузов и академических учреждений страны при условии координации их деятельности и на основе общей программы (в настоящее время имеются: Попов П. А. Лексический атлас русских народных говоров. Проспект. Л., 1974; вопросник по теме «Природа», утверждённый к печати).

В докладе А. С. Герда «Из исторической географии Псковской области» рассматривался вопрос о формировании основных диалектных границ на указанной территории; сделана попытка выделения особого ареального ядра вокруг Пскова, история которого восходит, по видимому, к славянскому периоду. А. С. Герд поставил также вопросы об этнической истории Псковщины и путях ее формирования, о соотношении исследований по этногенезу и исторической географии.

Группа докладов была посвящена созданию региональных атласов. В докладе А. Ф. Ивановой (Москва) отмечается, что если в «Словаре говоров Подмосковья» локализация лексем лишь намечалась, то в составленном ею «Лексическом атласе Московской области» уже четко выделяются локальные зоны (на каждой из карт атласа представлено несколько локальных зон замкнутых и незамкнутых ареалов, что позволяет исторически проследить формирование этих зон). В докладе Л. П. Комягиной

рассматривались некоторые вопросы составления программы и сбора материала для «Лексического атласа Архангельской области», типы изоглоссы на картах этого атласа, получивших историко-географическую интерпретацию. Выступление И. С. Меркурьева (Ленинград) было посвящено проблеме создания «Лексического атласа Мурманской области» на основе словаря «Живая речь колыхских поморов» и дополнительных материалов.

Другую группу составили доклады о результатах ареального исследования некоторых ЛСГ отдельных регионов. Л. И. Дьякова (Воронеж) и В. И. Хитрова (Москва) показали сложный лингвистический ландшафт Воронежского края (с демонстрацией карт), сложившийся в результате взаимодействия близкородственных русских говоров и длительного соседства воронежских городов с украинскими. Л. П. Михайлова (Петрозаводск) проанализировала архаические элементы в предметно-бытовой лексике Заонежья (слова с корнями *вер-*, *вор-* и приставкам *ко-*, *ка-*, *ше-*, *ша-*), проследила лексико-семантические связи русских северо-западных говоров с некоторыми южнославянскими языками и диалектами. Сообщение Ю. Ф. Денисенко (Ленинград) было посвящено древнему севернорусско-белорусскому ареалу наименований с основами *остров-/острой-*, обозначающих приспособления для сушки сена, снопов хлеба, льна и т. п.

Топонимия рассматривалась в докладах Ю. И. Чайкиной об ареалах названий севернорусских селений (восходящих по происхождению к календарным или некалендарным личным именам), с формантами *-ово/-ево*, *-ино*, *-ская*, *-ское*, *-иха*, *-ка* и этнографа А. Н. Давыдова (Архангельск) о комплексе микротопонимов-урбонимов Архангельска XIX — начала XX в.

Совещание прошло в атмосфере активного и заинтересованного обсуждения каждого доклада. Получили высокую оценку комплексный подход А. С. Герда к выделению древнейших ареалов — с привлечением лингвистики, археологии, географии, а также попытка Ю. И. Чайкиной представить ареал топонимов не на карте, а в таблице, что сообщает ареалу частотное наполнение. Л. П. Комягина и др. полагают, что на основе ряда докладов (Л. П. Михайловой, Ю. Ф. Денисенко) можно ставить тему «Восточнославянские изоглоссы», а в идеале — проблему создания «Восточнославянского лексического атласа». Одобрена попытка А. Н. Давыдова показать сложение топонимии города в связи с его историей. Как отметила З. М. Петрова (Ленинград), по каждому из регионов представлены ценные материалы. С ее мнением совпали

высказывания О. Н. Мораховской, А. С. Герда, И. А. Попова, Н. Н. Пшеничной и др. о том, что все региональные исследования, особенно по лексическим атласам отдельных областей, можно оценить как фрагменты будущего ЛА. Ю. С. Азарх, С. М. Глушкова, А. С. Герд, Л. И. Ивашко и др. говорили о разных аспектах изучения словообразования в говорах, преломленного в ЛСГ, Н. И. А н д р е е в а - В а с и н а (Ленинград) — о противопоставленности в говорах разных значений ряда приставочных глаголов (с *по-за-*, *при-* и др.); организация вопросника ЛА должна опираться на все выявленные противопоставления при изучении ЛСГ и словообразовательных моделей, а также на локальные непротивопоставленные явления (что отражено в докладах Л. П. Михайловой и др.).

Идея создания ЛА, высказанная в докладе И. А. Попова, получила на совещании одобрение и разностороннее рассмотрение. Отмечалась своевременность темы; записи 1960—70-х гг. сохраняют то состояние говоров, которое трудно сейчас воспроизвести. Необходимо без промедления собирать недостающие сведения, так как через 10—15 лет «белых пятен» на карте распространения ряда диалектных явлений будет больше. О. А. Черепанова (Ленинград) напомнила о том, что Географическое общество (ГО) помогало лингвистам во многих их начинаниях по изучению говоров (сейчас тема ЛА начинает разрабатываться именно в ГО). Работа над ЛА должна опираться прежде всего на существующие диа-

лектные словари и картотеки; значительный материал для ЛА, таким образом, уже есть. В ходе обсуждения определены первоочередные задачи в работе над ЛА: 1) создать специальную программу, 2) наметить сетку обследования, 3) добиваться подготовки кадров лингвогеографов через аспирантуру. ЛА будет иметь большое теоретическое значение: даст сведения о принципах номинации на разных территориях, покажет производящие основы, обнаружит прозрачность/непрозрачность семантических отношений; появятся данные о принципах сложения ареалов и др. Диалектное членение русского языка не может быть полным без учета всего своеобразие русской лексики, что выявит во многом ЛА.

Совещание одобрило в своем решении деятельность Лингвоэтногеографической комиссии Географического общества СССР по возрождению традиций ГО в изучении лексики говоров русского языка, признало актуальность разработки проблемы лингвогеографического изучения лексики русских народных говоров по линии создания как общего ЛА, так и региональных атласов. Для развертывания работы над ЛА была создана координационная комиссия.

Следующее расширенное совещание Лингвоэтногеографической комиссии ГО СССР намечено провести в декабре 1987 г. с обсуждением вопросов создания ЛА и связанных с ним научных проблем.

Денисенко Ю. Ф. (Ленинград)

CONTENTS

Articles: Arutjunova N. D. (Moscow). Anomalies in language; **Discussions:** Kacnel'son S. D. On the typology of valence; Miller E. N. (Ulianovsk). The definition on language; Zuraulev A. P. (Moscow). On syntactic symbolism; Kijak T. R. (Chernovtisi). The «inner form» of lexical units; Vejxman G. A. (Moscow). Derivatives of syntactic units of the type «question — answer»; **Materials and notes:** Kibrick A. A. (Moscow). Focusing of attention and pronominal anaphora; Sokolova G. G. (Moscow). On the formation of phraseological units in French; Kormanovskaja T. I. (Perm). The communicative organisation of complex sentences (based on materials of the English language); Isačenko-Lisovaja T. A. (Moscow). Nomocanon with exegesis of Valsamon translated by Euthymius of the Chudov monastery (end of the XVII century). Studies in language and translation; Judakin A. P. (Moscow). The cyclic character of linguistic processes: the role of the genitive and the adverb in the formation of the adjective; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: Arutjunova N. D. (Moscou). Anomalies linguistiques; **Discussions:** Kacnel'son S. D. Pour une typologie de valence; Miller E. N. (Oulianovsk). Sur la définition de la langue; Zuraulev A. P. (Moscou). Le symbolisme syntaxique; Kijak T. R. (Tchernovtisi). La «forme interne» des unités lexicales; Vejxman G. A. (Moscou). Les dérivés des unités discursives du type «question — réponse»; **Matériaux et notices:** Kibrick A. A. (Moscou). La fixation de l'attention et l'anaphore pronominale; Sokolova G. G. (Moscou). Sur la formation des unités phraséologiques en français; Kormanovskaja T. I. (Perm). L'organisation communicative des phrases complexes (fondée sur les matériaux de la langue anglaise); Isačenko-Lisovaja T. A. (Moscou). Le nomocanon avec l'exégèse de Valsamon traduit par Euthymius du monastère de Tchoudov (fin du XVII siècle). Etudes de la langue et de la traduction; Judakin A. P. (Moscou). Le caractère cyclique des processus linguistiques: le rôle du génitif et de l'adverbe dans la formation de l'adjectif; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор Рабина Т. П

Сдано в набор 02.03.57 Подпечато к печати 04.05.57 А-01784 Формат бумаги 70×100¹/₁₆.
Высокая печать Усл. печ. л. 13,0 Усл. кр.-отг. 79,7 тыс. Уч.-изд. л. 15,0 Бум. л. 5,0
Тираж 6056 экз. Зак. 211

Средна Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
103717 ГСП, Москва, К-62, Подосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6